

АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ

# ОБВИНЯЕТСЯ КРОВЬ

"Совершенно секретно"

В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.

В ходе проверки материалов следствия по так называемому "делу о врачах-вредителях", арестованных быв. Министерством государственной безопасности СССР, было установлено, что ряду видных деятелей советской медицины, по национальности евреям, в частности из главных обвинений инкриминировалась связь с известным - Народным артистом СССР МИХОЗЛСОМ. В качестве главы антисоветского подрыв-

Александру Кондратову —  
дружески, с благодарностью за  
любо, касающееся  
Несбываемых.

Александр Борщоговский

17. III АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ 1994 г.

# ОБВИНЯЕТСЯ КРОВЬ

Документальная  
повесть



Москва

Издательская группа «Прогресс»

«Культура»

1994

Редактор Э.В. Расшивалова

**Борщаговский А.**

**Б 82** Обвиняется кровь: Документальное повествование. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1994. — 400 с.

Открытые в архивах КГБ после полувека секретности тома знаменитого следственного дела Еврейского антифашистского комитета позволили А.Борщаговскому — известному писателю, автору нашумевших «Записок баловня судьбы», романа «Русский флаг», сценариев фильмов «Три тополя на Плющихе», «Дамский портной» и многих других произведений — создать уникальную во многих отношениях книгу.

Он лично знал многих из героев повествования «Обвиняется кровь»: их творчество, образ мыслей, человеческие привычки — и это придает его рассказу своеобразный «эффект присутствия».

Б  $\frac{4702010204-019}{006(01)-94}$  КБ-49-93

ББК 84Р1-4

Фирма «Культура»

*Книга издана при финансовом участии  
Коммерческого народного банка*

©Александр Борщаговский,  
1994

©Издательская группа «Прогресс», 1994

ISBN 5-01-004260-06

## I

В ночь на 13 января 1948 года в Минске был убит великий актер Соломон Михоэлс. Его тело и тело походя уничтоженного театрального критика Владимира Голубова (Потапова) были найдены на заметенной снегом улице, каждое с проломленным виском.

Едва ли кто принял тогда на веру официальную версию о случайной гибели, о наезде или автомобильной катастрофе. Слухи множились, один другого загадочнее и страшнее, в считанные дни сложилась уверенность, что это — злодейское убийство. Анализу возникших тогда и позже версий я, опровергая досужие вымыслы, посвятил немало страниц в книге «Записки баловня судьбы».

Важнейшей косвенной уликой стало для меня то, что за два дня до отъезда Михоэлса в Минск ему внезапно сменили попутчика: вместо театрального критика Ю. Головащенко, уже оформившего командировку, Всероссийское театральное общество (ВТО) послало критика Владимира Голубова, талантливого литератора, автора первой книги об Улановой, в прошлом минчанина, окончившего в Белоруссии институт инженеров железнодорожного транспорта. Не подозревая своего славного, пьющего коллегу Володю Голубова в сотрудничестве с органами госбезопасности, оплакивая его как случайную жертву убийц, я не мог не подумать о том, зачем его едва ли не силой принудили ехать в Минск. Ему бы радоваться поездке с мудрым и веселым Михоэлсом, который, как известно, не плошал в рюмочных баталиях ни с Фадеевым, ни с Алексеем Толстым, ни с мхатовскими корифеями...

А Голубов нервничал, места себе не находил.

В день отъезда я увиделся с ним дважды — в ВТО, куда я заглянул, перейдя Пушкинскую площадь



из своей редакции «Нового мира», и на Белорусском вокзале перед отходом поезда. Не зная, что я приду на вокзал, Михозэлс, позвонив ко мне домой, сказал моей жене Валентине, чтобы я не тревожился, он вернется через несколько дней и прочтет труппе пьесу: он собирался ставить в Государственном еврейском театре запрещенную тогда Главреперткомом мою пьесу о временах фашистской оккупации Киева.

На вокзале Голубов как-то сиротливо прижался ко мне, признался, что «вот так» — пухлой рукой он провел по воротнику пальто у горла — не хочет ехать, не думал, не хотел и не хочет... «Зачем же ты дал согласие? Ты в ВТО не служишь, послал бы их подальше». Он посмотрел на меня серьезно и печально, сказал понуро, что нужно, просят, потом чуть посветлел лицом, мол, с Михозэлсом все-таки интересно.

Голубов едва ли мог подозревать, что они обречены, что жизнь кончена, но, как человек болезненно впечатлительный, он заметался, что-то испугало его в поспешности командировки, предчувствия прогнали с лица полудетскую, какую-то незащищенную улыбку. Мягкий, ироничный, лукаво-снисходительный человек, он пользовался общей нашей любовью, никому в голову не приходила мысль о его зависимости от страшной карающей силы. «Я, когда напиваюсь, — пожаловался он однажды, — всегда оказываюсь на железной дороге... помню рельсы, рельсы, рельсы, пустые вагоны, стальные щиты на переходных площадках, тамбуры — ни человеческого голоса, ни гудков, только путейское железо...» Черные, провальные ночи, вероятно, и сделали его заложником.

Организаторам убийства нужен был зависимый, сломленный человек и непременно бывший житель Минска, оставивший там какие-то корни, давние знакомства и связи.

Версии минского убийства с течением времени множились, писавшие о нем вступали в обидчивые споры, и только 44 года спустя газетная публикация, небольшая заметка «Ордена за убийство», положила конец спорам. Газета «Аргументы и факты» в № 19 за май 1992 года опубликовала выдержки из письма Лаврентия Берии в Президиум ЦК

КПСС, к сожалению не оговорив ошибки составителей письма, отнесших убийство к февралю, вместо января, 1948 года.

Редакция опустила многие абзацы этого письма, однако в них заключены сведения, имеющие первостепенную важность; привожу письмо полностью по архивной копии.

С о в е р ш е н н о с е к р е т н о <sup>1</sup>  
В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС  
тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.

*В ходе проверки материалов следствия по так называемому «делу о врачах-вредителях», арестованных быв. Министерством государственной безопасности СССР, было установлено, что ряду видных деятелей советской медицины, по национальности евреям, в качестве одного из главных обвинений инкриминировалась связь с известным общественным деятелем — Народным артистом СССР МИХОЭЛСОМ. В этих материалах МИХОЭЛС изображался как глава антисоветского еврейского националистического центра, якобы проводившего подрывную работу против Советского Союза по указаниям из США.*

*Версия о террористической и шпионской работе арестованных врачей ВОВСИ М.С., КОГАНА Б.Б. и ГРИНШТЕЙНА А.М. «основывалась» на том, что они были знакомы, а ВОВСИ состоял в родственной связи с МИХОЭЛСОМ.*

*Следует отметить, что факт знакомства с МИХОЭЛСОМ был также использован фальсификаторами из быв. МГБ СССР для провокационного измышления обвинения в антисоветской националистической деятельности П.С. ЖЕМЧУЖИНОЙ, которая на основании ложных данных была арестована и осуждена Особым совещанием МГБ СССР к ссылке.*

*Следует подчеркнуть, что органы государственной безопасности не располагали какими-либо данными о практической антисоветской и тем более шпионской, террористической подрывной работе МИХОЭЛСА против Советского Союза.*

---

<sup>1</sup> В тексте всех документов сохранены особенности оригинала. — Прим. ред.

Необходимо также отметить, что в 1943 году МИХОЭЛС, будучи председателем еврейского антифашистского комитета СССР, выезжал, как известно, в США, Канаду, Мексику и Англию и его выступления там носили патриотический характер.

В процессе проверки материалов на МИХОЭЛСА выяснилось, что в феврале 1948 года в гор. Минске быв. заместителем Министра госбезопасности Белорусской ССР ЦАНАВА, по поручению быв. Министра государственной безопасности АБАКУМОВА, была проведена незаконная операция по физической ликвидации МИХОЭЛСА.

В связи с этим Министерством внутренних дел СССР был допрошен АБАКУМОВ и получены объяснения ОГОЛЬЦОВА и ЦАНАВА. Об обстоятельствах проведения этой преступной операции АБАКУМОВ показал:

«Насколько я помню, в 1948 году Глава Советского правительства И.В. СТАЛИН дал мне срочное задание — быстро организовать работниками МГБ СССР ликвидацию МИХОЭЛСА, поручив это специальным лицам.

Тогда было известно, что МИХОЭЛС, а вместе с ним и его друг, фамилию которого не помню, прибыли в Минск. Когда об этом было доложено И.В. СТАЛИНУ, он сразу же дал указание именно в Минске и провести ликвидацию МИХОЭЛСА под видом несчастного случая, т.е. чтобы МИХОЭЛС и его спутник погибли, попав под автомашину.

В этом же разговоре перебирались руководящие работники МГБ СССР, которым можно было бы поручить проведение указанной операции. Было сказано — возложить проведение операции на ОГОЛЬЦОВА, ЦАНАВА и ШУБНЯКОВА.

После этого ОГОЛЬЦОВ и ШУБНЯКОВ, вместе с группой подготовленной ими для данной операции работников, выехали в Минск, где совместно с ЦАНАВА и провели ликвидацию МИХОЭЛСА.

Когда МИХОЭЛС был ликвидирован и об этом было доложено И.В. СТАЛИНУ, он высоко оценил это мероприятие и велел наградить орденами, что и было сделано».

ОГОЛЬЦОВ, касаясь обстоятельств ликвидации МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА показал:

«...Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время «автомобильной катастрофы» у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших сотрудников, мы остановились на варианте — провести ликвидацию МИХОЭЛСА путем наезда на него грузовой машины на малолюдной улице. Но этот вариант хотя был и лучше первого, но также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было решено через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-либо знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи ЦАНАВА Л.Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную (глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машиной. Этим самым создавалась правдоподобная картина несчастного случая наезда автомашины на возвращавшихся с гулянки людей, тем паче подобные случаи в Минске в то время были очень часты. Так было и сделано».

ЦАНАВА, подтверждая объяснения ОГОЛЬЦОВА об обстоятельствах убийства МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА, заявил:

«...Зимой 1948 года, в бытность мою Министром госбезопасности Белорусской ССР, по «ВЧ» позвонил мне АБАКУМОВ и спросил, имеется ли у нас возможность для выполнения одного важного задания И.В. СТАЛИНА? Я ответил ему, что будет сделано. Вечером он мне позвонил и передал, что для выполнения одного важного решения правительства и личного указания И.В. Сталина в Минск выезжает ОГОЛЬЦОВ с группой работников МГБ СССР, а мне надлежит оказать ему содействие.

...При приезде ОГОЛЬЦОВ сказал нам, что по решению Правительства и личному указанию И.В. СТАЛИНА должен быть ликвидирован МИХОЭЛС, который через день или два приезжает в Минск по делам службы... Убийство МИХОЭЛСА было осуществлено в точном соответствии с этим планом... примерно в 10 часов вечера МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА завезли во двор дачи [речь идет о даче



ЦАНАВЫ на окраине Минска. — А.Б.]. Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по городу Минску движение публики сокращается, трупы МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию».

Таким образом, произведенным Министерством внутренних дел СССР расследованием установлено, что в феврале 1948 года ОГОЛЬЦОВЫМ и ЦАНАВА, совместно с группой оперативных работников МГБ — технических исполнителей, под руководством АБАКУМОВА, была проведена преступная операция по зверскому убийству.

Учитывая, что убийство МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперативного состава органов МВД за неуклонное соблюдение советских законов Министерство внутренних дел СССР считает необходимым:

а) арестовать и привлечь к уголовной ответственности б. заместителя Министра государственной безопасности СССР ОГОЛЬЦОВА С.И. и б. Министра государственной безопасности Белорусской ССР ЦАНАВА Л.Ф.;

б) Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении органами и медалями участников убийства МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА отменить.

2 апреля 1953 года

Л. БЕРИЯ

Эмоциональный эффект «коллективного» письма Абакумова, Огольцова и Цанавы, с помощью которого Берия торопится подстраховаться, так сказать, отпрянуть от «преступников из органов безопасности», — этот эффект таков (мол, вот она, истина и разгадка!), что второпях можно пройти мимо лжи, которой пропитаны едва ли не все строки этого письма в Президиум ЦК КПСС. Обнажение лжи необходимо для понимания величайшего, многоступенчатого преступления Сталина и его клики, преступления, в котором убий-

ство Михозлса служило только началом, сигналом к разворачиванию геноцида.

Письмо Берии направлено в ЦК КПСС 2 апреля, вслед за объявленной реабилитацией «врачей-убийц». Не прошло и месяца со дня смерти Сталина, страна еще скорбит, свято чтит память вождя, в эйфории скорби слагают стихи поэты; всякий, кто в те дни открыто, громогласно назвал бы Сталина преступником, рисковал быть растерзанным толпой, расстрелянным и сожженным в крематории у Донского монастыря. А между тем Абакумов, арестованный еще в июле 1951 года, в письме, затребованном Берией, рисует Сталина как мстительного, но заурядного уголовного «пахана», дергающего и за те нити готовящегося преступления, которыми царственная длань «великого Сталина» пренебрегала. Его стихия — приговор, вынесенный изустно, бесстрастно, не повышая голоса, иногда, как мы убедимся, приговор, продиктованный гневливо сведенными бровями, сердитым ударом ребром ладони по столу, — все, что угодно, вплоть до сатанинского разрушения домашнего очага своих преданных соратников, — только не то, что предлагают нам в своих хитрых, продиктованных Берией показаниях Абакумов, Огольцов и Цанава.

Приняв их показания, Берия как бы хочет помочь им, хочет дать шанс обреченным палачам, чьи услуги больше никому не понадобятся. Продолжается жестокая игра, до поры благоприятствующая Берии. Он быстро, не откладывая, устранит прямых виновников убийства Михозлса, и, главное, покончит с людьми, которым известно, что это убийство, и начавшийся тотальный поход против евреев в стране одобрены Сталиным и его приспешниками, начиная с Маленкова и самого Берии. Берия услужливо помянет в этом письме жену Вячеслава Молотова — Жемчужину, над которой еще вчера позволено было издеваться, на потеху Сталину и Политбюро, членом которого был Берия. Он охотно повторит, если позволят обстоятельства, маскарад 1938 года, свою ловко явленную стране маску «освободителя», почти либерала. А обреченная тройца — Абакумов, Огольцов и Цанава — пальцем не шевельнет против него, того, кто позволил им решительно все свалить на Сталина, сделав их

самих покорными (попробуй не подчинишься Сталину!), по принуждению, исполнителями высочайшего приказа.

Известно, как стряпались и «редактировались» показания подсудимых в Лефортове, в Бутырках, на Лубянке, как следователи искажали протоколы допросов, насильем понуждая арестованных подписывать только нужные им (следователям) признательные показания. В том, что Берия позволил (если не продиктовал!) всем трем спрятаться за спину Сталина, они видели какой-то шанс на спасение жизни, просвет, надежду обойтись сроком, а не пулей в затылок. Даже Абакумов, как известно лучше других стоявший под пытками после ареста, пытался изо всех сил доказать, что убийство Михоэлса было организовано не им самим, а навязано ему высочайшим приказом, монаршей волей — приказ был столь внезапным, что он и точных сроков не удержал в памяти. Даже министр Абакумов, ссылаясь на лихорадочную торопливость Сталина, пытается свести свое участие к выполнению приказа из тех, которые не обсуждаются. Так, словно Сталин, никому не доверяя вполне, сам продумывает детали убийства, подбирает исполнителей, печется о мелочах и в нетерпении нервничает.

Цанава, тоже стараясь прикрыться именем Сталина, доходит до абсурда. Сначала звонок к нему в Минск высокого министра с неправдоподобным вопросом: есть ли у Цанавы возможность для выполнения важного задания Сталина? Затем информация о выезде Огольцова в Минск, и снова с упором на «выполнение важного решения Правительства и личного указания И.В. Сталина». В 1948 году в телефонном разговоре сотрудников госбезопасности могло быть употреблено слово «Инстанция», но не «ЦК», не «правительство» и уж никак не «Сталин». Через несколько строк Цанава снова напоминает, что Огольцов по прибытии в Минск привлек его не просто к очередной кровавой операции, а к «ликвидации по решению Правительства и личному указанию И.В. Сталина».

Усилия их натужны, надежды несбыточны. Упор делается на то, что они не убийцы, а по принуждению организаторы чекистской акции по приказу высочайшей из всех существующих в мире «Инстанций»; убивали не они, а те, кого Берия в письме в ЦК КПСС называет «техническими исполнителями», кто по малости своей был, надо думать, среди награжденных не орденами, а медалями.

В их кратких признаниях есть важные для нас оговорки и расхождения, открывающие ложь и коварство Абакумова, его попытку скрыть свою роль и в убийстве Михозлса, и в построении всей губительной по последствиям провокации, частью которой, и очень важной частью, было дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).

Абакумов сознательно относит приказ о ликвидации Михозлса к началу 1948 года, а само убийство смещает во времени, называя вместо января февраль. Судя по многим документальным свидетельствам, мысль об устранении Михозлса, о необходимости устранения родилась у Абакумова давно, не позднее сентября 1947 года. Скорее всего, именно он испросил согласия Сталина на убийство Михозлса в конце декабря 1947 года или в первых числах января. И получил его незамедлительно.

11 октября 1953 года заключенный Верхнеуральской тюрьмы МГБ СССР Исаак Иосифович Гольдштейн, доктор экономических наук, бывший старший научный сотрудник Института экономики АН СССР, писал в Москву в новосозданное, поглотившее и службу госбезопасности Министерство внутренних дел о несправедливом своем осуждении и просил о пересмотре дела. Гольдштейн, не имевший никакого отношения к деятельности Еврейского антифашистского комитета, к самому его существованию, был тем не менее брошен следствием в этот адский котел, обвинен в еврейском буржуазном национализме, объявлен опасным врагом, чей случайный арест положил начало разоблачению всего «националистического еврейского подполья». Он был обвинен в пособничестве тем, кто вынашивал планы «террора», кто именно с этой целью поручил ему сблизиться с



семьей сестры жены Сталина Аллилуевой, с мужем его дочери Светланы — Морозом, чтобы проникнуть в некие кремлевские тайны и доставить нужные сведения главе всей террористической банды — Михозлсу...

Вот строки из его очередного обращения к властям:

*«Через несколько дней [Гольдштейна арестовали в ночь с 17 на 18 декабря 1947 года, в счастливую для него пору: только что вышла из печати его книга «Германский империализм». — А.Б.] меня привели к майору Сорокину, который заявил мне, что меня вызовут сейчас к министру, которому я должен все подтвердить, что признал в ходе следствия... Он настаивал, чтобы я не отказывался от того, что показал против Евгении Александровны Аллилуевой. Приведенный к министру, я застал там и двух уже упомянутых ранее подполковников [речь идет о двух его истязателях, которые вкупе с Сорокиным избивали Гольдштейна до полной потери сознания, «до потери нормального человеческого облика». — А.Б.]. Министр задал мне вопрос — подтверждаю ли я свое прежнее показание. Я подтвердил. Тогда он сказал, что Гринберг отрицает правильность моего сообщения. Затем тут же он спросил: «Значит, Михозлс подлец?» Я кивнул головой и тут же был быстро выведен из кабинета, не успев сказать ни слова»<sup>1</sup>.*

Не Кремль, не Аллилуева, с ее горьким родством со Сталиным, интересуют в этот момент Абакумова, а Михозлс, прежде всего Михозлс, хотя изуродованный, на время потерявший от побоев слух Гольдштейн даже не знаком с ним. Абакумов готовится к неординарному шагу: казалось бы, зачем убивать того, кого собираешься казнить по приговору? Ведь посадить можно любого: писателя с мировым именем, великого ученого-селекционера, знаменитого режиссера, жен своих верных соратников; стоит ли трудиться, сочинять сценарии ликвидации, раздавать ор-

---

<sup>1</sup> Архив Дела ЕАК состоит из 42 томов Следственного дела, 8 томов Судебного дела (стенограммы заседаний), многих томов различных «Материалов» и «Документов».

дена?! Другая оправдавшая себя ликвидация — убийство Кирова — была задачей из труднейших, потребовала и чрезвычайных организационных усилий, и великого притворства, лицемерия, выдающегося лицедейства — к гробу Михоэлса Сталин не придет, не пошагает рядом с миной сосредоточенной скорби; ликвидация Михоэлса — убийство в темной ночной подворотне.

Любопытная психологическая подробность: Абакумову — баловню судьбы, непременно посетителю московских премьер и концертов, статному, гвардейской осанки молодцу, часто разгуливавшему по Тверской, от Пушкинской площади к Охотному ряду и обратно, в сопровождении «друга» — шута Павлуши Закина, низкорослого носатого еврея, по мнению Абакумова еще более б е з о б р а з н о г о, чем Михоэлс; Абакумову — любителю и любимцу женщин, более удачливому, чем Берия, достигавшему побед без насилия; Абакумову — безжалостному шефу всеармейского СМЕРЩА — зачем-то нужна была вера в то, что «Михоэлс подлец».

Добытые пытками показания сломленного, теряющего сознание Гольдштейна, скорее даже не показания подследственного, а лживые протоколы допросов, сочиненные такими «мастерами пера» Лубянки, как полковник Шварцман или подполковник Броверман, наконец-то вывели задуманное уголовное и политическое дело на тропу «террора»: зачем бы еще нужны были Михоэлсу и всей еврейской националистической банде д о м а ш н и е сведения о Сталине, будущие «ключи» к кремлевской квартире?! Именно свидетельства Гольдштейна позволили Абакумову обратиться в Инстанцию (так именовались в официальных бумагах госбезопасности ЦК, Секретариат, Политбюро, Сталин) и получить «добро» на ликвидацию Михоэлса.

Истерзанный вид доктора наук Гольдштейна не оставял у Абакумова сомнений в том, как добыты его «признания», но это не связывало рук министру: он пошлет в Инстанцию подписанные листы протокола и получит благословение на крайнюю меру, на то, что Берия впоследствии, в письме от 2 апреля 1953 года,

деликатно назовет «незаконной операцией» и «вопиющим нарушением прав советского гражданина»<sup>1</sup>.

Но зачем понадобилось убийство Михозлса? Зачем устранять главного обвиняемого будущего процесса, руководителя «преступной банды», честолюбивого пророка этого беспокойного народца? Именно его свидетельства помогли бы докопаться до истинных мотивов преступления, понять механизм действия якобы разветвленной по стране антисоветской организации, определить меру вины каждого. Зачем ликвидировать человека, в чьей лысой сократовской голове хранятся, пока он жив, тайны и секреты, которых будет доискиваться следствие?

Ни тогда, в дни скорби и слез, ни впоследствии никто не задумался вслух над тем, для чего был убит Михозлс. Шло время, многие открывшиеся подробности уже не оставляли сомнений, что великого актера убили не «власовцы», не «бандеровцы», не вступившие с ним в конфликт провокаторы из числа еврейских националистов. Ни у кого — ни у скорбящих друзей, ни у злорадствовавших врагов Михозлса — не оставалось сомнений, что убийцы — государство, его властные структуры. Но зачем так поступило государство, его «высокие» слуги, натренированные действовать по-друго-

---

<sup>1</sup> Эпизод допроса Гольдштейна Абакумовым существует и в более полном и откровенном изложении следователя Сорокина, в его показаниях комиссии прокуратуры и военных юристов, проверявших дело ЕАК. «По истечении некоторого времени на допрос Гольдштейна (в декабре 1947 года в Лефортовскую тюрьму) явился Комаров» [бывший заместитель начальника следственной части по особо важным делам. — А.Б.] и сказал, что он имеет распоряжение Абакумова о применении к Гольдштейну мер физического воздействия при моем участии. В Лефортовской тюрьме находился и Абакумов, дожидаясь окончания Комаровым допроса. А через несколько дней Абакумов снова вызвал к себе Гольдштейна на допрос и задал ему два лаконичных вопроса, он спросил его: «Итак, значит, Михозлс сволочь?» Гольдштейн ответил: «Да, сволочь». Тогда Абакумов спросил его: «А Фефер тоже сволочь?» — на что Гольдштейн ответил отрицательно. В то время, — замечает Сорокин, — я еще не знал, кто такой Фефер, и на дальнейших допросах Гольдштейна мы не возвращались к этой фамилии» (Материалы проверки по делу Лозовского С.А., Фефера И.С., Маркиша П.Д. и др., т. 1, лл. 57—58).

му: за дело или без оного брать гражданина, кем бы, каких бы чинов и званий он ни был, а затем всеми недозволенными, преступными средствами формировать уголовное дело?

Исследование десятков томов следственного и судебного дел ЕАК, многих томов документов и материалов, заявлений подследственных, знакомство с другими делами, предусмотрительно выделенными для отдельного рассмотрения, жалоб и просьб тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря на сроки от 8—10 и до 15—25 лет, позволяют ответить на вопрос, кому и зачем понадобилось предварительное устранение Михозлса.

На каждом из 42 томов следственного дела значатся имена Лозовского и Фефера, непременно эти два имени. Когда появлялось на одном или двух томах и третье имя, это означало, что в них собраны материалы следствия по Маркишу или Бергельсону, по Лине Штерн или Зускину, по Шимелиовичу или Тальми и т.д. Имя Михозлса ни на одну обложку не вынесено, хотя повторяется оно несчетное количество раз, хулится и очерняется, унижается и растаптывается.

Вторым по значимости и «захватанности» в протоколах можно назвать только имя Фефера, многолетнего недруга Михозлса, а затем попутчика его по долгой триумфальной поездке в США, Канаду, Мексику и Англию летом и осенью 1943 года.

Фефер осторожен и законопослушен — качества, не заслуживавшие в той бедственной жизни особого осуждения. В феврале 1948 года, когда никто уже не сомневался, что Михозлс убит злодейски и с умыслом, и все, кто писал о нем, ограничивались одним скорбным словом — «гибель», Фефер упрямо повторял официальную версию о наезде автомашины. 5 февраля 1948 года в газете «Эйникайт» была напечатана статья Фефера под лаконичным заголовком: «Михозлс».

*«Я видел Михозлса за несколько часов до несчастного случая<sup>1</sup>, это было в по-*

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в документах разрядка автора книги. — *Прим. ред.*



недельник 12 января, около четырех часов дня. Он был полон жизни и беспокойства. Мы сидели за обеденным столом, и кто мог себе представить, что это его последний обед, последний разговор Михозлса о театре, о нашей работе, о наших задачах. Когда я узнал, что Михозлс всю прошлую ночь просидел с артистами белорусского еврейского театра за творческой беседой, я выставил ему претензию, что он не щадит себя, что он не должен тратить столько сил. Но Михозлс посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Нужно было. Это театр с талантливыми актерами, и была необходимость потолковать с ними». И я сразу увидел перед собой с ы н а н а р о г а, нового человека — Михозлса. Около шести часов вечера мы простились, договорившись о том, что встретимся еще раз для продолжения разговора. Больше мы не встретились, разговор остался неоконченным. Через пару часов п о г т я ж е - л ы - м и к о л е с а м и г р у з о в о й м а ш и н ы перестало биться беспокойное сердце великого художника, великого патриота, славного сына еврейского народа»<sup>1</sup>.

Увы, я прочитал текст давней статьи Фефера, спустя годы для нужд следствия переведенной на русский язык, прочитал его, хорошо зная, как мало оснований имел Фефер считать себя единомышленником и душевно близким Михозлсу человеком, как несправедлив был Фефер к Михозлсу — художнику, реформатору театра, как превратно он понимал место Соломона Михайловича в истории и судьбах еврейского народа и в театральной его культуре. Я прочитал статью после знакомства с изощренными клеветническими показаниями Фефера о Михозлсе, данными легко и изобретательно и без применения к Феферу карцера или пыток. Статья огромная, торжественная, велеречивая, а вместе с тем до мелочей предусмотрительная, иначе Фефер не позволил бы себе пошлых выдумок, вроде той, что Михозлс, вспоминая в минской беседе о своей поездке 1943 года с Фефером в союзническую Америку, сказал: «Мы

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXIV, лл. 391—392.

были подобны двум парашютистам, находящимся в окружении!»

А у меня из памяти не идут слова действительного соратника и придирчивого друга Михозлса, театрального кудесника Вениамина Зускина, слова из протокола допроса от 17 марта 1949 года, спустя три недели после ареста:

*«Весной 1943 года Михозлс вернулся из Куйбышева в Ташкент и сообщил мне, что намечается посылка делегации от Еврейского антифашистского комитета в Америку с агитационной целью мобилизовать все американское еврейство на борьбу с фашизмом и что в эту делегацию намечаются: он — Михозлс — и И.С. Фефер.*

*Я был поражен, так как всем было известно, что между ними в продолжение многих лет существовали более чем натянутые отношения. Начиная с 1924 года Московский еврейский театр почти ежегодно выезжал на гастроли в Киев и Харьков, где в разное время жил Фефер, и в каждый приезд на встречах со зрителями, на которых обсуждали постановки театра, Фефер всегда выступал с критикой театра, и о с о б е н н о р е з к о — против Михозлса как художественного руководителя и главного актера театра.*

*На мой недоуменный вопрос — почему наметили именно этих двух человек — Соломон Михайлович мне ответил:*

*— Так наметили свыше»<sup>1</sup>.*

Быть может, не стоит корить человека за то, что он прозрел и сверхщедро оценил не вполне понятого при жизни художника и, таким образом, обиженного на него друга. Стоя у гроба, обдумывая случившееся, он находит для покойного самые высокие слова, постигает наконец, после утраты, его гениальность, видит его не только вровень, но и много выше всех его выдающихся современников. Поэту, тем более полагающему себя в равной мере поэтом политическим и лирическим, трудно обойтись без преувеличений.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXIII, лл. 102—103.

Но, выставив перед Абакумовым, перед ЦК и Сталиным великого артиста в роли заговорщика, презренного «агента сионизма», продавшегося «Джойнту» и торгующего родиной, русской землей, Крымом, как трудно, даже и для поэта, вообразить себя, вместе с Михозлсом, революционным парашютистом во вражеском окружении...

Соломон Михозлс был первым казненным по делу Еврейского антифашистского комитета. Любой список жертв этого дела должен открываться его именем, ибо так было: устремясь к тотальной расправе, масштабов которой мы и не представляли себе, непременно надо было прежде всего казнить Соломона Михайловича Михозлса.

## II

Задержимся немного в Минске, на «тихой», «глухой», «безлюдной», «отдаленной» — как только ее не называли — улочке, у распростертых на снегу двух тел: Голубова, умершего сразу, и Михозлса, в чьем могучем организме жизнь, по определению врачей, продолжала теплиться еще 4—5 часов, пока его не сломил мороз. Врачей Минска, всполошившихся и потрясенных, отстранили сразу же, едва люди Цанавы просигналили, что трупы обнаружены и доставлены в морг.

Никто, кроме профессора Збарского в Москве и художника Тышлера, близкого друга и единомышленника Михозлса в искусстве, который переодел его в чистое, провел ночь у гроба и рисовал его, — никто другой не касался тела покойника. Правда, Наталья, дочь Михозлса, называет еще профессора Вовси и Вениамина Зускина, возможно, что и они были ночью у гроба Михозлса. Какая гримаса истории: Борис Ильич Збарский, академик медицины, ученый-биохимик, известный всему миру более всего тем, что бальзамировал тело Ленина и был его неизменным ученым «хранителем», спустя 24 года после смерти вождя революции исправлял разможенный череп выдающегося художника, убитого «лучшим ленинцем» всех времен и народов! К счастью, в те январ-

ские дни Збарский еще не знал, как чешутся руки у следователей Лубянки, как тянутся они уже и к нему, как вѣдливо допытываются о его «преступных» связях с Михозэлсом.

Какая топорная, невежественная, примитивная, будто под пьяную лавочку, работа убийц! А кого, собственно, могли они опасаться?! Врачей-патологоанатомов прогнали, милиция столицы Белоруссии стояла по стойке «смирно», никто и не пошевелился, чтобы начать поиск ночных убийц. Два цинковых гроба готовы, кажется, наперед готовы, их погрузят в поезд, привезут к большой, молчаливой, скорбной толпе на Белорусском вокзале Москвы.

Случилось и совсем загадочное: никому из близких практически не позволили кинуться в Минск — удержали в Москве жену и двух дочерей от первого брака, хотя здравый смысл требовал немедленно доставить их в Белоруссию. Многие из высоких военных чинов, русских генералов, почитателей Михозэlsa, не колеблясь предоставили бы семье свой самолет. (Вспоминается, как среди ночи в 1956 году на наших глазах буквально ворвалась в фойе Дома Союзов овдовевшая Ангелина Степанова — она торопилась попрощаться с застрелившимся мужем, Фадеевым, и из зарубежных гастролей МХАТа, пересеживаясь с самолета на самолет, опекаемая аэродромными службами, проделала неправдоподобный по скорости маршрут.)

На загадку отчасти ответила книга дочери Михозэlsa, Наталии Михозэлс, спустя три с половиной десятилетия после его гибели.

*«Утром 13 января Михозэlsa нашли убитым в глухом тупике, куда не могла заехать ни одна машина. Рядом с ним лежал убитый театровед Голубов-Потопов. Свидетель».* Она отвергает версию автомобильной катастрофы или наезда, напоминая, что «...Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое, неповрежденное тело Михозэlsa после «автомобильной катастрофы», вскоре были арестованы». В трагические дни января 1948 года и позднее, работая над книгой воспоминаний, она не может уразуметь абсурдность ситуации, собрать воедино вопиющие улики нового преступления. Потрясенные горем близкие



все еще не понимают очевидного даже и тогда, «...когда в нашу набитую людьми квартиру пришла вечером того же дня Юля Каганович. Она увела нас в ванную комнату — единственное место, где еще можно было уединиться, — и тихо сказала: «Дядя [т.е. Л.М. Каганович. — А.Б.] передал вам привет... и еще велел сказать, чтобы вы н и к о г д а, н и к о г о, н и о ч е м н е с п р а ш и в а л и».

Привет от одного из убийц! От Инстанции, которая и приказывала генералу Огольцову срочно выехать в Минск с командой «технических исполнителей». «С чего это он вдруг решил о нас позаботиться?» — недоумевала спустя годы Наталия Михозлс, резонно называя слова Кагановича «предостережением» (или распоряжением?). «Ведь не пожалел он своего брата — отца Юлии — Михаила Моисеевича Кагановича, бывшего наркома не то авиации, не то тяжелой промышленности, — и отправил его в тюрьму на расстрел».

Следственное и судебное дела ЕАК открыли истину, документы обнажили ее, исключив сомнения. Сталин неизменно делал своих соратников соучастниками злодейств, в иных случаях довольствуясь их молчаливым согласием. Судя по характеру документов, которые Абакумов посылал через Шкирятова или Поскребышева в Инстанцию по кругу дел «еврейских буржуазных националистов», испрашивая разрешения на дальнейшие аресты, разрешения Инстанции, а не прокуратуры, партийный Олимп и его «боги» знали все о предстоящих обысках и арестах, приговорах, акциях ликвидации и т.д.

И Каганович знал о приговоре, вынесенном Михозлсу, когда Абакумов получил разрешение на убийство. Знал ли он о том, с какой зловещей настойчивостью домогается министр Абакумов — и сам, и через ближайших к нему следователей — фактов, сведений или на первый случай хотя бы п о д о з р е н и й и о его, Кагановича, личных связях с Михозлсом, с Еврейским антифашистским комитетом и вообще с неспокойным, злоумышляющим, «неверным» еврейством?

Всего он, вероятно, не знал, но многого, слишком многого не мог не знать. Многолетний партийный

функционер из высшего эшелона власти, долго ведавший организационными делами партии, существовавший при своевольном и подозрительном диктаторе в постоянной опасности, всякий день убеждавшийся в свирепом, закоренелом антисемитизме Сталина, а часто и в неуважении лично к нему, Кагановичу, он не мог быть настолько беспечным, чтобы не иметь осведомителей в службах госбезопасности. Отдать палачам брата, жену, усыпить совесть, если она еще подает признаки жизни, фразами о высших интересах революции и социализма — одно дело: вспомним, как домогался Пятаков у Политбюро и Сталина особой чести самолично расстрелять свою жену и тем доказать преданность партии. В отличие от библейских времен, когда посланец бога Яхве успел задержать руку Авраама, готового принести в жертву своего сына Исаака, теперь уже никто не в силах не только удержать карающую руку, но и не рискует просить, молить о спасении невинного. Одно дело — обреченные казни или тюрьме и ссылке жена, брат, сын, другое — собственное существование, пусть в мерзости, в крови и гное, но существование! Любой из сподвижников Сталина обязан был занести меч над близким и принести жертву в доказательство не столько истинности веры, сколько верности генсеку.

Вовсе не заботился Каганович о жене и дочерях Михозлса, все проще: в мыслях он уже принес эту очередную жертву Молоху, может быть, в сердцах и сказал вслед убитому: «Сам виноват! Слишком громко жил...» Теперь он хотел, чтобы молча, по-рабы униженно принесли эту жертву и близкие Михозлса, без суеты и истерики, а главное, без обращения к нему за помощью. Желание купировать, загнать в глухой тупик памяти само событие, минскую трагедию и самому закрыться исчерпывающей формулой: «Никогда. Никого. Ни о чем».

Абакумов в своем письме-рапорте на имя Берии утверждал, что, едва стало известно, что Михозлс, а с ним его друг, фамилии которого министр не запомнил, прибыли в Минск, он доложил об этом Сталину, и «сразу же было дано указание именно в Минске и провести ликвидацию». К апрелю 1953 года, когда

Абакумов, Огольцов и Цанава давали свои письменные показания, бывший министр давно находился под следствием, был нещадно бит мстительным Рюминым, едва держался на ногах, и какие-то подробности и точная дата ушли из памяти. Но Цанаве предстояло еще только двинуться по пути Абакумова, он еще не схвачен и не бит, к тому же ему не часто доводилось проводить ликвидацию мировых знаменитостей, и он все запомнил в подробностях. У него мы прочтем, что Огольцов с бригадой убийц прибыл в Минск раньше Михозлса: едва из ВТО или комитета по Сталинским премиям было сообщено о выписанных командировках и купленных билетах, о смене сопровождающего Михозлса театрального критика, было решено, как это сформулировал генерал Огольцов, *«через агентуру пригласить (Михозлса) в ночное время в гости к каким-либо знакомым, подать ему машину к гостинице»*.

Звено названной агентуры — Голубов. Хочу верить, что был он слепым, непосвященным наводчиком, но смертельный заряд угодил и в него. Говоря о том, что нецелесообразно было бы прибегать к «автомобильной катастрофе», Огольцов, первый заместитель Абакумова, утверждал, что в этом случае нет полной уверенности в успехе, в уничтожении «объекта», да и трудно уберечься «от непредвиденных жертв наших сотрудников». Последний мотив лжив, лицемерен: ведь Голубовым пожертвовали без колебаний, быть может таким страшным образом доказав, что он все-таки не принадлежал к числу пользующихся доверием «наших сотрудников»; как жертвовали ими и в тысячах других операций. Здесь действовал страх ответственных исполнителей, которым надлежало бы самим находиться в автомобиле — столкнувшиеся или летящие под откос автомашины не выбирают жертв, тут не прикажешь, кого убить, а кого миловать. Не удалось ведь в Ленинграде убить в автомашине, как задумали, Николаева по дороге в Смольный к Сталину. Память об этой «осечке», оплаченной многими жизнями, жила в поколениях чекистов.

Михозлс приехал в Минск накоротке, он должен был просмотреть два выдвинутых на соискание Ста-

линской премии спектакля. Известно, каким вниманием бывали окружены те, от кого хоть в малейшей мере зависело получение высшей награды страны, — если бы приехал и не столь почитаемый и любимый театралами человек, как Михозэлс, его тоже день-деньской сопровождали бы не только друзья и знакомые, а они непременно найдутся в столичном городе, но и руководители местных театров, режиссеры, журналисты. Подобраться к Соломону Михозэлсу днем Огольцову с Цановой невозможно.

Действовали, как свидетельствует Огольцов, через агента у. В Минске обитали друзья, бывшие соученики Голубова, кто-то из них позвонил по телефону в гостиницу, позвал в гости, на свадьбу то ли сына, то ли брата. У службы госбезопасности нашелся советчик, знавший, как легок на подъем Михозэлс, его страсть к доброй компании, к веселому застолью, его жадный интерес к новым людям, его готовность к бессонной ночи. Думаю, что и прошлую ночь с актерами Белорусского государственного еврейского театра, за которую, как классная дама, как попечитель, выговаривал Михозэлсу Фефер, Соломон Михайлович провел если и в учительстве, то в учительстве нескудном.

Позволю себе небольшое отступление.

На людях Михозэлс называл меня: Борщягивский. Произносил он мою фамилию так смачно, природно по-украински, будто Тевье-молочник окликал кого-то из местечковых соседей. Он приехал в столицу Украины на 25-летие киевского ГОСЕТа, мне поручен был доклад на юбилейном вечере, пришлось коснуться и далекого славного прошлого еврейской сцены — Гольдфадена, Менделе Мойхер Сфорим, Эстер Рохл Каминской и многих других. Я говорил по-украински, и, кажется, именно это непривычное звучание дорогих Михозэлсу имен и названий пьес, их певучее поэтическое украинское эхо, заставило его с детским простодушием и любопытством, выкатив клоунскую нижнюю губу, выслушать весь скучный доклад.

Мы провели, почти не расставаясь, двое суток. Киев рвал на части своего кумира, Соломон Михайлович царил в застольях, в неутомимой, какой-то раб-

лезинской роли. Он не отпускал меня: «Борщагивський, ты пойдешь со мной! Ты не бросишь меня в этом вертепе!» Я с радостью сопровождал свадебного генерала без свадеб, их не случилось тогда в Киеве, для нас по крайней мере. В 32 года я еще мог обойтись без сна и был счастлив. Увы, встреча миновала, кончился счастливый шквал, оборвался с отходом московского поезда, в памяти удержалось неуловимо-лукавое и доброе: Борщагивський...

А в Минске лютой морозной ночью на 13 января 1948 года Михоэлса позвали на свадьбу. В номере Михоэлса находился уже собравшийся уходить режиссер Головчинер, когда зазвонил телефон и Голубов взял трубку. В своей книге «Записки баловня судьбы» я писал об этом: «Недолгий разговор, и Голубов, прикрыв трубку, сказал, что звонит его однокашник по институту... у кого-то из близких сегодня свадьба, и друг узнал, что Голубов приехал с Михоэлсом. «Володя! Упроси его, умоли! Если Соломон Михайлович заглянет хоть на полчаса, это будет молодым память на всю жизнь...» Уверен, что Михоэлс и минуты не колебался: свадьба так свадьба! Какие они теперь, еврейские свадьбы, женихи и невесты, свадебные гости в полутемном, разрушенном нацистами городе, который жив, строится и играет свадьбы...»

Версия, для меня единственная, но не принятая многими, получила теперь документальное, к а з е н н о е подтверждение: все именно так, как рапортовал генерал Огольцов начальству и как спустя несколько лет он покаянно писал на имя Берии: **ч е р е з а г е н т у р у** приглашение в ночное время в гости и машина, поданная к гостинице.

Но вот подозрительное несовпадение: на него должен был обратить внимание уголовный профессионал Берия. По Огольцову, жертвы были убиты на территории загородной дачи министра госбезопасности Белоруссии, вывезены на малолюдную улицу города, после чего на них «произвели наезд грузовой машиной». Цанава объясняет по-другому: на его даче Михоэлса и Голубова не убивали, их привезли мертвыми («они немедленно с машины были сняты»), на даче их раздавили грузовой автомашиной, а к полуночи

трупы были «отвезены и брошены на одной из глухих улиц города».

Можно предположить, что «технические исполнители», не посвященные в то, сколь высокая миссия выпала им, схалтурили: убили и, не угрызаясь, проехали по телам убитых на легковой машине; начальство, согреваясь коньячком за столом у Цанавы, едва ли наблюдало за подробностями казни. Поэтому и потрясенный Зускин, ослепший от горя и накотивших страхов, и два опытнейших медика — Збарский и Вовси, как пишет Наталия Михозлс, «видели чистое, неповрежденное тело...». Збарский несколько часов готовил Михозлса к последнему трагическому в ы х о д у к народу в фойе ГОСЕТа, уж он-то заметил бы разрушение «раздавленного тела». Зимняя одежда — шуба — защитила тело при наезде легковой машины.

Близкие Михозлса, как многие другие, и я в том числе, считали, что расследование минского убийства было поручено Льву Шейнину и он, совершив в этой связи какую-то ошибку, был изгнан из органов прокуратуры, а затем и арестован. «Как могло прийти в голову опытному и достаточно искушенному человеку заняться таким опасным делом? — недоумевала Наталия Михозлс. — Это осталось для нас загадкой». Я печатно откликнулся на ее недоумение, сказав, что такова была работа, служба Льва Романовича Шейнина, одного из расторопнейших подручных Вышинского, что не ему было решать, «заняться» делом Михозлса или нет; ему могли приказать принять следствие на себя, полагаясь на его лисье чутье и ум, на то, что подобно Кагановичу, он все поймет и даже в роли следователя не станет спрашивать н и к о г д а, н и ч е г о, н и о ч е м. «Что ему было известно? — задавалась вопросом Н. Михозлс. — Что ему удалось выяснить в Минске? Об этом он так никому и не рассказал».

Теперь можно ответить на эти вопросы: протоколы допросов по делу ЕАК и тома следственного дела самого Л.Р. Шейнина позволяют сделать это. Вот показание Шейнина на допросе 28 октября 1951 года: *«Вовси, видимо поддавшись широко распространенным евреям в Москве лживым слухам о том, что я ездил в Минск для расследования причин гибели Ми-*

хозлса, спрашивал меня об обстоятельствах смерти Соломона. Я объяснил Вовси, что расследованием причин гибели Михозлса я не занимался и находился в это время в командировке в Казахстане, что соответствует действительности»<sup>1</sup>.

Вениамин Зускин на допросе в феврале 1949 года показал следователю Рассыпнинскому: «Я встретился с Шейниным в театре Ленинского комсомола на спектакле и подошел к нему, чтобы узнать результаты его расследования по делу убийства Михозлса. Но он, хитро подмигнув мне, заявил: “Вы, конечно, хотите знать о моей поездке в Минск? Заявляю вам, что я никуда не ездил”

Человек театра, знающий цену подтексту, хитрым подмигиваниям, лукавым, «подсказывающим» фразам вроде: «Вы, конечно, хотите знать о моей поездке», — в результате мог только увериться в том, что Шейнин ездил в Минск, но, как вышколенный служака, хранит тайну.

Я заговорил с Шейниным об этом много позднее, когда он, освобожденный из тюрьмы и реабилитированный, был назначен главным редактором киностудии «Мосфильм». Он жил тогда с задержанным дыханием, в постоянной малодушной тревоге, опасаясь касаться многих тем, а тем более писать воспоминания, что ему почему-то настойчиво рекомендовали друзья. Только однажды на «Мосфильме» в гулком, пустом припавильонном коридоре он уступил моим расспросам и сказал, что был отстранен от следствия потому, что как еврей (как «экс-нострис», сказал он) не смог повести следствие справедливо и объективно, «не понимая, кому было выгодно это убийство...».

Так и я укрепился в убеждении, что Шейнин лукавит, что, видимо, он занялся расследованием дела, расследовать которое вовсе не надо было, ограничившись какими-то формальными, ничего не значащими шагами, и сразу же был отстранен. Плутуя, он говорил правду: следствия по делу ЕАК не вел ни он, ни любой другой из следователей главной прокуратуры, а тем более Лубянки. Больше того, я убедился в том,

---

<sup>1</sup> Дело № 5214, т. 1, л. 236.

что самого убийства тщательно старались не касаться следователи МГБ, задействованные в деле Еврейского антифашистского комитета, и вслед за ними судьи. Подсудимые тотчас же обрывались, едва они заговаривали об убийстве.

Странное, почти мистическое ощущение создает это строгое — словно мы приближаемся к краю бездны — умолчание. Казалось бы, погиб главный — безответный по причине смерти — обвиняемый всего дела ЕАК, бессменный председатель его президиума, а на все, что касается его смерти и должно бы, кажется, более всего интересовать суд, наложено грозное табу! Вот один из многих примеров того, как председательствующий на процессе судья, генерал-лейтенант Чепцов, резко пресекает попытку заговорить об убийстве и убийцах Михозлса. Допрашивался подсудимый Шимелиович, бывший главный врач больницы им. Боткина, человек редкого мужества и нравственной силы. Он показывал: *«В первый вечер ареста, когда со мной говорил следователь Шишков, он мне сказал: «Ну-ка расскажите, кто убил Михозлса?» Причем тут же мне назвал...»* Судья не дал ему договорить, оборвал властно и бесцеремонно: *«Я спрашиваю в а с, какие разговоры были у в а с о причине смерти Михозлса? А что Шишков говорил вам, это суд не интересуется»*<sup>1</sup>.

Следствие в этой связи интересовало лишь одно: добиться обвинительных показаний против П.С. Жемчужиной, арестованной жены Молотова, получить подтверждение того, что именно она на похоронах Михозлса сказала, что он жертва не несчастного случая, а правительства и ненавидящего евреев Сталина. Только так, пытаясь обвинить Жемчужину, позволяли себе следователи заглядывать в страшную преисподнюю. Только с целью доказать, что и тут, у гроба Михозлса, злокозненные буржуазные националисты пытаются оклеветать советскую власть.

Загадочный эпизод, пронизанный страхами, подозрениями, недобрыми предчувствиями, случился уже

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, л. 60.



в июне 1952 года в судебном заседании по делу ЕАК при допросе обвиняемого журналиста и переводчика Тальми и одновременно, в порядке перекрестного допроса, двух других обвиняемых, мужа и жены Ватенбергов.

« — После ареста Фера, — сказал Ватенберг [Ицик Ферер был арестован 23 декабря 1948 года], — я был у Тальми, вместе с женой... Мы терялись в догадках, что могло быть причиной ареста Фера. Разговор велся на английском языке, и я помню, что тогда было сказано Тальми. В переводе на русский язык это было следующее: " Они еще припилят ему смерть Михозлса... »

— Кто — они? — спросил генерал Чепцов.

— Те органы, которые арестовали Фера, — ответил Ватенберг. — Тальми дальше добавил, что ему, т.е. Феру, еще придется объяснить, почему платформа в Чикаго сломалась под Михозлсом, а не под Ферером... »

В 1943 году, в поездке Михозлса по США, на многолюдном митинге в Чикаго такое действительно случилось: рухнула платформа, Михозлса подняли со сломанной ногой, вскоре он на костылях продолжал напряженную поездку.

Тальми уточнил, что разговор в Ватенбергами шел в метро и потому на английском языке.

« Я тогда еще сказал, после ареста Фера, сказал в полушутливой форме — не связано ли это и не имеет ли это какое-то отношение к смерти Михозлса. Я не мог себе представить, чтобы Ферер мог совершить что-нибудь такое, за что его можно было арестовать. Получилось такое совпадение, что в Чикаго сломалась платформа не под Фефером, а под Михозлсом и в Минске попал под автомашину не Фефер, а Михозлс... »

Показывает Ватенберг-Островская, Хайка Островская, с девичьей поры облюбовавшая подаренное ей щедрой родней поэтическое имя — Чайка, Чайка Островская:

« Я сказала следователю, что с Тальми был разговор о связи ареста Фефера со смертью Михозлса... следователь меня спрашивает: "Что же, по-вашему, Михозлса МГБ убило? [Поразительная оговорка сле-

дователя: зная правду о Фефере, он сам связал все в один узел; подозреваете Фефера — значит, подозреваете МГБ! — А.Б.] Я говорю — нет. И так продолжалось долго. Я повторяла все время слова Тальми и отказывалась подписать этот страшный протокол потому, что в нем было записано, что в смерти Михозлса виновато правительство...»<sup>1</sup>

Фефера не могло не тревожить и не настораживать, что его имя связывается с гибелью Михозлса. С разрешения судьи он обратился к Тальми:

«— Мне не совсем ясно, в каком смысле вы меня связываете со смертью Михозлса. Получается так, что, приехав в Минск, Михозлс попал под машину, а я не попал; так в чем же вы меня обвиняете, в том, что я не попал под машину?»

ТАЛЬМИ: — Это было сказано в полушутливой форме, и этого нельзя принимать всерьез»<sup>2</sup>.

Чайка Ватенберг-Островская — единственная из подсудимых женщин, кого бросали в карцер, в темную каменную клеть, глухую, с подведенными «седыми» трубами охлаждения, в карцер — на хлеб и на воду. Первый раз она попала в карцер по распоряжению Лихачева, правой руки Абакумова, провела там четверо суток, с 26 по 29 марта 1949 года, и вышла несломленной, а брошенная вторично, с 21 по 23 июня, по требованию садиста полковника Комарова, ослабевшая, отчаявшаяся, убитая оскорблениями и плевками, она подписала подсунутый ей протокол, который и назвала на суде «страшным».

### III

Абакумову, несомненно, отрапортовали по «ВЧ» еще в ночь на 13 января. Министра, так домогавшегося от арестованных обвинений «сволочи» Михозлса, в бумагах госбезопасности уже объявленного «главой банды», агентом спецслужб США, вдохновителем террора против руководителей пар-

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, лл. 279—280.

<sup>2</sup> Там же, л. 283.

тии и правительства, можно было порадовать, рискуя и разбудить.

Сталина не разбудишь, он спит поздно, за полдень, никто не рискнет нарушить его покой даже и доброй вестью. И когда на следующий день Абакумов позвонил на ближнюю, кунцевскую дачу, в тот редкий — можно сказать, редчайший — момент рядом со Сталиным оказалась его дочь Светлана.

*«В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче, — вспоминает Светлана Аллилуева в книге «Только один год», вышедшей спустя два десятилетия после минского убийства, — я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону.*

*Я ждала.*

*Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как р е з ю м е, он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение. Он не спрашивал, а п р е г л а г а л это, автомобильную катастрофу.*

*Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михозлс». Но когда на следующий день я пошла на занятия в университет, то студентка, отец которой работал в Еврейском театре, плача, рассказывала, как злодейски был убит вчера Михозлс, ехавший на машине. Газеты же сообщили об «автомобильной катастрофе». Он был убит, и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» была официальной версией, п р е г л о ж е н н о й м о и м отцом, когда ему доложили об исполнении... Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде м е р е щ и л с я «с и о н и з м» и заговоры. Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении».*

Читавшие книгу Светланы Иосифовны помнят: к отцу она более чем снисходительна, главным виновником преступлений режима и «злым гением» Сталина считает Берию, забравшего тайную власть над вождем, занятым множеством государственных дел. Ей проще всего было в череде событий обойти этот эпизод, умолчать, как, вероятно, она умолчала о многом из пережитого. Но об этой «страсти» отца она не умолчала. Почему?

Слова, выделенные мною в ее тексте, подтверждают решающую роль Сталина в убийстве Михозлса, в акции, сценарий которой, судя по всему, принадлежал Абакумову. Дочери важно было во имя достоверности и чистоты исповеди сказать о неотступном антисемитизме Сталина, принявшем с годами маниакальный характер, иначе не понять ее слов о том, что «отцу везде мерещился «сионизм» и заговоры». Но еще примечательнее начало фразы, простое, житейское: «Мне слишком хорошо было известно...» Дорогого стоят эти два слова — «слишком хорошо» — в исповеди опытного литератора, знающего цену словам и интонации. Слишком хорошо — значит, давило и на нее — грубо, жестоко, бесцеремонно. Слишком хорошо — значит, не раз услышанное в горчайших, принимавших в последние годы жизни Надежды Аллилуевой яростный характер ссорах отца и матери, когда Надежда Сергеевна пыталась защитить кого-либо их вчерашних соратников Сталина, еврея по национальности, а он, изругавшись яростно и грязно, упрямо повторял свое заветное, что **в с я и с т о р и я п а р т и и — и с т о р и я б о р ь б ы п р о т и в е в р е е в**. Навсегда потрясли ее и гневные, грубые слова отца, когда он узнал, что дочь полюбила еврейского юношу. Мог ли он не увидеть и в этом происки мирового «сионизма», хорошо если только искательство карьеры, а не преступный подкуп под его жизнь, под Кремль.

В эмиграции Светлана Аллилуева выпустила вторую книгу, «Двадцать писем к другу», по ее словам составленную из писем, написанных летом 1963 года в деревне Жуковка, недалеко от Москвы. Зримо рисует она свою жизнь и жизнь отца в годы 1947—1949-й, соболезнуя Сталину, прощая и то, чего простить нельзя, и все же невольно возвращаясь к истребительному сталинскому антисемитизму. Вспоминает она сумрачные ноябрьские дни о самоубийстве жены, *«он искал других виноватых. Ему хотелось найти причину и виновника, на кого бы переложить всю эту тяжесть. Тяжесть давила его все больше и больше. По-видимому, с возрастом мысль его все чаще возвращалась к маме. То вдруг он вспоминал, что мама грузила с Полиной Семеновной Жемчужиной и она «плохо влияла на нее»; то ругал последнюю кни-*

гу, прочитанную мамой незадолго до смерти, могую тогда «Зеленую шляпу». Он не хотел думать об иных серьезных причинах, делавших их совместную жизнь столь трудной для нее»<sup>1</sup>.

Дорого обошлись эти ностальгические воспоминания Сталина Жемчужиной; и она, жена самого Молотова, была брошена в тюрьму, а затем в ссылку — исполнительный Абакумов по воле Сталина пристегнул еврейку Жемчужину к следствию по делу Еврейского антифашистского комитета.

Светлана Аллилуева вспоминает ноябрь 1948 года, возвращение ее с отцом с юга в Москву, безлюдные, очищенные от пассажиров к приходу спецпоезда перроны. «Это было печально, зловеще, тоскливо. Кто придумал все это? Кто изобретал все эти хитрости? — недоумевает она. — Не он. Это была система, в которой он сам был узник...»<sup>2</sup>

Да, система, навсегда неотделимая от его имени и личности, система, и — хотя всегда находились мастера политических интриг, все более наглевшие «соратники», люди полицейских, жандармских талантов — первое слово, приказ шли от него и несли на себе печать его характера, природной жестокости и безнравственности. Сталину, возможно, и не пришлось отдавать прямой приказ об аресте Жемчужиной, но стоило ему выругаться в ее адрес при генерале Власике (ожиревший, опухший от важности и коньяка) — С. Аллилуева), при Абакумове, Шкирятове, Берии, повторить, потемнев лицом, зайдясь в хамской брани, — и участь Полины Семеновны была решена.

Я постараюсь показать, как это случилось в действительности, шаг за шагом.

Воспоминания Светланы Аллилуевой подводят нас непосредственно к предмету моей книги.

«В конце 1948 года поднялась новая волна арестов. Попали в тюрьму и все их знакомые. Арестовали и отца моего первого мужа — старика И.Г. Мо-

---

<sup>1</sup> С. А л л и л у е в а. Двадцать писем к другу. М., «Советский писатель», 1990, с. 180—181.

<sup>2</sup> Там же, с. 181.

розова. Потом прошла кампания против «космополитов», и арестовали еще массу народа.

Арестовали и Полину Семеновну Жемчужину — не убоившись нанести такой страшный удар Молотову. Арестовали А. Лозовского. Убили Михозэлса. Они все обвинялись в том, что входили в «сионистский центр».

*Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька», — сказал мне некоторое время спустя отец. «Папа, да ведь молодежи это безразлично, какой там сионизм?» — пыталась возразить я. «Нет! Ты не понимаешь! — сказал он резко. — Сионизмом заражено все старшее поколение, а они и молодежь учат...» Спорить было бесполезно.*

*Про теток моих он сказал, когда я спросила, в чем же их вина: Болтали много. Знали слишком много — и болтали слишком много. А это на руку врагам...» Он всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования — от опустошения, от одиночества... Он был предельно ожесточен против всего мира».*

Миллионы людей всех национальностей, целые народы и этнические группы, ставшие жертвами сталинского геноцида, депортаций, попыток полного, поголовного их уничтожения, не станут рядиться по поводу того, на кого черная истребительная страсть Сталина обрушивалась с большей силой и размахом. Но в зловещих акциях и репрессиях Сталина существовали и свои особенности, свои кровавые «оттенки», продиктованные всем его жизненным опытом. Мстительная и высокомерная вражда Сталина к полякам, к самой их государственности была результатом чувствительного удара, нанесенного его гордыне и самолюбию крахом польской кампании 1920 года, удара, так унизившего Сталина перед главкомом Троцким. По наущению Берии, опасаясь нелояльности немцев Поволжья, заранее готовый видеть в каждом предателя и провокатора, Сталин бесстрашно, с фельдфебельской тупостью дал «добро» на депортацию немцев; на его взгляд — немцев второго сорта, ибо «первосортные» наступали на нас, верные своему вождю, в котором так жестоко обманулся Сталин. По первому доносу провокаторов народы из-

гонялись с их исторической земли, обрекались на голод, упадок на грани вымирания: самой малости не хватило в начале 1953 года, чтобы злобная клевета Рухадзе достигла своей цели и мегрелы были поголовно выселены из Грузии. Делалось это и в гневе, и с деспотическим равнодушием — диктатор все более входил во вкус сатанинского кровавого пасьянса.

У народного страдания, у русского или украинского мужика, согнанного с земли отцов, опухшего, умирающего от голода где-нибудь под станционным забором живущих впроголодь Вологды, Рыбинска или Мурманска; у крымского татарина, у калмыка, ингуша или чеченца, обреченных на смерть в смрадных дизентерийных скотских вагонах, медленно волокущихся в неизвестность; у миллионов людей разных национальностей **р а в н ы й** счет к тирану, ибо нет ничего пагубнее, чем выкликать разную цену крови, цену страдания и горя. И если на страницах этой книги я говорю о евреях, об их судьбе, то потому, что именно она — **п р е д м е т и с с л е д о в а н и я**. Только собрав реальные свидетельства прошлого, обнаружив и общие черты, и «индивидуальность» ненависти, мы сможем охватить единым взглядом трагическую, исполинскую панораму преступлений века.

Каковы же некоторые особенности и отличительные черты юдофобства Сталина?

Случается, что нечистую эту страсть порождает быт, косность среды, что-то случившееся в детстве, даже не вполне осмысленное, но оставившее в душе ядовитые корешки. Ничего такого прочитанного о Сталине не попадалось на глаза: едва ли в разноязыких, говоривших, кажется, на всех языках России, Баку или Тбилиси могло зародиться агрессивное юдофобство. Пристрастие к еврейскому анекдоту, сорвавшееся в споре слово «жид», распространенный оборот «они»: **о н и** — евреи, **о н и** — армяне, **о н и** — грузины — тоже не в счет, все это как корь в детстве.

Нелюбовь Сталина к евреям тем не менее давняя, с корнями прочными и разветвленными. Случалось, она забирала власть над всеми его чувствами, а с некоторых пор и над мыслями и политическими расчетами. Нелюбовь эта крепла, «кристаллизовалась» на

каждом новом этапе его борьбы за абсолютную власть, за некое право на богоподобие. Исторический парадокс, а для Сталина и мука мученическая заключались в том, что единственный почитаемый Сталиным в Европе политический вождь и государственный муж — Гитлер — с сатанинской энергией принялся за физическое истребление еврейского народа, а он, Сталин, волею судеб оказался во главе тех сил, которым суждено было защитить и сохранить уцелевшую часть еврейства Евразии! Как ладно они прошли бы тяжелыми военными плугами все это смертное для евреев поле — но в этом судьба Сталина отказала.

Его мощная военная сила — на самом острие антигитлеровской коалиции; его декларированное исповедание веры — интернационализм; он — друг всех народов, их надежда и спаситель. Эти нимбы, эта высокая честь, пока шла война, удовлетворяли его амбиции и непомерное честолюбие. Война и особенно заметные успехи на фронтах подталкивали его к непредставимым прежде актам насилия над малыми народами; военная мощь, которой он распорядился, отчасти притупила всегдашние его страхи — мир складывался по его велениям, а когда будет достигнута победа, он станет лучшим из миров. Гитлер физически истреблял, разрушал еврейство, выкашивал его в Европе, Сталину выпала не с т е р п и м а я участь спасителя не только евреев Советского Союза, но и бежавших на Восток евреев Бессарабии, Польши, Румынии, сотен тысяч «хитрецов» — детей, стариков и женщин, нашедших кров и хлеб на Урале, Алтае, в республиках Средней Азии, в городах Сибири, — и не только кров, но и доброе участие коренных жителей. Как было догадаться аборигенам, что для Сталина интернационализм только вериги, только фраза, лозунг, поднятый над толпой, за которым постоянная страсть разделять народы, унижать их даже похвалами.

А евреи — и воспрянувшие духом, и убитые горем, ошеломленные потерями — продолжали жить на огромных пространствах страны, в городах и весях, и он, ничем не ограниченный диктатор самой могущественной военной державы, не в силах, однако, осуществить д е п о р т а ц и ю евреев, выдво-



рять, вытолкать их. Нашлись бы, конечно, вагоны и конвоиры, несчитанные километры тайги и тундры, но как свезешь миллионы людей уже не за дымовой завесой войны, не нахрапом, не втайне, а на глазах у протрезвевшего человечества, для которого Сталин тем не менее пока еще символ победы над бесчеловечным фашизмом! Нашлась бы тюремная похлебка для всех и братские могилы — ямы, вырытые по пути для упавших, пристреленных, для «малOVER» и скептиков, никак не берущих в толк, что их вывозят для из же счастья, «дальнейшего подъема и расцвета». Как соберешь их по всей империи, как обойтись с сотнями тысяч смешанных браков, с полукровками? Как заменить вдруг добрую четверть врачей, десятки тысяч учителей, научных работников, как поступишь со множеством видных деятелей науки, искусства, литературы, мастеров, отмеченных премией его имени?!

Не раз я читал якобы достоверные — из первых рук — свидетельства, что все уже было предусмотрено, решено и готово — и списки, собранные в домоупрелениях, и бараки, построенные то ли в Биробиджане, то ли севернее, в Заполярье, и свезенные к Москве старые вагоны, теплушки, платформы. Но почему Москва? Такие акции не начинаются со столиц, где возникает слишком много тяжких затруднений, а наличие корреспондентского корпуса не позволит сохранять все в тайне, — вокруг Москвы огромное, глубиной в 50—100 километров, почти неуследимое пригородное, дачное кольцо. Такие акции, решившись на них, раньше опробуют в Жмеринке и Бердичеве, в Балте и Меджибоше, в Минске или по крайности в Одессе...

Ссылка, депортация евреев страны не миф, но мифологический, близкий к фантастике образ вождельний и тайных планов Сталина, его неутоленной жажды; дополнительный мотив ненависти из-за сознания н е в ы п о л н и м о с т и его мечты. Он не в силах был пока справиться с этим и страдал, исходил ненавистью, его склеротические сосуды напрягались, грозя катастрофой. Все возраставшая жажда такой расправы породила и новую волну репрессий, о ко-

торых писала Светлана Аллилуева, называя это состояние Сталина паранойей.

Если бы на путях и перепутьях революции Сталину случился один лишь Троцкий, с его искусным ораторством, беспощадным, ироническим умом, с его любовью к Сталину и, хуже того, с обыкновением демонстративно не замечать Сталина, не интересоваться его земным существованием, не считаться с ним (опрометчивость, которая дорого обошлась Троцкому!), если бы не было других досаждавших Сталину партийных лидеров-евреев, то и одного такого катализатора, как Лев Давидович, хватило бы. Хватило бы и живого Троцкого, и, как выяснилось, мертвого тоже.

Но был также Свердлов, лицо, более других приближенное к Ленину в те «десять дней, которые потрясли мир», и, кажется, во все другие дни, до самой смерти Свердлова. Был Каменев — образованный, хорошо пишущий, так легко располагающий к себе людей. Был пышноволосый вития, лихой демагог и, до поры, покоритель партийных толп Зиновьев; были и другие, в большинстве своем уверенные профессионалы, быстро, в отличие от Сталина, приживавшиеся в эмиграции, — многие из них знали хотя бы один из европейских языков, в тюрьме и ссылке не переставали учиться, что, впрочем, делал на свой лад и Сталин. Как показало время, Сталин превосходил их в коварстве и вероломстве, в хитрости и тактическом расчете, в подлинном знании людской толпы — с редкостным мастерством демагога он играл на ее низменных инстинктах, — но, чувствуя и осознавая это превосходство и побеждая, он продолжал завидовать и ненавидеть.

Возведя в священный культ борьбу против меньшевиков, а с тем и против всех разновидностей социал-демократии, Сталин видел, как много среди лидеров русского меньшевизма евреев, как они неистощимы в критике и осмеянии его уже в послереволюционные годы, когда он наконец превратился в достойную их внимания мишень. Если Ленин боролся с программой и организационными усилиями Бунда, с его стремлением к «автономии» внутри революционного движения в России, то Сталин поставил бывших

бундовцев вне закона, начав репрессии и уголовные преследования.

Ненавидел он и этнические особенности евреев, порожденные, быть может, тысячелетними скитаниями и преследованиями: скептический склад ума, склонность к иронии и самоиронии, распространенное стремление к книге, к знанию из-за преград, которые в былые времена возникали перед евреями в сфере образования. Молчаливое, а случалось, и крикливое, настойчивое несогласие с постулатами, покорно принятыми большинством; молчаливая, подавленная, но все же мелькнувшая в глазах насмешка, тайная издевка над тем, что он, Сталин, изгнав Троцкого, принялся выполнять пагубную для деревни гибельную программу Троцкого; его неуверенность в вопросах культуры и искусства, скрытая за решительностью и безапелляционностью, а то и грубостью суждений, — всю гамму неприятия он прочитывал и в молчащем еврее, и в поддакивающем, а если не прочитывал, то придумывал. Ненавидел их плоть, врожденные их способности, равно как и неспособности, слабости, все проявления их физического существования, даже их имена, в которых, если собрать в пригоршню десяток их, уже, кажется, зреет крамола, покушение, заговор против всех других имен человечества. Раздражало его и то — в чем более всего были повинны он сам и установившийся казенный режим, — с какой легкостью иные из них меняли свои имена, словно пародируя то, как помещали фамилии он сам и многие из его соратников.

Болезнь его была неизлечима, и наступили времена, когда он перестал ее скрывать, оставив в Политбюро, приснопамятного «интернационализма» ради, одного Кагановича — самого ограниченного и жестокоего из всех евреев, когда-либо возникавших в окружении Сталина. Немного поодаль или много ниже маячил верный раб и прислужник Мехлис. Рядом с этими двумя голову не потревожит огорчительная мысль о каких-то завидных качествах еврейской натуры или ума. А прирожденные приказчики обнаружатся в любом народе.

Стоит ли удивляться тому, что брак с евреем прямой, в отца, Светланы Сталин встретил в штыки,

агрессивно, создал атмосферу, которая вела к неизбежному разрыву; что он посчитал этот брак не только бедой и бесчестьем, но и коварным умыслом враждебных сил — «сионисты подбросили!»?

«Новая волна арестов» 1948 года — результат долго копившейся ненависти, обдуманно начатого особого рода геноцида — «верхушечного», — когда тирания, до поры не находя возможности провести депортацию всего народа, с особой жестокостью уничтожает его интеллигенцию, культуру, язык, самобытность. На подготовку ушли не месяцы — годы. Накопление агентурных данных велось уже в годы войны, а с 1946 года, с приходом в МГБ Абакумова, события приобретают пугающий размах, поражая полнейшим беззаконием. Усвоив замысел Сталина, уразумев его подспудную, черную страсть, Абакумов и его служба повели охоту за сотнями людей, обрекая их на аресты и уничтожение. Планировались прекращение деятельности жалких остатков еврейских культурных учреждений, закрытие издательств, газет, журналов и альманахов, ликвидация творческих объединений писателей, закрытие еврейских театров — четыре из них: московский ГОСЕТ, киевский, минский и одесский — представляли незаурядный творческий потенциал, их уровня сценического искусства, боюсь, не скоро достигнет возрождающаяся сейчас в стране еврейская сцена. Замыслилось прямое устранение тысяч и тысяч евреев — докторов наук из научно-исследовательских институтов и лабораторий и одновременно массированное, но внешне более мягкое, так сказать либеральное, изгнание прочих путем дискредитации, давления печати, хулы, объявления их «безродными космополитами».

Созданный в начале войны ЕАК оказался идеальной площадкой для осуществления злодейских замыслов, для истребления не только ненавистных палачам наборных еврейских шрифтов, так называемого квадратного письма<sup>1</sup>, но и живых, добрых, всю жизнь занятых благородным трудом людей. Духовные и идейные цели ЕАК были безупречны и святы:

---

<sup>1</sup> Восходящее к арамейскому письмо древнееврейских надписей, а также современных языков иврит и идиш.

убежденный, страстный антифашизм, мобилизация всех сил и средств на борьбу с фашизмом, спасение поработанных народов Европы, и не в последнюю очередь еврейской нации, ее важнейшей европейской ветви, от полного уничтожения. Рядом с ЕАК, под крылом Совинформбюро, возникали и другие антифашистские комитеты: славянский, женский, молодежный, комитет ученых СССР. Они трудились сообща, и никому не могло прийти в голову, что однажды весь ЕАК, люди, преданные стране и нравственно чистые, не повинные ни в чем недобром настолько, что и судьи под конец перестали в этом сомневаться, — что они будут тем не менее убиты, истреблены потому, что этого захотел Сталин.

Вокруг ЕАК и газеты «Эйникайт», издававшейся комитетом, постепенно сгруппировались все еврейские писатели и журналисты, именно в с е, и это важно иметь в виду, многие деятели культуры и науки. Трудно назвать кого-либо из еврейских писателей страны, от молодых, начинающих в ту пору, до таких патриархов, как прозаики Дер Нистер или Бергельсон, кто остался бы в стороне от антифашистской работы, не писал бы для «Эйникайт» или по запросам зарубежных изданий, поступавшим в ЕАК из США, Англии, Мексики, Аргентины, Бразилии и других стран. И почти никто из авторов не избежал ареста, следствия, обвинительного приговора. Скажу даже так: не следует называть тех считанных, кого обошли репрессии и преследования: едва ли им доставило бы радость узнать, что в дни, когда преследовалась и о б в и н я л а с ь к р о в ь, национальность, когда на плаху и на муку шли сотни людей, слепой случай сохранил их, уберег от страданий.

Никакая служба сексотов, никакие «аналитики» госбезопасности не смогли бы так оперативно и успешно составить списки заслуживающих наказания, разбросанных по стране от Владивостока и Биробиджана до Прибалтики, от Москвы до Ташкента и Душанбе евреев-литераторов. Но два списка: членов ЕАК, не только руководства, членов его президиума, но и всех рядовых активистов ЕАК, и авторов антифашистской «Эйникайт» — тотчас же положили начало следствию. Достаточно было назвать, так ска-

зять, «в рабочем порядке» антифашистскую газету «Эйникайт» буржуазно-националистической, и каждый, кто писал для нее на идиш и печатался на ее страницах, автоматически причислялся к антисоветчикам, а следователи Абакумова умели добиваться нужных признательных показаний.

Во главе ЕАК стоял Михозлс, членом президиума после убийства Михозлса стал Зускин, это давало повод обвинить в буржуазном национализме московский ГОСЕТ, закрыть его и по такому случаю разогнать и другие еврейские театры, кроме одного случайно сохранившегося, киевского, спасенного послевоенным изгнанием из Киева в Черновцы. Чего ни коснись: науки, школы, еврейского ученого комитета при АН УССР, альманаха «Дер Штерн», переводчиков с еврейского и на еврейский, певцов-солистов и даже известных литераторов, пишущих на русском, но по происхождению евреев, — все специально было стянуто в один клубок, взято под подозрение в кабинетах Лубянки. Возникла атмосфера недобрых двусмысленностей, предположений, что эти литераторы по зову крови, по некоему врожденному национализму готовы изменить родине и идеалам коммунизма.

Удача сама шла в руки следователей — надо было лишь закрыть глаза на правду и закон, двигаться вперед властно и жестоко, калеча арестованных физически и морально — пытками, унижениями, матом, угрозами расправы с детьми, с близкими, лишением сна, плевками в лицо, карцером. Нам нет нужды ссылаться на жалобы подследственных на пытки и истязания; сами следователи — когда и для них наступил час расплаты за содеянное, а эта пора для иных наступила еще при жизни Сталина, отвернувшегося от Абакумова, — многое рассказали о себе и еще охотнее друг о друге.

«Преступников», собранных по полнейшему произволу, по ничтожному факту: кто-то присутствовал на каком-то обеде, посетил в интуристовской гостинице журналиста или общественного деятеля из США, страны — союзницы в годы войны; написал для зарубежной печати очерк о киевском враче профессоре Губергрице или авиаконструкторе Лавочки-

не, ответил на письмо из редакции «Эйникайт» или, не приведи Господь, сам обратился в газету с предложением о сотрудничестве, — таких «преступников» набралось несколько сот. Их оказалось так много, что иные из них группами были выделены по ходу следствия в отдельные слушания еще до лета 1952 года, когда решалась судьба членов президиума ЕАК, и были приговорены к разным срокам, а иные, как, например, журналисты Мириам Железнова (Айзенберг) и Персов, ничем не согрешившие против наших законов и нравственности, к расстрелу. Их убивали молчком, без газетной шумихи и ликующих кликов «народа», и молчком увозили в лагеря. И о суде над «главными преступниками», о приговоре суда не скоро узнали даже близкие: преступный процесс прошел втайне, скрытно, сталинский идеологический аппарат на этот раз отступил от давнего обыкновения извлекать пропагандистскую пользу из пролитой крови.

К этой особенности дела ЕАК я еще вернусь, она не случайна.

Следствию по делу ЕАК удалось довольно быстро составить фальшивые признательные протоколы, обвинив арестованных в «буржуазном национализме», в попытке создания «антисоветского националистического подполья», в измене Родине и даже в шпионаже по заданию американских спецслужб.

Недоставало одного: «заказанного» Сталиным террора или хотя бы подготовки к таковому, а именно посягательства на жизнь соратников Сталина, но прежде всего на самого вождя. Любые обвинения в терроре автоматически находили отклик в подозрительном Сталине. И все же главные, вожделенные обвинения долго не давались Абакумову. Они, можно сказать, дышали в затылок, грозя вот-вот выйти наружу, объявиться: ведь все эти Вовси и Этингеры, профессора, медики, пробившиеся слишком высоко, все эти мастера черной магии, «ненавидя» страну — в чем Абакумов не сомневался, — должны были ненавидеть и ее славных руководителей.

Без параграфа о терроре, о готовности к террору обвинение представлялось незавершенным, каким-то

сиротским. Оно не могло вызвать полного удовлетворения Сталина.

В середине декабря 1947 года Абакумову выпала наконец удача, проступил след террора, и на сей раз террора против самого Сталина.

#### IV

По «Заключению» (от 4 ноября 1955 года) прокурора Главной военной прокуратуры полковника юстиции Жукова, «...основанием к аресту Фефера, Шимелиовича и других и началу дела бывших руководителей ЕАК послужили показания ранее арестованных Гольдштейна и Гринберга. Гольдштейн арестован 19.XII.1947 года<sup>1</sup> по указанию Абакумова и без санкции прокурора». По приказу Абакумова Лихачев и Комаров, начальник и заместитель начальника следственной части по особо важным делам, «...начали домогаться от Гольдштейна показаний о проводимой якобы им шпионской и националистической деятельности, несмотря на то что н и к а к и х данных на этот счет в органах госбезопасности не было». Исполняя волю министра, следователи Комаров и Сорокин «подвергли Гольдштейна избиениям и, таким образом, вынудили его подписать сфабрикованный ими с участием работника секретариата Абакумова — Бровермана — протокол допроса, в котором указывалось, что Гольдштейну, со слов Гринберга, а затем и путем личного общения с руководителями ЕАК, известно, что Лозовский, Фефер, Маркиш и другие, под прикрытием ЕАК, занимаются якобы антисоветской, националистической деятельностью, поддерживают тесную связь с реакционными еврейскими кругами за границей и проводят шпионскую работу». Старший следователь спустя время подтвердил, что выполнил вместе с Комаровым приказ об избиении доктора наук Гольдштейна, что издевательства продолжались до той поры, пока Гольдштейн не показал наконец «...о шпионской деятельности Михозлса и о том, что он (Михозлс) проявля

---

<sup>1</sup> Описка: он был арестован в ночь с 17 на 18 декабря.



повышенный интерес к личной жизни главы советского правительства в Кремле»<sup>1</sup>.

Внезапно возникшее обвинение Михоэlsa — личный заказ Абакумова, уже замыслившего его л и к в и д а ц и ю как необходимый и неременный шаг для успешного развития всей преступной авантюры, для ареста множества лиц и скорого следствия. Абакумов и его подручные понимали, что Михоэls не шпион, не изменник, не антисоветчик, но попытки сделают свое дело, скоро будет добыто столько ложных обвинительных показаний, что и самим палачам впору поверить в ими же сочиненные протоколы. Когда подписи жертв насилия уже появились внизу каждой допросной страницы, а жертва ненавистна тебе уже по самому звучанию своего имени, по форме ушей, по непременно «короткой» шее (Комарову она показалась короткой даже у Маркиша с его гордой посадкой головы, у стройного Тальми...), по загадочному для палачей языку идиш, а еще и потому, что русским языком жертва владеет лучше и грамотнее следователей-«забойщиков»<sup>2</sup>; когда ненавистна сама его кровь, — поверить можно и в нечистую силу.

Участь двух докторов наук — Гольдштейна и Гринберга — поможет нам отойти от принятых и таких щадящих определений, как «побои», «физические методы воздействия», скрадывающие реальный, непереносимый ужас того, каким образом в ы б и в а л и с ь подписи подследственных. Я с растущим беспокойством всматривался в подписи непокорного Шимелиовича и видел, как надругательства на протяжении срока месяцев следствия изменили его «автограф», опытный графолог прочитал бы по этим подписям всю его долю этой поры, как мы — не побоюсь такого сравнения! — прослеживаем трагическое жизнеописание Ван Гога по его пронзительным автопортретам...

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 7, лл. 188—190.

<sup>2</sup> Жаргонное выражение, обозначение следователей, «выбивающих» показания из подследственных, в отличие от «литераторов», которые «редактировали» показания, делая так называемые «свободные» или «обобщенные протоколы».

Не все обладали упорством и силой воли Шимелиовича, его мужеством обличать палачей и по ходу следствия, и в судебном заседании. Но сохранились письма Гольдштейна из тюрем и лагерей: письмо от 3 апреля 1950 года и от 11 октября 1953-го. Первое письмо из Верхнеуральской тюрьмы, бывшей в начале 30-х годов *политизолятором* для противников Сталина; оно писано еще при жизни диктатора. Гольдштейн осторожно жалуется на то, что он *«семь раз подвергался т я ж е л ы м р е - л ь с с и я м»*, а из второго письма мы узнаем трагические подробности. Второе письмо адресовано в Министерство внутренних дел СССР, в то время уже подведомственное Берии, которому вторично после 1938 года показалась не только выгодной, а прямо-таки спасительной роль освободителя, защитника униженных и оскорбленных. *«Я был снова вызван на допрос, — писал Гольдштейн 11.X.1953 года, — на котором, кроме майора Сорокина, присутствовал подполковник Лебедев, а также другой подполковник, фамилии которого я не знаю. Могу сообщить только, что он с лысиной, идущей от лба... Меня стали избивать резиновой палкой по мягким частям [спустив штаны, били по гениталиям. — А.Б.]. Держали меня двое: подполковник Лебедев и еще какой-то майор, а избивал меня майор Сорокин. Затем заставили меня сбросить туфли и стали нещадно бить по пяткам. Боль была совершенно невыносимая... Не имея возможности дольше переносить боль, я стал просить о пощаде, вопя, что все, что угодно, скажу и признаю... Но когда меня, избитого и истерзанного, заставили подняться, я не знал, что сказать. Избиение возобновилось с новой силой»<sup>1</sup>.*

Тогда-то Гольдштейн и назвал первое всплывшее в потрясенной памяти имя Захара Григорьевича Гринберга, шестидесятилетнего кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР им. Горького. Сказал, что Гринберг интересовался тем, как живут дочь Сталина

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 10, лл. 20—21.

Светлана и «ее муж Мороз», интересовался, хотя даже не знал точной фамилии еврейского зятя Сталина — Мороз или Морозов? *«Не успел я это промолвить, как меня, не держащегося на ногах, потащили в одну из соседних комнат, в которой я увидел за столом неизвестного мне генерал-полковника. Увидев меня в таком истерзанном состоянии, генерал-полковник спросил, не заболел ли я»*.

Опасаясь пожаловаться, Гольдштейн только проговорил: *«Да...»* *«Меня, избитого, с окровавленной рукой, увели в камеру, где я пролежал в полубреговом состоянии всю ночь и весь следующий день»*<sup>1</sup>.

Сорвавшееся в бреду имя, ложь или обмолвка стоили Гринбергу жизни: арестованный также без санкции прокурора лихорадочно заторопившимся Абакумовым, он попал в лефортовско-лубянскую мясорубку, долго держался, был бит нещадно, по любимому выражению Абакумова, «смертным боем». Искалеченный, он 22 декабря 1949 года умер в тюрьме. По медицинскому свидетельству, умер от инфаркта миокарда: что ж, верно, от боли в пятках или ягодицах не умирают, должно разорваться сердце...

Гольдштейна вновь привели к Абакумову, генерал-полковник *«...настаивал, чтобы я не отказывался от того, что показал против Евгении Александровны Аллилуевой... Тогда-то министр, посетовав, что Гринберг отрицает правильность моего сообщения об интересе Михозлса к кремлевской квартире Сталина, спросил: «Значит, Михозлс подлец?»* Все это время и в течение ряда долгих недель меня допрашивали 2 раза в день. Один раз днем, от 2 до 5 часов, и второй раз ночью, приблизительно с 12 часов до четырех с половиной и пяти с половиной утра. Ночью я не спал, а с 6 утра до 10 вечера не давали ни на минуту вздремнуть надзиратели... Часто ночные допросы — без допросов: следователь читает газету, куда-то уходит, рассказывает об охоте на волков в Брянской области, о том, как он летал бомбить Берлин, и т.д. ... Лишь после подписания протокола [при-

---

<sup>1</sup> Там же.

знательного. — А.Б.] я позволил себе спросить у майора Сорокина: в чем же конкретно меня обвиняют?.. Сорокин сказал, что, подписав протокол № 1, в котором говорится о передаче сведений об Иосифе Виссарионовиче Сталине, я уже тем самым признал себя виновным в шпионаже»<sup>1</sup>.

Что же так воодушевило Абакумова? Что заставило его торопиться, действовать опрометчиво, заявить в присутствии своих помощников, что «доказания Гольдштейна [об интересе Михозлса к личной жизни Сталина по заданию иностранной разведки. — А.Б.] он держать не может и обязан о них доложить в Инстанцию»? По свидетельству полковника Лихачева, едва подтверждение версии о нацеленности «еврейских буржуазных националистов» на жизнь и семью Сталина было «выбито» (!) и у Гринберга, оно тоже было н е м е д л е н н о отправлено в Инстанцию.

Абакумов сделал один из ошибочных ходов, роковых для его судьбы, погубивших его в июле 1951 года. Сведениям о «террористических замыслах» против Сталина в Инстанции придавалось исключительное значение. Не случайно Комаров, тоже оказавшийся в тюрьме в 1951 году, в письме к И.В. Сталину прежде всего верноподданнически напоминал: «В 1948 году я п е р в ы й при допросах арестованных выявил, что еврейские националисты п р о я в л я ю т и н т е р е с к нашим руководителям партии и правительства, и в результате этого в дальнейшем вышли на Еврейский антифашистский комитет»<sup>2</sup>. Комаров похвалился тем, что допрашивал Аллилуеву — сестру покойной жены Сталина — и установил, что «вокруг нее концентрируется группа лиц еврейской национальности». Он позволил из Лефортова, где шли допросы, Абакумову, и немедленно «по подозрению» были арестованы Шатуновская и Гольдштейн, из них стали выбивать признания о передаче американской разведке сведений

---

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 10, лл. 21, 26.

<sup>2</sup> Материалы проверки по делу Лозовского С.А. и др., т. 1, л. 23.

о руководителях советского правительства. Комаров уверен, что именно ему принадлежит заслуга раскрытия заговора ЕАК, не подозревая, как долго подготавливалось, пестовалось и разрабатывалось это дело упорным, прямолинейным, но не лишенным злодейской фантазии Абакумовым<sup>1</sup>.

Аллилуевы раздражали Сталина самим своим существованием. Даже смолкшие, покорные, они все равно оставались бы немым укором ему, постоянным напоминанием о женщине, которую он когда-то любил, чьими портретами украсил свой дом, с годами теряя нежность к ней и взращивая в себе обиду: как она могла, как посмела нанести ему удар в спину! Ненавистен был Сталину — потому и поплатился — Павлуша, подаривший Надежде Сергеевне дамский, почти игрушечный пистолетик, ненавистны были и благополучные, продолжавшие жить как ни в чем не бывало жены соратников — Полина Жемчужина-Молотова, Мария Марковна — жена Кагановича, Дора Хажан — жена А.А. Андреева, жены Ворошилова, Буденного, Калинина. Не сделавшись ни схимником, ни женоненавистником — отнюдь, — по злобности природы он рад был разрушить и домашнее счастье сподвижников, презренные семейные, «мещанские» радости бытия. Он отнимал их от дома, превращая ночь в день, затягивая частые застолья до глубокой ночи, а то и до утра, но наиболее радикальным решением становился арест жен — впадающий в паранойю Сталин действовал безжалостно.

Анна Сергеевна Аллилуева не притихла, вела жизнь открытую, говорливую, по слухам, доходившим до Сталина, приступила к писанию мемуаров. Она пыталась и со Сталиным держаться с достоинством, за что и поплатилась сама, а с ней и Аллилуева

---

<sup>1</sup> «Читая составленные мною протоколы, — сообщал о себе окончивший семилетку Комаров, — Абакумов часто повторял мне: «Ты — дуб!» Я, по его мнению, писать совсем не умел. Должен по-честному признаться, что его упреки были справедливы, так как написание показаний арестованных у нас было слабым местом из-за общей малограмотности» (К. С т о л я р о в. Голгофа. Документальная повесть. М., 1991, с. 15).

Евгения Александровна и ее муж, Николай Владимирович Молочник.

Среди знакомых Аллилуевых был и доктор экономических наук Гольдштейн. 11 декабря 1947 года, на следующий день после ареста Евгении Аллилуевой и Молочника, дочь Аллилуевой от первого брака, Кира Павловна, пришла к Гольдштейнам, рассказала им об аресте родителей и попросила их посетить на следующий день концерт в консерватории, где должна быть Светлана Сталина, чтобы рассказать ей о случившемся.

Гольдштейны в концерт не пошли, побоялись, но осторожность не спасла Исаака Иосифовича. Наружное наблюдение донесло, к кому поспешила дочь арестованных, и в ночь на 18 декабря его взяли. Началось выколачивание нужных показаний: речь шла о родне Сталина, о его доме, о дочери Светлане, незадолго до того познакомившей Гольдштейна со своим мужем. Поэтому Абакумов лично занялся арестованным в поисках нити, которая вывела бы на материал «террора», тайной подготовки к нему.

«Нить» не давалась, рвалась, не было и скольконнибудь достоверного пунктира, который как-то связал бы дом Аллилуевых, Кремль, Сталина и еврейских «буржуазных националистов». Только в отчаянии, в крайней степени забитости, в погибельном бреду пришло Гольдштейну на память имя историка Гринберга — надо же было придумать кого-то, кто был хотя бы знаком с Михозлсом или с кем-либо из руководства ЕАК. Совместными усилиями следователей — «забойщиков» и «литераторов» вроде Бровермана — в несколько дней сложили версию о подготовке к террору, версию, еще недостаточную для суда, но в Инстанцию протоколы и сопроводительная бумага были посланы тотчас же, как важнейшая, долгожданная информация.

Подполковник Комаров не ведал или притворялся, будто не знает о том, что в недрах госбезопасности уже давно вызревало дело ЕАК, — у министра на этот случай были агенты и советчики куда более проникательные, а главное, осведомленные, чем одержимый антисемитскими страстями Комаров.

Фигура Комарова абсолютно типична для самой атмосферы и методов следствия по делу, практически не существующему, сочиненному от начала до конца. Эта фигура повторяется, чуть-чуть варьируясь, буквально в десятках других службистов, причастных к задуманной провокации. Здесь стоит привести отрывки из письма-исповеди Комарова Сталину, его вопля, последней надежды спасти свою жизнь. Дописывалось это большое письмо 18 февраля 1953 года, Комаров рассчитывал на понимание и сочувствие Сталина — только бы оно попало ему в руки! — мудрый вождь народов, наградивший орденами и медалями счастличиков, убийц Михозлса, должен понять его, откликнуться на его отчаяние и боевую готовность. Кто же мог знать, что 18 февраля 1953 года, за две недели до смерти, Сталину уже не до писем.

*«В коллективе следчасти хорошо знают, как я ненавижу врагов, — хвалился Комаров. — Я был беспощаден с ними, как говорится, вынимал из них гущу, требуя выдать свои вражеские дела и связи.*

*Арестованные буквально грозили передо мной, они боялись меня как огня, боялись больше, чем не только других следственных работников, но и сам министр не вызывал у них того страха, который появлялся, когда допрашивал их я лично... Следователи следчасти, зная, что арестованные больше всего боятся меня, когда приходилось туго и арестованные упорно не хотели разоружаться, всегда прибегали к моей помощи, прося принять участие в допросе».*

Напрасно Комаров умаляет следственные таланты своих сослуживцев: тома дела показали, что ему несколько не уступали в палаческих талантах истязатели Шишков, Сорокин, Лебедев, Жирухин, изобретательнейший садист Рюмин, Рассыпнинский и многие другие.

*«Особенно я ненавижу, — писал Комаров, рассчитывая на понимание Сталина, — и был беспощаден с еврейскими националистами, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов. За мою ненависть к ним не только арестованные, но и бывшие сотрудники МГБ СССР еврейской национальности считали*

меня антисемитом и пытались скомпрометировать перед Абакумовым. Еще в бытность свою на работе в МГБ СССР я докладывал Абакумову о своем политическом недоверии Шварцману, Иткину и Броверману.

Узнав о злодеяниях, совершенных еврейскими националистами, я наполнился еще большей злобой к ним и убедительно прошу Вас, дайте мне возможность со всей присущей мне ненавистью к врагам отомстить им за их злодеяния, за тот вред, который они причинили государству.

Прошу Вас, товарищ Сталин, не откажите мне в своем доверии».

Комаров, и не он один, избегал естественного, обыденного, простого слова: еврей, евреи. В кругу единомышленников годилось другое слово: жид, жида. На конфликтных допросах, в гневе шло в ход хлесткое: «пархатый», «жидовская морда», «блядь жидовская». От подобного не были защищены и женщины: красавица Эмилия Теумин, родившаяся в Берне в 1905 году, заведующая Редакцией дипломатического словаря Госполитиздата, Чайка Островская — сотрудник Издательства литературы на иностранных языках, и даже седовласая семидесятилетняя Лина Штерн — академик, ученый с мировым именем. Еврей, еврейка — кажется, проще не скажешь, так же коротко и емко, так же нормально, как поляк, татарин, русский, грузин, француз. От чего же язык комаровых бастовал и рука задерживалась, а после выводила натужное: «лицо еврейской национальности»?

Я коснулся этого потому, что все спровоцированное дело ЕАК — губительное для самой человеческой природы древо, выросло из того же отравленного семени. Политический ключ к разгадке этого явления как специфически советского — в «учении» Сталина по национальному вопросу: в антинаучном определении Сталиным нации вообще. Оно настольно въелось во все поры, что и в Советском энциклопедическом словаре 1983 года издания, напечатанном спустя 35 лет после создания государства Израиль, евреи все еще не нация, а только «...общее этническое название народностей, исторически восходящих



к гревним евреям; живут в разных странах»<sup>1</sup>. Если ученые мужи, и сегодня так пекущиеся о краткости, лапидарности текстов энциклопедии, вместо слова «нация», коим охотно сопровождаются справки об армянах, эстонцах, башкирах, латышах, об исландцах, которых насчитывается что-то около трехсот тысяч, сопровождают слово «евреи» таким многоречивым, сбивчивым комментарием, то что спрашивать со следователей госбезопасности 1948 года и более позднего времени, неизменно писавших: «лица еврейской национальности»! Так блюлась идейная непорочность, чудилось им, что слово «национальность» не есть признание еврейской нации, а сопровождаемое словом «лицо», оно идеально ложилось в милицейские и следственные протоколы.

Но есть и психологический аспект этой несуразности: когда на уме и на устах совсем другое слово — краткое, оскорбительное, слово-брань, слово-пощечина, — произнести спокойное слово «еврей» кажется уступкой, капитуляцией, трусостью, искажением сути. Этак о н и уравниются вдруг с представителями других народов, других благородных наций. Слово «еврей», как нестерпимо терпкий или горчащий плод, вяжет язык антисемиту.

Комаров не одинок в нагло афишируемом, агрессивном антисемитизме. Он знает, чем можно расположить Сталина. Фамилии Шварцман и Броверман раздражают его, но действия и привычки этих следователей отвечают взглядам самого Комарова, они одного поля ягоды, однако ему хочется, чтобы и их «литературную» работу делали не «лица еврейской национальности» и, уж во всяком случае, чтобы не они командовали им. Юдофобство комаровых цельное, без изъянов.

Вот и полковник Рюмин, сваливший в июле 1951 года самого министра Абакумова, возвысившийся ненадолго до должности заместителя министра МВД СССР, а затем изгнанный из госбезопасности и так же, как Абакумов, арестованный, Рюмин, оказавшийся в тюремной камере Лефортова, писал письма

---

<sup>1</sup> СЭС. М., 1983, с. 422.

Г.М. Маленкову — Сталин уже был мертв — в надежде, что его еще может спасти клинический, клокочущий в нем антисемитизм. Автор содержательной и строго документированной книги об Абакумове «Голгофа» Кирилл Столяров познакомился с этими письмами Рюмина, с этими посланиями «размером в банное полотенце», и вот как охарактеризовал их:

*«Вкратце пересказать их содержание не берусь — они охватывают события от Ветхого Завета до наших дней. Обращаясь к Маленкову, Рюмин поражается людской слепоте вообще и слепоте Маленкова в частности. Господи, да как же умный Георгий Максимилианович, верный ученик и продолжатель дела великого Сталина, все еще не сообразил, что еврею куда опаснее всех атомных и водородных бомб вместе взятых! Они, эти самые еврею, если их вовремя не остановить, заставят все человечество «харкать кровью». Он, Рюмин, грудью встал на ихнем пути, а его, вместо того чтобы честь по чести наградить за проявленную бдительность, гноят в карцере Лефортовской тюрьмы и морят голодом. Не пора ли прозреть?! Ротшильды, рокфеллеры и бенгурионы всех мастей и оттенков самодовольно потирают руки, предвигая скорую победу международного еврейства, а мы даже не чешемся! Он, Рюмин, чист перед партией, ему не в чем оправдываться, а вот Георгию Максимилиановичу стоит призадуматься, не то будет поздно!»<sup>1</sup>*

Оба документа, Комарова и Рюмина, необходимо было привести, чтобы читатель ощутил не только удушающую, отравленную атмосферу, в которой вершилась расправа еще над одним народом, о спасении которого от нацизма Советской страной так часто вспоминала наша пропаганда. Сталин и его клика словно спохватились, ужаснулись просчету, собственной исторической ошибке и теперь искали возможность исправить ее. Лица разных национальностей в следственной службе госбезопасности в результате направленной селекции, за редким исключением, думали и действовали точно так же, как

---

<sup>1</sup> К. Столяров. Голгофа, с. 77.

Комаров и Рюмин. Тщательное, страница за страницей, изучение 42 следственных томов дела ЕАК и многих дополнительных томов обнаружило только два случая «либерализма», сердоболия или робкого сочувствия обвиняемым. Так, следователь Романов в октябре 1955 года вспомнил, что по делу Эмилии Теумин он *«был лишен возможности путем передопроса Фефера и Лозовского убедиться в правдивости их показаний в отношении Теумин»*<sup>1</sup>. Его охватили сомнения: поверим ему, хотя бы потому, что он нарушил табу, наложенное полковником Лихачевым на самую возможность передопроса Фефера, чьи показания стали не только общей схемой, но и содержанием следственного дела — и обвинительного заключения тоже! — ЕАК. Романов был отстранен от следствия, так и не встретившись ни с кем, кроме самой Эмилии Теумин.

Второй случай сложнее и требует расшифровки. В октябре 1955 года на вопросы военюристов, проверявших дело ЕАК, отвечал Николай Михайлович Коняхин. В 1952 году он был переведен из аппарата ЦК КПСС, с должности заместителя заведующего административным отделом ЦК, на место Лихачева, арестованного вместе с Абакумовым: пришла нужда укреплять поредевшие ряды ведущих чиновников КГБ. Он возглавил следствие по возобновленному после перерыва делу ЕАК, вел очные ставки Фефера с Лозовским, Шимелиовича с посаженным к нему в камеру агентом Бутырской тюрьмы, допрашивал, руководил. При позднейшем расследовании дела Коняхин показал: *«Фефер неоднократно просил следователей, чтобы его не наказывали... Я помню, что и Кузьмин мне говорил, что Фефера строго наказывать нельзя. Такой вопрос я лично ставил перед Рюминым [бывшим в то время уже заместителем министра МВД. — А.Б.]. Осуждение Фефера к расстрелу мною, Кузьминым и некоторыми другими следователями было воспринято как-то неодобрительно»*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 191.

<sup>2</sup> Там же, л. 229.

Шишков, Сорокин, Комаров, Лихачев, Рюмин и два десятка других — от рядовых следователей до министра и его заместителей — все были изначально вдохновлены уверенностью в роковой, генетической вине «лиц еврейской национальности», в скрытой, тайной их преступности, в готовности к предательству и прирожденном антипатриотизме. Выкликнув еврейское имя, заглянув в анкету, где, как на грех, у многих из них, родившихся еще в конце прошлого века, в семьях обнаруживались торговцы, приказчики, ремесленники или синагогальные служки, выявляли, что родились-то подследственные где-то в захолустье, в неизвестных местечках и почему-то не в России. Хотя если задуматься на миг, то, конечно, в России, в старой России, до первой мировой войны: на украинских, белорусских, польских, литовских, молдавских и других землях, отпавших затем от России. В который раз читая их сетования на «черту оседлости», на «процентную норму», на слепоту своего непролетарского детства, на косность среды, на давние бундовские и социал-демократические соблазны, отошедшие в невозвратимое прошлое, — пройдя только это поверхностное ознакомление, — следователь, зараженный юдофобством, уже ненавидел и презирал своего подследственного, видел в нем прирожденного врага народа.

С самого государственного верха, от Инстанции, шли порывы того же ледяного ветра, слышались непримиримые голоса — откуда бы у исполнителей из МГБ возникнуть объективному взгляду?

Дело ЕАК формировалось с первых шагов существования комитета, с 1941 года. При создании ЕАК ответственным секретарем его был Шахно Эпштейн — осведомитель госбезопасности. Впоследствии появились и другие сотрудники того же ведомства. Летом 1947-го, когда было уже подготовлено правительственное постановление о ликвидации ЕАК, — прошло два года, как окончилась война, — неожиданно Инстанцией направляется в аппарат комитета, на роль заместителя ответственного секретаря, Григорий Маркович Хейфец — кадровый сотрудник госбезопасности. Он, отныне заме-

стител ь Феф ера, прибр ал к рукам всю переписку комит ета, а главн ое — многочисленн ые пись ма и цел ые списки тех, кого скоро обвинят в измене, в том чис ле списки пожела вших поехать добровольца ми в Палестину, бороться против британских империалистов и арабов. «Я познакомился с Феф ером в 1943 году в Сан-Франциско (США), когда работал там в качестве вице-консула Генерального консульства СССР, — показал Хейфец на допросе 24.XI.1951 года, — а Феф ер и Михозлс приезжали тогда в США для выступлений с докладами о Советском Союзе». Выдворенный из США, Хейфец спустя несколько лет возникает рядом с Феф ером в качестве его заместителя. На первый взгляд странно: две такие мощные силы, как Инстанция и МГБ СССР, заинтересованы в посылке своего доверенного сотрудника на службу в подготавливаемое к ликвидации учреждение! «На работу в ЕАК, — продолжал Хейфец, — я был направлен по указанию бывшего заместителя министра, начальника 1-го Главного управления МГБ СССР — Федотова П.В. Незадолго до моего прихода на работу в ЕАК был решен вопрос о закрытии комитета и все было подготовлено для его ликвидации. Затем было сообщено, что ЕАК будет сохранен и что направление его деятельности будет определено решением Правительства. О предстоящем решении Правительства мне было известно также из бесед в Отделе внешней политики ЦК партии, через которые я оформлялся на работу в ЕАК, и с бывшим замминистра МГБ»<sup>1</sup>. Теперь уже было не до ликвидации ЕАК, началась интенсивная разработка будущего судебного дела. ЕАК перевели из Совинформбюро под крышу отдела внешней политики ЦК, в МГБ еще в 1946 году пришел вместо Меркулова честолубивый Абакумов, презиравший всех «беспачпортных бродяг в человечестве», кроме своего личного шута Павлуши Закина. «О всех посетителях, беседах, впечатлениях и письмах я регулярно сообщал (и передавал их) представителю МГБ майору Марчукову (2-е Управление МГБ), с ко-

---

<sup>1</sup> Допросы свидетелей, т. 5, лл. 41—42.

торым я был связан, а также выполнял его поручения». «О всех проявлениях националистического характера, — уточнял Хейфец, — я регулярно информировал, передавал документы, записи, стенограммы майору Марчукову»<sup>1</sup>. Одновременно велась и негласная проверка-слежка специальной бригадой, созданной по указанию ЦК и, как стало вскоре известно, «признавшей работу ЕАК вредной, националистической». Но до поры никто в президиуме ЕАК, кроме Фефера и Хейфеца, не знал ни о проверке, ни о множестве папок с копиями деловых — и самых невинных! — бумаг, протоколов, публикаций, рукописных копий статей и очерков, скапливавшихся на Лубянке.

Туда же легли проникнутые ненавистью машинописные и рукописные доносы, адресованные Молотову и Щербакову, многостраничные докладные записки некоего Кондакова Николая Ивановича, редактора, изгнанного в мае 1944 года из Совинформбюро и исключенного ЦК ВКП(б) из партии «за хозяйственные злоупотребления». Осенью 1951 года МГБ вызвало Кондакова как свидетеля обвинения; из папок извлекли не десятки — сотни страниц старых и новых кляуз, доносов, раскрытых анонимок Кондакова на многих сотрудников и начальствующих лиц Совинформбюро, но главным образом против евреев, против ЕАК и лично Лозовского, заместителя Щербакова по Совинформбюро. Злоба слепила Кондакова, отнимала разум, он словно не понимал, что в ЕАК, где подавляющее число бумаг, писем, обращений, публицистических материалов писалось по-еврейски, сотрудниками, естественно, должны были быть евреи. Истребительная ненависть к евреям притупила в нем все нормальные человеческие чувства. Уже изгнанный из Совинформбюро, назначенный старшим редактором издательства Академии педагогических наук РСФСР, Кондаков продолжал добывать копии статей и очерков, написанных для «Эйникайт» и для зарубежной печати еврейскими писателями, копии бухгалтерских

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 46, 49.

ведомостей и т.д. и засыпал Щербакова маниакальными писаниями. Одна из фундаментальных его «работ» — 27-страничное послание убористой, в один интервал печати, под названием «О националистической линии в работе Еврейского комитета». Уровень мысли и доказательств в писаниях Кондакова поразительно напоминает все то, с чем мы столкнемся, знакомясь с обвинительными выпадами и самой логикой следственных обвинений по делу ЕАК. Вот, например, какие строки из статей, обращенных и к прошлому своего народа, и более всего к родным землям Белоруссии или Украины, статей, воспевающих эти края, объявляются Кондаковым, а спустя время и следователями МГБ порождением еврейского буржуазного национализма: *«Белоруссия — святая святых для каждого еврея, где бы он ни находился»*. Или: *«Луцк и Ровно тесно связаны с историей евреев в Восточной Европе. Еврейская община Луцка является старейшей на Волыни»*. Или: *«Мозырь принадлежал к старейшим и крупнейшим еврейским поселениям Белоруссии. Сначала еврейское население появилось в самом Мозыре, после этого евреи расселились по всему Полесью»*<sup>1</sup>.

На основании десятков подобных цитат, сокровенный смысл которых — во взволнованном, поэтическом воспоминании о прошлом, о давней, доброй укорененности пришедших сюда века назад гонимых еврейских общин, о чувстве благодарности и братства, кондаковы, извратив все эти здоровые основы, обвиняют авторов ЕАК в духовном захватничестве, экспансии, в злобном национализме.

Не будем винить в элементарном недомыслии Кондакова — ведь на таком же точно основании огромный следственный аппарат МГБ (свыше тридцати следователей!) более трех лет жевал и пережевывал, разрабатывал, силился вдохнуть жизнь в тот же мертворожденный «национализм» ЕАК, так и не обнаружив ни одного реального преступления. Еще не арестованы тетки Светланы Аллилуевой. Еще не чует беды, празднуя выход своей книги,

---

<sup>1</sup> Допросы свидетелей, т. 5, л. 49.

разоблачающей германский империализм, Гольдштейн. Простодушно радуясь, отмечает свой литературный юбилей Лев Квитко, взволнованный ласковыми, почтительными словами в свой адрес Корнея Чуковского, Маршака, Максима Рыльского и даже Безыменского, который скоро предаст его и всю еврейскую литературу. А в Киеве из дома № 68 по улице Ленина особысты увезут Давида Гофштейна, лирического поэта, быть может, лучшего поэта-лирика после Бялика, старейшину поэтического цеха. Ему 58 лет, но долгая жизнь уже не суждена, хотя он словно рожден и скроен для нее, долгой-долгой творческой жизни. «Творцы» дела ЕАК в Москве несколько задержались с его арестом, который планировался раньше, в марте 1948 года, сразу же после вечера памяти Михозлса. Постановление о его аресте выдано еще 26 марта 1948 года, а ордер на арест подписан и санкционирован государственным советником юстиции 2-го класса Руденко только 16 сентября того же года. Гофштейна «пасли» в Киеве, наблюдая со стороны полгода, но вероятнее всего, много больше, затем около двух месяцев лениво допрашивали в Киеве же о разном: о письме известных лингвистов Марра, Ольденбурга и других, просивших Гофштейна помочь им через писательскую организацию и еврейский ученый кабинет при АН УССР в получении литературы на иврите, без чего была затруднена научно-исследовательская работа; о множестве других писем к нему; о выдаче киевской общине 40 еврейских молитвенников из книгохранилища АН УССР, находившегося в Братском монастыре; о гражданской войне на Украине, о чехарде властей в те годы; о возникавших тогда журналах и альманахах; о детстве и родителях; о преподавании им физики и математики...

И ни слова о том, о чем станут допытываться в Москве, вернее, о том, что начнет выколачивать из него подполковник Лебедев, после того как по приказу Абакумова Гофштейна спецконвоем этапируют во внутреннюю тюрьму МГБ СССР и с 22 ноября 1948 года откроется его горестная, ведущая прямоком к гибели дорога допросов.



Грузноватый, стареющий, внешне никак не напоминающий поэта, он любил в предвечерние часы прогуливаться по улице Ленина, бывшей Фундуклеевской, от дома № 68, где давно уже висит мемориальная, ему посвященная доска, до здания оперы и обратно. После войны, вернувшись в Киев, Давид Гофштейн, поседевший, сдавший за трудные годы, не изменил привычке, возобновил свои прогулки, избегая спускаться по Фундуклеевской вниз, к разрушенному Крещатику.

На облюбованные им два ближних к дому квартала возвращалась гармония: лукавый и мудрый, он всю жизнь стремился к ней как к некоему высшему закону жизни, хотя внешне мог показаться самоуверенным прагматиком, суетным, всю жизнь чем-то недовольным старым евреем. Избегая неприятного ему, скучного человека, он то бежал вперед, то миновав его, утихомиривался, шел не спеша, загребал подошвами на асфальт золотые листья каштанов, раздумывая о чем-то, жестикулируя кистями пухлых рук, споря и не соглашаясь с кем-то.

Не все его стихи переведены на русский и украинский, но то, что мне привелось прочитать в лучших переводах, что подарил нам изучивший еврейский язык Павло Тычина, — поэзия высокого уровня мысли и чувства. Он видел мир, исколесил Европу, не гнался за модой и не глотал расхваленных книжных новинок, но те немногие сотни томов, что составляют сокровищницу человечества, начиная с Ветхого Завета, пропустил через себя, обретя навсегда не цитаты, а познание и мудрость. В Киеве не было равного ему знатока еврейской старины, богатства иврита; когда киевский ГОСЕТ ставил пьесы на исторические темы — «Бар Кохба», «Кол Нидрей» или заново воплощенную Самуилом Галкиным «Суламифь», — Гофштейн становился даровым консультантом, привередливым и беспощадным к национальной безграмотности.

Киевские допросы, судя по протоколам, протекали в спокойной, я бы даже сказал, достойной атмосфере, будто Гофштейн все еще выступает в роли

консультанта по проблемам еврейской истории и религии, не испытывая особой потребности в покаянии, но и не упрямясь, когда приходилось виниться: арест есть арест! Да, он передал 40 молитвенников религиозной общине, это небольшая часть экземпляров, которые пылятся в подвале Братского монастыря. Верующие без молитвенников, их и прежде не хватало, а после немецкой оккупации поди найди. Спокойствия на душе не было: ведь зачем-то его взяли, что-то грядет; арест бессмысленный, противоправный, ему никак не смогут предъявить обвинение, надо терпеть.

Сразу понял, что за ним уже давно велось наблюдение; следователь знает почти все о его жизни и встречах с людьми; его почта, особенно переписка с заграничными корреспондентами, изучена. Можно надеть столь искусную в его исполнении маску местечкового простака, придурка, еврейского Швейка, но в Киеве нужды в этом не было. Позже, в Москве, он прибежит и к этому средству самозащиты: когда его стали бить абакумовским «смертным боем», он твердо решил — пусть умничают другие, кому не лень, а его пусть сочтут простодушным дурачком.

Да, в Киеве в этом еще не было нужды: почему не подтвердить следователю, что он ратовал за древнееврейский язык, имея в виду нужды науки, а не начальную школу, не детей; почему не повиниться, что ему как члену ВКП(б) лучше было бы спросить в райкоме, можно ли опекать еврейскую общину, снисходя к ее послевоенной нищете, дарить ей десятки экземпляров молитвенников, даже если они зацвели плесенью в монастырском подвале; может быть, он не прав, но ему показалось, что в годы войны правительство немного смягчилось к церкви, конечно, прежде всего к церкви христианской, но ведь религии не так враждебны друг другу, как живые люди, может, полегчает и синагоге?.. Академики Ольденбург и Марр просили помощи в приобретении книг на иврите потому, что доверяют ему и ученому еврейскому кабинету при АН УССР, где хозяйева Спивак и он. Он, Гофштейн, как член парии, писал в украинский ЦК КП(б)У и

в органы, хлопотал за украинского литературоведа Шаблювского, жена волновалась: не лезь не в свое дело, но как было не лезть, если Шаблювский честнейший человек?! Случилась ошибка, арестовали безвинного: когда крутом так много врагов народа, может случиться и ошибка... Когда на Украину пришла наконец советская власть, во многих местечках *«для еврейских детей, — говорил Гофштейн, — открыли школы с преподаванием на еврейском языке»*, но прошло не так много лет, и эти школы стали русскими и украинскими; жизнь есть жизнь, ничего с этим не поделаешь, но *«я, старый пень, печалился, что закрытие еврейских школ будет вести к ассимиляции... Мысль о крахе еврейской культуры, — продолжал Гофштейн в Киеве с эпическими спокойствием, — и о том, что мы, еврейские писатели, вообще не нужны, мною овладела еще больше после приезда [возвращения. — А.Б.] в Киев в 1944 году»*. Истрадавшаяся земля и народ — эвакуированные еще не возвратились, а тем, кто лежал во рвах и в ямах, уже не нужен ни идиш, ни иврит... Были, были ошибки, мы всегда спешим, не умеем без ошибок, вы правы: не надо ходить на службу в синагогу даже в Судный День, даже если этого требует твоя работа, новое стихотворение или поэма; не надо принимать из жалких благотворительных посылок полотенца, рубашки, носки, можно чаще стирать несколько старых рубашек; в Киеве можно в сандалетах проходить без носков от мая до октября. *«Этот свой поступок я осуждаю, — говорил он на допросе в Киеве. — Считаю, что получение указанных выше вещей из посылок от благотворителей из США является позором для советского писателя... Я вижу, что вы все обо мне знаете, и не собираюсь отпираться...»*

В ноябре 1949 года Гофштейн в последний раз проделал путь из Киева в Москву, поглядывая из-за решетки вагона для заключенных на украинскую землю, которую воспел как поэт и благословлял, как отчий дом — еще один отчий дом на дорогах неприкаянного народа.

С 22 ноября жизнь поменялась — круто и беспощадно.

У следователя Лебедева, одного из самых свирепых истязателей, который ввиду особой важности следственной роли Гофштейна вел его дело, вскорости передав его Хребтатому, Рюмину, Стругову, Кузьмину, Жирухину, Ионову и другим, под допросы и побои, — у Лебедева к приезду Гофштейна из Киева уже заготовлены протоколы и все нужные ответы на вопросы — раскрытие преступлений, о которых «провинциал» Давид Гофштейн даже не подозревал. Уже на процессе в мае 1952 года Гофштейн скажет: *«Вначале я думал, что мой долг — это противостоять. Я говорил себе, что умру, а протоколов этих не подпишу. Но потом я увидел, что сам факт, что я писал свои произведения на еврейском языке, уже является с моей стороны сопротивлением ассимиляции...»*<sup>1</sup> Так в публичном слушании дела родился еврейский Швейк или, если угодно, советский Гершеле Острополер!

Унижение паче гордости! Все подсудимые к этому времени усвоили официальную государственную позицию обвинения и суда: неприятие ассимиляции как великого блага и торжества ленинско-сталинской национальной политики есть грех непростительный, может быть, даже и смертельный!...

*«— Под показаниями о преступлениях имеется ваша подпись, — заметил Гофштейну председательствующий в суде генерал-лейтенант Чепцов.*

*— Я ничего не соображал тогда... На следствии у меня было такое состояние, что я не понимал, что подписываю, что делаю... Теперь я здоров и прошел школу МГБ, я все теперь понимаю и осознаю, и память у меня теперь здоровее, чем тогда...»*<sup>2</sup>

Но страх до конца не преодолен, пройдет несколько часов судебного допроса, и Гофштейн вернется к позиции покорности.

*«Если идет процесс ассимиляции, — скажет он, — кто же будет обучаться языку, который*

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, л. 49.

<sup>2</sup> Там же, л. 9.

нужен только в местечке, да и там не годится, а если мы продолжаем отстаивать право этого языка, то поэзия наша и деятельность являются националистическими...»<sup>1</sup>

Председательствующий не вполне удовлетворен ответом Гофштейна, может быть, его не устраивает хитрая интонация, не исключая сомнения и неуверенности.

*«Вы выступали с лекциями о своей поездке по Палестине и сами признали... — Чепцов находит заложенную страницу следственного тома: — Что “при этом в осторожной форме призывал к сохранению еврейской культуры и языка в Советском Союзе”.*

Да, был грех. Остается, потупясь, молча развести руками.

Следователи в Киеве не искали юридических норм обвинения Гофштейна, в протоколах я не нашел и слова такого — «преступление», нет в них и аббревиатуры ЕАК. О комитете ни слова, о сборе и передаче за океан «шпионских материалов» — и подавно. Но следствие в Москве уже вооружено набором сведений о тягчайших преступлениях против страны и советского народа и заметной роли самого Гофштейна в этих преступлениях. Неважно, что Давид Гофштейн существовал вдалеке от ЕАК, от его президиума, что он давно литературный противник Фефера, которому когда-то помог выпустить первую книгу стихов.

Гофштейна бьют без пощады. Бьют и унижают так, чтобы навсегда ушло чувство человеческого достоинства, чтобы пробудить брезгливость к самой жизни, к собственной плоти и крови. Бьют до помутнения разума, когда человек перестает отдавать себе отчет в словах и поступках. Не сломив в первые две недели пыток, бросают в карцер, описание которого оставил для нас, как это ни парадоксально, сам министр, точнее, бывший министр Абакумов. В письме из Лефортовской тюрьмы от 18 апреля 1952 года на имя «Товарищей Берия и Маленкова» он жаловался: *«На всех допросах стоит сплошной мат, издева-*

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 28—29.

тельствва, оскорбления и прочие зверские выходки. Бросали меня со стула на пол... Ночью 16 марта меня схватили и привели в так называемый карцер, а на деле, как потом оказалось, это была холодильная камера с трубопроводной установкой, без окон, совершенно пустая, размером 2 метра. В этом страшилище, без воздуха, без питания (давали кусок хлеба и две кружки воды в день), я провел восемь суток. Установка включалась, холод все время усиливался. Я много раз... впадал в беспамятство. Такого зверства я никогда не видел и о наличии в Лефортове таких холодильников не знал, был обманут... Этот каменный мешок может дать смерть, увечье и страшный недуг. 23 марта это чуть не кончилось смертью — меня чудом отходили...»<sup>1</sup>

Если тренированному сталинскому гвардейцу не выдержать было дольше недели в «страшилище», в холодильнике, в каменном мешке, то больному, измотанному побоями поэту хватило четырех дней, чтобы впасть в беспамятство. И случилось черное «чудо»: как только Гофштейн стал приходить в себя, он обнаружил, что следователям известно о нем и о любом еврейском писателе, интеллигенте, кажется, больше, чем они сами знают о себе; им известны десятки полузабытых фамилий, даты «преступных сговоров», планы преступлений, масса неслучившегося, множество никогда не бывших, но кем-то умышленно названных предательств.

Вспору было сойти с ума. Узнику, забитому и ошеломленному, более трех месяцев не знающему, что происходит за стенами тюрьмы, не догадаться было об авторах всего «сценария» будущего уголовного дела и о самом деле тоже, пока оно не начало вырисовываться на допросах.

Вспомним, что в Москве на исходе 1948 года арестовали в один день Фефера и Зускина (24.XII). Шпионя за ЕАК на протяжении последних лет, Лубянка знала, как мало связан с комитетом Зускин, принявший на себя после убийства Михоэlsa обязанности художественного руководителя ГОСЕТа. «Я

---

<sup>1</sup> К. Столяров. Голгофа, с. 36.

даже не знал, — признался он на суде, — что в 1946 году ЕАК отошел в ведение ЦК. Я жил совсем другой жизнью... Меня арестовали в больнице, где я находился на лечении, в состоянии глубокого лечебного сна. Арестован я был во сне и только утром, проснувшись, увидел, что нахожусь в камере, и узнал, что я арестован... На допросе мне говорят, что я государственный преступник... мне заявляют, что следствию все известно... начинают читать чьи-то показания и требуют подтверждения»<sup>1</sup>.

Ему зачитывают «чьи-то» показания против него, но особенно против Михозлса, обличающие мертвого Михозлса, требуют подтверждения, и ему, естественно, кажется, что прошли массовые аресты и за решеткой уже все известные еврейские писатели и общественные деятели.

Но задумаемся: никто из членов президиума ЕАК, кроме самого Зускина и Фефера, еще не арестован, 13 января 1949 года возьмут Шимелиовича и Юзефовича, ко всем остальным придут с понатыми в последней декаде января. Лозовский еще с партийным билетом, ему только предстоит 20 января вызов в ЦК к Шкирятову с объявлением об исключении из членов ЦК и из партии. Мнимые преступники Гольдштейн и Гринберг, год назад в ы л о в л е н н ы е в людском московском море, уже сослужили свою службу, для них, как мы знаем, были придуманы преступления, никак не связанные с Зускиным.

Был ли ошибкой поспешный арест Зускина, словно бы он, наравне с Фефером, из числа главных действующих лиц ЕАК?

Арест Зускина, а еще раньше Гофштейна в Киве — шаги продуманные и дальновидные. Ведь накануне ареста Зускина и Фефера последний среди дня появился в еврейском театре вместе с Абакумовым. Запершись в кабинете Михозлса, они рылись в его бумагах. «22 или 23 декабря (1948 год) в театр вдруг приехал Фефер, — вспоминает в книге «Столь долгое возвращение...» Эстер Маркиш, вдова поэта. — Он был не один — с ним вошел в театр

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, лл. 155, 156.

*самый страшный после Сталина человек в России: министр государственной безопасности Абакумов... Закрывшись в комнате, Фефер и Абакумов что-то делали там, что-то искали, перебирали бумаги и документы. Что ж, министр госбезопасности не обязан был читать по-еврейски. И неважно, что искал и что делал Абакумов в кабинете Михозлса, — важно, что делал он это вместе с Ициком Фефером»<sup>1</sup>.*

Если Абакумов и искал что-то в кабинете убитого им год назад Михозлса, снизойдя до личного обыска, он ничего не нашел. В следственных томах дела ЕАК перечислены и пронумерованы все, даже третьесортные бумажки, найденные у обвиняемых, в том числе письма к Михозлсу, изъятые у его вдовы при запоздалом обыске 1949 года, когда деятели советского театра все еще оплакивали великого художника, а на Лубянке он числился — числился еще и до убийства — главарем националистической антисоветской банды; среди всех изъятых бумаг нет ни одной, которая изобличала бы Михозлса не только в преступлении, но и в предосудительном поступке.

Приход Абакумова в театр — шаг зловещий и демонстративный. Арест Зускина на следующий после этого день должен был восприниматься как следствие обыска в здании театра. Логично и объяснимо то, что тогда же был арестован и Фефер. Его ответственность за все «преступления» ЕАК — главная, ведь после гибели Михозлса он стал руководителем комитета. Его появление в театре при столь вельможном конвоире казалось поступком вынужденным, а арест на следующий день Зускина — подтверждением преступных связей, объединивших круговой порукой всех еврейских заговорщиков, от впечатлительного, неврастеничного Вениамина Зускина до несгибаемого большевика, «первого еврейского пролетарского поэта», как сказал сам о себе в судебном заседании Фефер.

Кто-то из тех, кто знал подноготную деятельности ЕАК, знал людей из комитета и всю еврейскую интеллигенцию, во всяком случае ее наиболее популяр-

---

<sup>1</sup> Э. Маркиш. Столь долгое возвращение... Тель-Авив, 1989, с. 180.



ную часть, их прошлое, характеры и силу духа, помог Лубянке точно разыграть дебют этой «шахматной партии». Предполагалось провести ее быстро, энергично, без откладываний. Мудрый, тонкий, а потому так теряющийся от хамства и коварства Гофштейн, Зускин — весь как открытый, больной, натянутый до предела нерв, и, наконец, Фефер, чья фамилия будет вынесена на обложку 42 следственных и всех других судебных томов дела рядом с фамилией старого большевика, недавнего заместителя министра иностранных дел Лозовского.

Выйдя из двухнедельного сна прямо в кошмар тюремной камеры и допросов, Зускин не сразу понял, чьи ему зачитывают признания, от которых отныне не позволят отречься и ему. Но Гофштейн, сломленный «забойщиками» перед Рождеством 1948 года, готовый признаться в любых злодеяниях, навсегда запомнил, что ошеломившие его признания в преступлениях исходили от раскаявшегося Фефера. Всякий раз Фефер говорил и писал не «они», а «мы», не умаляя личной вины, правда избретательно отдавая первенство в злоумышлениях то Лозовскому, то Михоэлсу. Но и себя он не щадил, его признания потрясли Гофштейна: если ЕАК таков и так глубока и ужасна бездна преступлений комитета, то как же уцелеть ему самому? Он не преступник, не совершал враждебных акций, но разве нет преступлений неосознанных?

Саморазоблачение и раскаяние Фефера полные. Он бескомпромиссно судит себя и готов помочь суду державному. Хладнокровно, истово, пункт за пунктом он открывает тайны ЕАК, полноту долгой, враждебной, злобной деятельности комитета. Он пытается раскрыть логику перерождения людей, которым так много давала и прощала «родная советская власть». Он ответит на все вопросы, выдержит любые очные ставки, но прежде всего даст собственноручные показания, оценит поступки всех членов президиума ЕАК, облегчит и им дорогу в храм покаяния. У него исключительная память, как будто он всю жизнь готовился к этому роковому, но звездному часу, он помнит и давнее, очень давнее... еще времен гражданской войны, а также каждое слово, сказанное вчера

или позавчера. Помнит подробности своего знакомства с Бергельсоном, Гофштейном, с молодым Квитко в Киеве 1919 года, все их колебания, идейное, политическое с м я т е н и е при смене властей, любовью малодушный жест. *«Все трое, — вспоминал он, к удовольствию следователей, — были уже тогда антисоветски настроены. Гофштейн писал о евреях, что мы безгомная пыль... Квитко на все лады ругал русских... В 1922 году мне удастся переехать в Киев, и здесь я снова связываюсь с Гофштейном, он помогает мне издать первую книгу стихов, благодаря ему я вошел в еврейскую писательскую среду, тем более я обязан говорить правду о его буржуазном национализме...»*

Движимый раскаянием Фефер делает беглый критический обзор всей еврейской культуры страны, обвинив в национализме более ста человек. Гофштейну зачитывают только те абзацы, которые прямо относятся к нему как к «матерому националисту», апологету Палестины и Израиля, скатившемуся до шпионажа. И Гофштейн очень долго не знает, доброхотные ли эти показания или они также добыты пытками. Подследственному, приведенному из камеры, этого не отгадать.

В протоколе допроса бывшего следователя по делу ЕАК Кузьмина Б.Н. комиссией военной прокуратуры я нашел примечательное свидетельство: *«Мне Лихачев предложил допросить Фефера по его биографическим данным... При этом предупредил меня, чтобы я в процессе допросов Фефера сущ е с т в а д е л а, т.е. обвинений Фефера, пока не касался... Фефер допрашивался Лихачевым ежедневно с момента его ареста, но протоколов не составлялось, потом появился протокол допроса от 11 января 1949 года... Все материалы, касающиеся дела Фефера, хранились в сейфе Лихачева»<sup>1</sup>.*

День за днем шли с о б е с е д о в а н и я Лихачева и Фефера, уточнялись подробности будущего обвинения, его «партитура». Опасаясь побоев, Фефер поведал следствию все, что хранила память и подска-

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 142.

зывало недоброе воображение. Вспоминались подробности, расписывались роли для будущих «исполнителей» трагического спектакля.

Эти усилия Ицика Фефера Лубянка оценила. *«В отличие от других арестованных, — показал А.А. Романов, следователь, отстраненный от этого дела после его попытки добиться важных очных ставок для обвиняемой Теумин, — Фефер содержался большинство времени во внутренней тюрьме, тогда как другие арестованные по делу почти все время содержались в Лефортовской тюрьме с более жестким режимом. Со слов сослуживцев мне известно, что Фефер получал с воли продуктовые передачи и также ему разрешалась покупка продуктов в тюремном ларьке в неустановленные дни... На очной ставке между Фефером и Беленьким<sup>1</sup>, проводимой старшим следователем Кузьминым, мне бросилась в глаза та легкость и заранее продуманность, с которой Фефер давал показания о себе и о Беленьком»<sup>2</sup>.*

Популярность Фефера у следователей исключительная: для каждого из них его показания — ключ к раскрытию «преступлений». Предъявленное арестованному свидетельство Фефера — всегда начало «разоблачения», орудие борьбы с заперательством. В конце мая 1953 года, после того как смерть Сталина позволила прекратить дело «врачей-убийц», а Берия торопливо убирал первых лиц бывшего МГБ, чтобы скрыть и свои преступления, Лихачеву, подручному Абакумова, было предъявлено письмо замордованного и умершего в тюрьме Гринберга от 19 апреля 1949 года, адресованное тогда Лихачеву.

*«—...Четыре месяца тому назад вы официально объявили мне, что дело мое прекращается и что я должен быть скоро свободным, но, к сожалению, вышло не так. 16 месяцев я в заключении, а сил все меньше и меньше...*

*— Это бред сумасшедшего, — парировал Лихачев. — Арестованные показывали, что ЕАК превра-*

---

<sup>1</sup> Беленький, Моисей Соломонович — директор еврейской школы-студии при ГОСЕТе.

<sup>2</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 190.

тился в шпионско-националистический центр против СССР.

— А вы подвергали эти показания необходимой проверке?

— У меня лично не было сомнений, чтобы проверять эти показания, — ответил Лихачев. — Я также не слышал, чтобы кто-либо брал под сомнение показания Фефера...»

Если кто-либо из рядовых следователей и принимал на веру всякую строку показаний Фефера, то Лихачев не хуже Абакумова знал, что они лживы и продиктованы малодушием осведомителя, по собственной вине угодившего в капкан. Не только знал, но и заранее готовил своеобразное «алиби» Феферу. Доставленный из Киева Гофштейн, мало что знавший о деятельности ЕАК, в состоянии, как он выразился на суде, «сумашествия», 5 января 1949 года подписал протокол допроса, любая строка которого была, в сущности, продиктована Фефером. А куда более ранние показания Фефера были оформлены только 11 января, спустя неделю после выбитой у Гофштейна подписи под протоколом. Протокол допроса Фефера от 11 января 1949 года стал проклятием для всех оклеветанных по делу ЕАК и «карманной энциклопедией» каждого из следователей.

Дело делалось топорно, грубо, но достаточно прочно, по меркам внеправового следствия. Фефер сначала бойко рассказывает о своей заграничной родне, о греховном вступлении в Бунд — что поделаешь, слепота жизни в маленькой Шполе... — о том, что и на нем некогда лежал «отпечаток провинциальной затхлости и национальной ограниченности», что на заре туманной юности и он голосовал за кандидатов-бундовцев при выборах в Учредительное собрание, но тяжких грехов перед советской властью на нем все-таки нет...

Тут-то хитреца-лжеца «припирают к стенке», разоблачают — и с чьей помощью?!

С помощью Давида Гофштейна! Фефер будто не подозревает, что давний покровитель его поэтической музы тоже арестован и находится в Москве, что он «разоружился» и дает правдивые показания... В протокол допроса Фефера от 11 января заносят слова Гоф-

штейна, добытые карцером и избиениями: «В беседах со мной Фефер утверждал, что Советская власть не разрешила еврейской проблемы, что евреи, по существу, ничего для себя не получили и что необходимо поэтому бороться с национальной политикой советского правительства, направленной на ассимиляцию евреев». И Фефер «сдается», покорно разыгрывая свою роль по сценарию. «Я вижу, — заявляет он, — что гальнейшее за пиратство теперь бессмысленно». Фраза эта, повторяющаяся во многих признательных, так называемых «обобщенных» протоколах, изготовленных для Инстанции, должна как бы подтверждать мастерство следователей, не оставляющих малейшего шанса арестованным.

Во время процесса по делу ЕАК Лозовский, наиболее проникательный и резкий в самозащите, сказал:

«— Я считаю, что показания Фефера, с которых начинается все это дело [показания от 11.I.1949 года. — А.Б.], — сплошная фантазия.

— Дело начинается с показаний Гофштейна!» — мгновенно парирует Фефер, невольно разоблачая себя, открывая, зачем понадобился предварительный арест Гофштейна в Киеве.

Лозовский упрямым, он стоит на своем.

«— Из показаний Фефера, данных им ранее, вытекает, что они обещали американцам бороться за Крым. Кто? Эти два мушкетера — Фефер и Михозлс, будут бороться за Крым, против Советской власти? Это опять клеветническая беллетристика. А кто ее сочинил? Сам же Фефер, и это легло в основу всего процесса, это же явилось исходным пунктом всех обвинений, в том числе и в измене. А сегодня из показаний Фефера получается другое. И я, например, не могу нести ответственность за все, что Фефер наплел, а теперь изменяет...

ЧЕПЦОВ: — Подсудимый Гофштейн, вы хотите сказать по поводу Крыма?

ГОФШТЕЙН: — Я был арестован в Киеве. Ни слова при моих допросах о Крыме не было... О Крыме

со мной впервые заговорил следователь Лебедев в Москве.

**ЧЕПЦОВ:** — Это было 5 января 1949 года. А Фефер дал об этом показания 11 января, и поэтому он утверждает, что будто бы вы были первоисточником всех показаний о Крыме.

**ГОФШТЕЙН:** — Я даже не знал, что была подана записка о Крыме в правительство».

Стремление следствия внушить арестованным, что разоблачительные показания давались не Фефером, а кем-то другим, не раз обнаруживается в материалах, однако и тогда, в начале следствия, невозможно было скрыть тот факт, что допрос Фефера от 11 января лег в основу всего дела, сформировал обвинительное заключение, сулил Абакумову победное и скорое завершение дела. В том, что следствие опасно затянулось и длилось дольше трех лет, Фефер был неповинен.

Ему многое виделось по-другому: откуда было доносчику знать о ежедневном интересе к делу Инстанции на Старой площади и лично Сталина?

## VI

Никто из писавших о минском убийстве 1948 года не задавался вопросом: зачем был убит Михозэлс?

Ответить было невозможно до изучения следственного дела и стенограмм судебных заседаний, до показаний сотрудников госбезопасности разного ранга, попавших за решетку двумя «партиями», сначала с Абакумовым в июле 1951 года, а в году 1953-м — с палачом Рюминым.

Судьба Михозэлса была предрешена, писал я несколько лет назад в своих «Записках баловня судьбы». Уничтоженный в Минске, он был объявлен жертвой несчастного случая и долго оставался для страны, для печати «великим актером и гражданином». От того, как поведется расследование дела ЕАК, зависело, назвать ли его буржуазным националистом, агентом «Джойнта» или, наоборот, патриотом, жертвой своих коллег, безжалостно устранивших лидера, который вдруг стал мешать... в овладении Крымом. Можно идти напролом, не опасаясь неудобных воп-

росов, действовать примитивно, грубо. Зачем-то ведь и Фефер оказался в Минске именно в тот день, когда там был убит Михозэлс: если бы понадобилось объявить Михозэлса патриотом и святым, Фефер сошел бы за главаря «взбунтовавшихся» махровых националистов, не остановившихся перед убийством. В конце концов сценарий для убийц, награжденных орденами за «ликвидацию» великого актера, писали не Конан Дойль и не Сименон.

Убийство Михозэлса могло само по себе принести минуту радости и Сталину. В лице Соломона Михозэлса из глубин ненавистного Сталину народа возник сильный лидер; не политический лидер, но слишком уж заметный человек — мудрый, чтимый интеллигенцией человек, которому рукоплескала Россия, а затем и Америка. В силу своего интеллекта и огромного таланта Михозэлс был самодостаточной, масштабной личностью: в самом его дыхании, в шекспировских монологах, в восторженных толках о нем — решительно во всем проглядывали неподчинение, дерзновение, свободный полет мысли, неприятие стандартов и стереотипов времени. Личности, подобные Чайнову, Мейерхольду, Николаю Вавилову или Мандельштаму, с каждым годом все менее и менее согласовывались с общественными условиями жизни. Их нравственная, интеллектуальная самостоятельность бросала вызов системе в целом и всесильной и всепалачившей ц и т а т е в частности.

А Михозэлс был еще как бы физическим и духовным воплощением еврейства, кажущегося тем чернее и нетерпимее, чем неистребимее твоя к нему ненависть. Он был загадочной местечковой вариацией прекрасного мужского начала, мужской красоты — то надевавшей вдруг маску безобразия, то становясь воплощением полной таинственной энергии мужской силы, совершенством несовершенных, резких форм. Личностью, покоряющей интеллектом, мудростью, ироничностью и добротой. Рядом с сытым, холемым евреем-вельможей Кагановичем еврей-актер как раз и был воплощением высокой творческой энергии народа, досаждавшего Сталину самим своим существованием. А сколько злобы и зависти к любимцу толпы, выдающемуся художнику сцены должен был ис-

пытывать Берия — охотник, выслеживающий на улицах Москвы женщин, жалкий, охорашивающийся насильник! Этот же уродливый актер чтим даже женщинами, их глаза взволнованно обращены к нему, в них свет преклонения и обожания.

Он не мог, просто не должен больше существовать!

Но только ли все это стало причиной убийства в Минске? Погибли Чайнов и Вавилов, Мандельштам и Бабель, Мейерхольд и Курбас, Ключев и Пильняк, так обозливший Сталина повестью об уничтожении Фрунзе. Погибли миллионы, а среди них сотни и тысячи выдающихся личностей. Их методически перемалывала Система, уничтожая в тюрьмах и лагерях. Но чтобы гоняться за каждым тайно, ночами, погрязая еще и в трусливой лжи? Это сюжетные схемы для убийства врагов Сталина, ускользнувших за рубеж. В собственном доме, в великом стане победителей изменника накажет суд, трибунал, Особое совещание. Дома, в местах, отведенных для расстрела, расплачиваются за убийства ведрами спирта на «бригаду», заботой о жилье для палачей, комнатой, освобожденной от вчерашнего квартиросъемщика тем же выстрелом.

Много споров возникало вокруг обстоятельств и подробностей минского убийства; теперь, с опубликованием письма Абакумова Берии и письменных свидетельств Огольцова и Цанавы, подтвердилось то, в чем не было сомнений почти ни у кого: Михоэлса убила власть. Но власть ведь не анонимна. Берия до времени за кулисами. Сцена пока отдана генерал-полковнику Абакумову, удачливейшему из карателей, знающему только одну дорогу — вверх и вверх. Он служит Сталину. Даже члены Политбюро Молотов и Каганович не защищены от его сотрудников. Следователи Абакумова, не церемонясь, порой абсолютно развязно, расспрашивают арестованных о них самих, об их женах, об их касательстве к расследуемому делу.

Вскоре после убийства Михоэлса, развязавшего руки Абакумову, тот обратился в марте 1948 года в Политбюро и лично к Сталину с обширной запиской о враждебной антисоветской деятельности «еврей-



ского националистического подполья в СССР». Подобный документ не мог возникнуть по наитию, вдруг, за ним — годы слежки, разработка агентурных данных, даты, имена, в и д и м о с т ь реальности и фантастическая беспочвенность, бездоказательность, отсутствие улик. Держаться сколько-нибудь совокупно, целостно, порождать иллюзию достоверности подобный материал может только в отравленном сознании махрового юдофоба, для которого само звучание еврейских имен, «запах крови» оказываются достаточным аргументом, гарантией преступности.

Через три года появится обвинительное заключение по делу ЕАК, но, читая записку Абакумова в ЦК, датированную мартом 1948 года, обнаруживаешь полное совпадение этих двух документов. Только через 9—11 месяцев начнутся аресты членов президиума ЕАК, а служба госбезопасности уже «знает все». Знает, что во время поездки по США Михозлс и Фефер запродались спецслужбам Америки, обязались снабжать их шпионскими сведениями, добиваться создания в Крыму еврейской республики, будущего «плацдарма для военщины США». Знает, что внутри страны усилия буржуазных националистов направлены на разрушение дружбы народов, разобщение наций, на внедрение сионистской идеи целостности, бесклассовости еврейского народа, его обособленности от других народов, его превосходства над всеми. Служба госбезопасности, оказывается, уже знает, что Михозлс, только что спроваженный в могилу со скорбным поминальным словом самого правительства, на деле — «известный буржуазный националист», шпион и запродавец, что главные его помощники — Лозовский и Фефер. Знает и вину выдающихся еврейских писателей — Бергельсона, Гофштейна, Маркиша, Галкина, Квитко и других. Столь же подробно, сколь и лживо, характеризуется и деятельность ЕАК, вся без исключения: упоминается как несомненное преступление всякая встреча с приезжавшими в СССР иностранцами-евреями, каждое их приглашение на домашний обед или ужин, деловая переписка, сам ее факт, безотносительно к содержанию, — все толкуется как отъявленная уголовщина, «установление связей» и «завязывание контактов». В записке

Абакумова даются и отдельные характеристики каждому из членов президиума ЕАК, причем и поэт Ицик Фефер — заметим это! — обвиняется безоговорочно, без снисхождения.

Для шельмования будущих жертв используется их прошлое. За редким исключением, они, люди, родившиеся в конце прошлого века, печататься почти все начинали до 1917 года; само время испытывало их то Киевом, то Варшавой, то Веной, истязало частой сменой властей, режимов, искушало новыми возникавшими журналами и альманахами. *«Я пережил 18 раз смену власти в Умани! — в отчаянии воскликнул Лев Квитко в судебном заседании 21 мая 1952 года. — Но когда красные вошли в Киев, этому было посвящено мое маленькое стихотворение “Привет вам, освободители!”*<sup>1</sup> Время толкало их в дорогу, на поиски издателей и читателей, ввергало в ужас частыми погромами, нуждой, возвращающимся бесправием; 20-е годы вовсе не видели в них виноватых «эмигрантов» или «беглецов» из советского рая; видели не изменников, а людей гонимых, подобно и многим русским литераторам, интеллигентам, побродившим по белу свету, прежде чем обрести свой дом. Но на взгляд тех, кто не мыслил себе и шага отступления от «Краткого курса истории КПСС», кто усвоил сталинский непреложный догмат о враждебности и контрреволюционности любой, даже рабочей социалистической партии, кроме партии большевиков; на взгляд тех, кто всех родившихся на западе и юго-западе бывшей Российской империи, в «черте оседлости» — Галиции, Литве, Латвии, Эстляндии, Бессарабии — тупо числил «иностранцами»; на взгляд любого — и просвещенного, и малограмотного — следователя, все эти люди изначально заслуживали кары за измену Родине.

Фефер, родившийся несколько позднее, оказался в более выгодном положении. Он только накоротке семнадцатилетним юношей «забежал» в Бунд — партию, еще с ленинской поры превращенную в уголов-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 128.

но-политический жупел, а Сталиным, после убийства Кирова, и «новыми» историками партии объявленную просто исчадием ада. Очень скоро Фефер вступил в партию большевиков и серьезно «нагрешить» в Бунде не успел.

Бунд ему простили еще в 1937 году, когда благополучие Фефера повисло на волоске, простили и при Абакумове — но к его новым грехам «опричники» отнесли уже без снисхождения. В записке Абакумова Инстанции и Сталину есть страницы, оценивающие как враждебные и преступные все без изъятия контакты с приезжавшими в СССР зарубежными деятелями еврейской культуры и общественных движений, с представителями «Джойнта» и других благотворительных организаций США. В записке дана и разработка — персональная и событийная — по Киеву (тут впервые упомянут Гофштейн) и Минску, Харькову и Одессе, Львову и Черновцам, также и другим городам, куда проникли вездесущие агенты е в р е й с к о й н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й п а р т и и. Пропуском в этот подпольный мир, на взгляд абакумовских служб, была еврейская фамилия и кровь; пропуском и одновременно — стопроцентной уликой.

Много места уделено в ней Крыму, абсурдному обвинению в вынашивании планов отторжения Крыма от Советского Союза — проекту, якобы возглавленному бывшим заместителем министра иностранных дел СССР и фактическим главой Совинформбюро Соломоном Лозовским. Вдохновленный согласием Сталина на ликвидацию Михоэлса, готовя процесс над еврейскими националистами, метастазами расползшимися по всей стране, уверенный, что с гибелью Михоэлса никто не сможет помешать победоносному следствию, Абакумов пообещал Инстанции слишком много, рискуя при неудаче головой.

Тем удивительнее убийство Михоэлса. Зачем убивать преступника № 1 — по логике докладной записки в Политбюро и Сталину? Казалось бы, выскажи такое предположение Сталин, министр госбезопасности должен был бы просить о сохранении жизни Михоэлса, хотя бы на время следствия, — жизни главного виновника, но и главного свидетеля! Ведь именно с ним и с Фефером, с их поездкой по Америке и

Европе связано все наиболее важное: там — оформление заговора против Советского Союза, там продажность взяла верх над разумом и осторожностью, там — начало изменнической, шпионской деятельности. И только два свидетеля! Для следствия важны их совпадающие показания, а то, что они, Михозлс и Фефер, почти всю жизнь враждовали как художники, прибавит достоверности их признаниям. Если такие разные люди совпадут в покаянии, следствие возликует.

Абакумов решал вопрос о Михозлсе однозначно: убраться! С каким мстительным удовлетворением принял он от избитого до полусмерти Гольдштейна подтверждение того, что Михозлс — «подлец!», хотя и знал, что Гольдштейн даже не знаком с Михозлсом.

Возможно, что Абакумов при случае уже заговаривал — намеком, полувопросом — об устранении Михозлса и не был понят. Но вот служба набрела на Гольдштейна, а через него и на Гринберга; вышли вслепую, как иногда случается, из-за интереса Гольдштейна к семье Аллилуевой, а обрели неслыханную удачу — после каких-то двух недель жесточайших допросов мелькнул луч надежды, замаячила возможность обвинить еврейских националистов в подготовке к террору.

Страх террора, принимавший с годами все более клинические формы, — ахиллесова пята Сталина. Пролив моря крови, убив и сгноив в лагерях и тюрьмах миллионы людей, задушив голодом крестьянство, бессудно расстреляв тьмы людей, от дворников, слесарей, шоферов, театральных гардеробщиков, счетоводов, врачей, фельдшеров, учителей, одиночников, служителей церкви до обширного сословия нового советского чиновничества и всего командного состава Красной Армии, до комполков включительно, физически устранив всех своих политических противников, — как же после всего этому монстру не предположить, что страдающий народ вытолкнет из своих глубин на поверхность мстителей, своеобразных «камикадзе», готовых рискнуть жизнью.

Чтобы страшиться террора, не обязательно испытывать комплекс вины — можно одержимо верить, что ты и кумир и благодетель народа, что, искровя-

нив его и «проредив», ты готовишь поколениям грядущий земной социалистический рай, можно считать себя правым во всем и, однако же, бояться пули, гранаты, яда, вероломства «врачей-убийц».

В декабре 1947 года Абакумов достиг важного рубежа: под ноги легла зыбкая, но многообещающая тропа к «террористическим помыслам» евреев. Как мы уже знаем, воодушевленный министр не захотел ждать и часа: выбитые следователями у искалеченных ученых показания были сразу же отправлены в ЦК. Призрак террористов, копошение которых Сталин всегда подозревал вокруг себя, возник при обстоятельствах, особенно нетерпимых для него: сионисты подбирались к его семье, доискивались домашних подробностей, злорадствуя, что дочь самого Сталина полюбила еврея и родила от него. Они втираются в доверие к болтливым теткам его дочери, все еще рассуждающим о государственных делах, считая себя людьми, приближенными к власти. Даже если эти сионисты по трусости не способны на теракт, если лицедей и шут Михозлс собирает сведения для более молодых и решительных, и тем и другим пора исчезнуть, не поганить советскую землю.

Теперь можно было «испросить крови» Михозлса.

И министром Абакумовым была получена, так сказать, л и ц е н з и я на отстрел — согласие на убийство Михозлса. А позднейшая попытка, спасения ради, выдать это согласие за инициативу Сталина, за строгий, неоднократно повторенный его приказ понятна. Она входила в план спасения арестанта Абакумова, понадобилась она и самому Берии, стремившемуся после смерти Сталина свалить на него все возможные преступления: так Лаврентию Берии спишутся и многие его злодеяния.

Но зачем было министру госбезопасности в 1947—1948 годах устранять главу «еврейского преступного клана», ведь он мог дать показания чрезвычайной важности? Вспомним слова Лозовского о том, что показания Фефера в целом, и прежде всего об американской поездке, явились *«исходным пунктом всех обвинений, в том числе и в измене»*. В США отправились двое — знаменитый артист и общественный деятель Михозлс и никому не известный поэт

Фефер, — и если показания Фефера об их грехопадении за океаном справедливы и главную роль, судя по этим показаниям, играл Михозэлс, то он просто необходим следствию. Но если министр и сам не верил ни в измену лидеров ЕАК, ни в их шпионаж, если, как Лозовский, он видел во всем этом все ту же следственную «беллетристику», тогда ему, в конце концов, не очень важны были подтверждения Михозэlsa. Мертвый народный артист, молчащий, неспособный заступиться за себя и других, не могущий со всей силой интеллекта и всей страстью натуры опровергнуть ложь, убитый Михозэлс был куда удобней!

Предположения, что признательные показания выбивались из Фефера пытками, лишением сна, карцером, следует отбросить. Все следственные материалы и ход судебного разбирательства подтверждают добровольный характер его признаний. Полковник Комаров, вместе с Лихачевым руководивший вначале следствием по делу ЕАК, допрошенный 27 мая 1953 года военным прокурором ГВП подполковником юстиции Н. Жуковым, показал: *«Мне было известно, что арестованного Фефера, который первый дал основные показания, допрашивал Лихачев во внутренней тюрьме в совершенно нормальной обстановке. Мер физического воздействия к нему не применялось, и, как говорил мне Лихачев, Фефер на первом же допросе сам предложил написать собственноручные показания о вражеской деятельности своей и других лиц из ЕАК»*<sup>1</sup>.

Найдены и документальные свидетельства секретной службы о ходе командировки Фефера в США: «совершенно секретная» справка по архивному делу № 74822, составленная в связи с проверкой дела ЕАК Главной военной прокуратурой.

*«В рапорте полковника Бартошевича и генерал-майора Илюшина на имя начальника 2-го Главного управления НКГБ от 1946 года указано, что в 1943 году Фефер в составе делегации Еврейского антифашистского комитета выезжал в США, где про-*

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 32.

вел большую работу в пользу СССР. После возвращения Фефера из США агентура и литературные мероприятия фиксируют патриотические настроения Фефера. Фефер дал несколько заслуживающих внимания сообщений о пребывании в СССР американского журналиста Бенциона (Бенджамин) Гольберга»<sup>1</sup>.

6 июня 1952 года, после почти месяца судебного разбирательства, умудренный политик Лозовский дал понять подсудимым, что то, в чем их обвиняют, может любого из подсудимых привести к казни. Затревожился и Фефер, настоял на проведении закрытого заседания суда и, оставшись наедине с судьями, сказал:

*«В 1943 году сразу же по прибытии в США я был выслан представителем МГБ при посольстве генералом Зарубиным.*

Зарубин намекнул мне, что я во всем должен согласовывать свои действия с ним и с Клариним и поддерживать с ними постоянную связь. Находясь в Америке, я не сделал ни одного шага без согласования с Громыко и Кисилевым, с одной стороны, и с Зарубиным — с другой»<sup>2</sup>.

Делегация минимальная — два человека, но комиссаром в ней — Фефер. Зарубин — цивилизованный генерал и не станет требовать от мировой знаменитости Михозлса мелких услуг. Но ведь могло случиться и такое, что хваленый начальством из НКГБ Фефер, для вида усердствуя, проделывая «большую работу в пользу СССР», втайне, обведя вокруг пальца всю резидентуру, продавал родину оптом и в розницу. И такое на грешной земле случилось.

Иначе его признания — необъяснимый, ужасный, прямым образом ведущий к гибели самооговор; можно ли вообразить такое? И самооговор и оговор своего прославленного спутника, а следом и опаснейшая клевета на многие десятки своих коллег, друзей и недругов. *«По показаниям Фефера, — заявил Лозовский в один из последних дней судебного разбира-*

---

<sup>1</sup> Там же, л. 63.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 8 (Особые материалы), л. 1.

тельства, — проходит человек 100, фамилии которых мне неизвестны, которых он все время оговаривает...»<sup>1</sup> А когда после допроса на суде Лозовского рухнула клевета Фефера и позиции его оказались незащитимыми, заметавшись, Фефер вдруг вскричал:

«Не надо сваливать все на Михозлса и на меня!..»<sup>2</sup>

Удивительная слепота, вопль больной совести! Ведь против Фефера если и говорили на следствии и на суде другие, то только то, что сам он сочинил и нафантазировал, оговаривая множество людей. И Михозлса он превратил, в собственноручных письменных показаниях, в исчадие ада, в злодея и чудовище, в человека, на которого что ни свали, все будет справедливо, все подойдет его преступной натуре. От кого же защищался ты, живой, тогда как мертвый Михозлс защищаться не мог? Ты говорил за двоих, винясь в предательстве, свершившемся за океаном. Ты якобы очистился, облегчил свою совесть, явился с повинной, но мертвому ты назначил роль нераскаявшегося преступника! Его убили, дело ЕАК началось именно с минской казни! Не кончилось, как испокон веков ведется, а началось с казни.

Его убили, и защитить его можем только мы.

Повторяю: по нормальной логике, Абакумову, как никому другому, надо бы беречь такого свидетеля, как Михозлс. Подтвержденные им показания Фефера поставили бы обвинение на прочное основание.

Все так, если обвинение истинно. Но если оно — ложь и провокация, черный миф, если Михозлс чист и невиновен, тогда он опасен для следствия. Опасен вдвойне, если задуман громкий, открытый процесс, суд над целым народом — пусть не наций, по сталинским стандартам, над малым народом, спасенным от уничтожения героической Советской Армией и вероломно ей изменившим. Абакумов честолюбиво размахнулся именно на такой процесс: он докажет, что вся еврейская интеллиген-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 4, л. 252.

<sup>2</sup> Там же, л. 261.



ция, писатели и журналисты, актеры и режиссеры, врачи и ученые, академики и общественные деятели, заражена буржуазным национализмом. Не значит ли это вынести приговор и всему народу, подготовить страну к необходимости решительных карательных мер и самозащиты! Населению нужны простые, доходчивые аргументы, возбуждающие страсти, а не теоретизирование, не идеологические тонкости. Когда возник «крымский проект» — обязательство ЕАК перед спецслужбами США подготовить отторжение Крыма от России, — обвинение наполнялось зловещим содержанием. Если к этому прибавить террористические замыслы националистов, подготовку к террору, с прицелом на Кремль, выслеживание будущих жертв, успех такому процессу обеспечен, неминуем и взрыв народного гнева...

Михоэлс, изображенный злодеем, ненасытным честолюбцем, воплощением коварства, «местечковой мстительности», жадности, продажности, вероломства, тысячекратно оболганный и уже почти ненавидимый теми, кто еще жив, ждет суда, теми, кто, если верить и сотовой доле признаний Фефера, страдает по вине Михоэлса, из-за его преступлений, неслыханно облегчал задачу следствия. Как-то само собой выходило, что каются двое, Фефер и Михоэлс, что они — согласный дуэт и тогда, в 1943 году, когда совершали преступление, и сегодня, на коленях перед правосудием.

Поразительно и почти невероятно: никто из подсудимых и подсудимых поначалу не захотел, не нашел в себе сил, веры для защиты Михоэлса, его чести и его имени! Зная, что выпало на долю каждого из них и как парализовало их «покаяние» Фефера, которому трудно было не поверить, — я понимаю их молчание и — может быть, может быть — их подсознательную **з а в и с т ь** к тому, кто уже не в этом аду, кто умер вдруг, до позора и истязаний. Жизнь сложнее, чем это может показаться, пути ее воистину неисповедимы.

Даже зная подоплеку показаний Фефера, зная цену его покаяниям, я, читая листы судебного и следственного дел, попадал под власть этой проклятой иллюзии: каются двое! Двое! Виноваты оба! Нужны

усилия, чтобы сбросить с себя наваждение; арестованных на такие усилия часто не хватало.

Не знаю, необходим ли для такого замысла выдающийся злодейский ум, или Абакумов вкупе с шефом канцелярии Броверманом обошлись просто опытом преступлений, но уверен: живой Михозэлс, человек, которого я знал и любил, разрушил бы ход следствия, опроверг бы легенду о «з а п р о д а ж е» Крыма, а следом и все остальное. Министр не мог знать этого заранее, он только пристально всматривался в зрачки первых схваченных «еврейских злодеев», чтобы они не лгали ему, отвечая на вопрос: «подлец» ли Михозэлс?

Однако особенности природы Михозэлса, его характер и силу воли, мощь его независимой, целеустремленной личности, его способность противостоять внешнему давлению, давно уяснили себе оба информатора Лубянки — прилежный осведомитель Шахно Эпштейн, Фефер, а потом и Хейфец, приставленный к ЕАК на завершающем этапе подготовки к арестам. Даже Хейфец сразу уяснил себе несопоставимость двух этих личностей: Михозэлса и Фефера. *«Фефер, по моим наблюдениям, — сказал он на судебном процессе, — уважением не пользовался. Он, несомненно, способный, знающий, но хитрый человек: обращала на себя внимание его жадность к деньгам»*<sup>1</sup>.

Министр «прикрыл» Фефера, избавил его от очных ставок с Михозэлсом. Ицик Фефер держался самонадеянно на очных ставках только со слабыми, сломленными людьми. Непосильными для него оказались Лозовский, Шимелиович, Лина Штерн, не выдержал он поединка с бесстрашным тбилисцем Крихели, твердым в принципах директором музея еврейской истории в Грузии. Схватка с Соломоном Михозэлсом была для Фефера заранее проиграна, какую бы поддержку ни оказывало ему следствие. Во всем, что касалось поездки по США, они стояли друг против друга, без секундантов, без третьих лиц, которых можно было бы запугать или подкупить. На стороне Михозэлса были бы правда, невиновность, сильный

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, л. 55.

интеллект, пронизательность и оригинальность мышления. Тут столкнулись бы мудрость одного и изворотливость, но ординарность другого.

Фефер не мог пообещать госбезопасности благополучного исхода схватки с Михозлсом. Он, Фефер, сделал невозможное: сочинил, создал, описал, аргументировал обширный, никогда не существовавший заговор. Мощный магнит клеветы он приблизил к разнородным частицам, разнонаправленным, свободно лежавшим на поверхности жизни, ложью заставил изменить расположение и смысл этих частиц. Но одолеть таким же способом Михозлса он не сможет и заведомо не берется за это.

Зависть и малодушие иногда оборачиваются незаурядной силой, когда их ставит себе на службу режим, а инициативу берет на себя честолюбец масштаба Абакумова. Верил ли он в многостраничную ложь Фефера? И да и нет! Да — потому, что страстно желал этого, веровал в прирожденное вероломство евреев, хотел потрафить своему владыке Сталину, вознестись выше недавнего своего покровителя Берии. Верил, ибо вели его соблазны и рутина жизни. А не верил — из-за запоздалой осторожности авантюриста, ночных страхов, подозрений в ничтожности доносителя.

Поразительно другое: в свою ложь начинал верить и Фефер! Когда ложь длится годами и становится главным способом существования; когда она проникает в подкорку мозга, не оставляет тебя и в ясности мысли, и в ее обморочности; когда ее, хоть отчасти, поддерживают другие — сломленные, несчастные люди; когда ты тем больше любишь (по-своему, как умеешь!) тех, кого изощреннее оговариваешь, любишь их уже как собственное творение, готов оскорбиться, обидеться на них, зачем они упорствуют, не принимают на себя хотя бы частицы греха, видя, как страдаешь ты, добровольно взвалив на себя громады греха, — вот так, пробиваясь сквозь муть, провалы памяти, непотребства и ужасы, начинал верить своим показаниям и Фефер.

Как легко показалось ему двигаться в начавшемся следствии, имея с двух сторон по высокочтимому мертвецу! Его как бы осеняли и благословляли давно

умерший (1944) бывший ответственный секретарь ЕАК, чье место он теперь занимал, — Шахно Эпштейн — и убитый, оплаканный Фефером председатель комитета Соломон Михозэлс. На любые затруднительные вопросы: «Кто распорядился?», «От кого вы узнали?» — ответ: «От Михозэлса», «От Эпштейна». Мне позвонил Шахно Эпштейн! Меня предупредил Соломон Михайлович! *«Фефер выступает все время как свидетель обвинения, — заявил в судебном заседании Лозовский. — Свидетель обвинения все время ссылается на мертвого Эпштейна... Во всех, мягко говоря, деликатных случаях он прячется за спину умершего, на все у него один ответ: "Я слышал это от Эпштейна"»*<sup>1</sup>. Еще в большей мере это должно быть отнесено к желанию спрятаться за спину почитаемого большинством Михозэлса.

Подумаем вот еще над чем: мог ли всемогущий Абакумов опасаться не по слушания кого бы то ни было, располагая следователями, способными заставить говорить и мертвых? Мог ли допустить мысль о бессилии палачей в схватке с каким-то непомерно расхваленным лицедеем? Все его подручные сказали бы: вздор! Напрасные сомнения!..

Но Абакумов опасался. И не только потому, что его ответственность перед Инстанцией и Сталиным особая, таящая грозную опасность, — он еще подозревал в других, пусть в очень немногих, в редчайших единицах, чрезвычайную силу воли и способность умереть несломленным. Личная доблесть, хотя и извращенная злодейством, была присуща ему самому. Никакие пытки и издевательства над ним Рюмина не сломили Абакумова до самой его казни — почему бы не предположить такой силы и в Михозэлсе, в человеке, перед которым явно испытывает страх Фефер, вымаливая без слов, малодушным взглядом его устранение из дела?

Михозэлс настраивал именно на такие мысли о себе. И ведь уже в начале следствия, в аду пыток и провокаций, силу воли и неподатливость выказали и пожилой врач Шимелиович, и старуха Штерн, и из-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 4, лл. 79, 117.

датель Стронгин, и музейщик из Тбилиси Крихели... Процесс, на котором все или почти все обвиняемые откажутся от в ы б и т ы х из них показаний, стал бы концом безукоризненной карьеры министра.

## VII

В своих показаниях 1951—1953 годов Лихачев многократно возвращается к следствию по делу ЕАК. Зная, что арестован и министр Абакумов, он хитрит и изворачивается. Оказывается, что руководимые им следователи сразу же добились решающих успехов и все было готово для судебного слушания. *«Еще в 1948—1949 годах я руководил следствием по делу еврейских националистов — американских шпионов Лозовского, Фефера и других, проводивших вражескую деятельность под прикрытием ЕАК. В это исключительно важное дело следователи вложили много труда, и арестованные были разоблачены как активные враги Советской власти, занимавшиеся шпионской и другой подрывной деятельностью по заданию американских реакционеров. После ареста преступников в МГБ СССР был доставлен архив ЕАК, в котором находились документы, подтверждающие вражескую деятельность арестованных».* «Я душу вкладывал в это дело! — воскликнул Лихачев. — Ночи не спал, сделал многое, и только полезное, для Советской власти!»<sup>1</sup>

Верно, ночей порой не спал, мог отоспаться днем, но подследственные, неделями лишенные сна, не смели под угрозой карцера вздремнуть и днем...

Весной 1949 года, когда, на взгляд Лихачева, следствие подошло к победному завершению, он как опытный мастер своего дела понадобился своим коллегам в странах Восточной Европы и с мая 1949 по сентябрь 1950 года провел в Болгарии и Чехословакии. По делу ЕАК оставались пустяки, хотя, по словам Лихачева, он вплотную-то и занимался им всего два с половиной месяца. *«За это время все арестованные, а их было около*

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 43.

50 человек [запомним эту цифру! — А.Б.], признали себя виновными... была вскрыта направляющая рука — американская разведка, а также много численные вражеские связи арестованных в разных городах СССР»<sup>1</sup>. Кроме общего руководства следствием, министр поручил Лихачеву лично допрашивать жену Молотова — Жемчужину, ее брата Карповского, сестру Лешнявскую и секретаря Жемчужиной — Мельник. Лихачев не преминул подчеркнуть, что эта опасная работа с неординарной арестованной, фамилия которой вписывается в протокол чернилами, для чего в машинописной строке оставляется пропуск, была навязана ему приказом: кто его знает, как повернутся дела в высшем эшелоне и дела самого Молотова?

«В результате большой и напряженной работы по этому делу, — показал Лихачев военюристам, проверившим дело ЕАК, — как со стороны следователей, так и моей лично, все арестованные за сравнительно короткое время, без применения к ним мер физического воздействия, за исключением, может быть, двух-трех арестованных, дали подробные показания как о вражеской деятельности еврейского антифашистского комитета, так и своей лично»<sup>2</sup>. «Интернациональный долг» позвал Михаила Тимофеевича в Прагу и Софию, делиться палаческим опытом с «меньшими братьями», Жемчужину и Мельник он передал своему главному подручному — Комарову, Карповского — Сорокину и отбыл. «В мое отсутствие это дело было закончено, выполнена была статья 206 УК [подследственным предъявлено обвинение в присутствии прокурора. — А.Б.], написано обвинительное заключение, но в суд почему-то не направлялось... В сентябре 1950 года я возвратился в Москву и, просмотрев дело, а также побеседовав с некоторыми следователями, узнал, что дело на еврейских националистов уже закончено, причем без какого-либо документирования преступной деятельности аресто-

---

<sup>1</sup> Там же, л. 47.

<sup>2</sup> Там же.

*в а н н ы х... Тогда же следственное дело вновь было передано в подчинявшуюся мне следственную группу, где оно в большом количестве томов лежало брошенным в сейфы до моего ареста»<sup>1</sup>.*

Лихачеву так и не удалось самолично довести расправу до конца из-за ареста в июле 1951 года. Но ко дню 28 мая 1953 года, когда он пишет эти свои «собственноручные показания» комиссии Главной военной прокуратуры, ненавистные ему «еврейские националисты» уже почти год как расстреляны. Лихачев в тюремной камере может этого не знать, если только кто-либо из бывших его сослуживцев не пролил бальзам на его душу.

*«Почему дело не направлялось в суд, мне до сих пор не известно...»*

Лихачев лжет на пороге скорой гибели: он хорошо понимает причину и вскоре, забыв о своем недоумении, открывает ее и нам. *«Как понимающий в следственной работе, я должен сказать, что рассмотрение в суде такого рода явно недоработанного следственного дела на о с о б о п а с н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х п р е с т у п н и к о в могло кончиться провалом, так как некоторые из них, после ознакомления с материалами обвинения, свои показания изменили или вовсе от них отказались. Подкрепить же прежние показания было нечем, поскольку, как я уже показал, документы, изобличающие арестованных, лежали в МГБ СССР в н е р а з о б р а н н о м архиве ЕАК... Моя вина и вина других бывших руководителей следственной части, Леонова и Комарова, состоит в том, что мы, по воле Абакумова, преступно отнеслись к окончанию следствия по делу на опаснейших врагов советского государства, орудовавших в ЕАК»<sup>2</sup>.*

Самоубийственное для следствия заявление! Горды бумаг, весь архив ЕАК, вся переписка, сброшенные в несколько грузовиков, привезены на Лубянку, лежат нетронутые, неразобранные, даже мельком не просмотренные, но Лихачев и другие каким-то образом знают, что все это — документы, «изобличаю-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же.

щие арестованных», хранящие доказательства шпионажа и предательства. А ведь у следствия нет ни одной уличающей бумажки, ни одного документального подтверждения попытки разглашения важных секретов и тайн! И можно ли рассчитывать отыскать их в копиях, отправленных за рубеж с позволения цензуры писем и статей?

Покаявшись для проформы, Лихачев главную вину возлагает на бывшего министра и на «товарища Шубняка» из 2-го Главного управления МГБ, который, мол, «медлил с разборкой и переводом» изъятых документов ЕАК.

Документы не переведены на русский, свалены в кучу, но заранее объявлены крамолой, продуктом шпионской деятельности. Они или давно сожжены за ненадобностью, или все еще пылятся в хранилищах 2-го Главного управления, а между тем это соответствующие букве закона бумаги — протоколы заседаний, письма, копии не сотен, а тысяч накопившихся статей, очерков, интервью, прошедших к тому же контроль Главлита перед отсылкой за рубеж. Даже те из подозрительных бумаг, которые были отобраны для предъявления экспертам (в январе 1952 года) в качестве антисоветчины, могли показаться крамольными только в горячечном бреде. Об этих абсурдных, огульных обвинениях в шпионаже «на публику и под гром литавр» говорил на суде Лозовский: *«Получается, что дело шпионажа было у нас поставлено очень своеобразно. Как указано в обвинительном заключении, мы передаем врагам шпионские сведения и оставляем копии в архивах. Потом приходят сотрудники МГБ и все забирают... Ведь это же явная бессмыслица. Если материалы, полученные из института № 205 (о колониализме Англии), носят шпионский характер, то почему это вещественное доказательство не приобщено к делу? Полковник Комаров обещал мне дать прочесть этот материал, но только показал его, не выпуская из рук... На протяжении трех лет я десятки раз просил следствие дать мне посмотреть, что это за секретные материалы. Я же за это отвечаю головой! Может быть, полковник Комаров за это время стал уже генералом, так как прошло уже три года, но все же суд может спросить у него этот материал — я уверен, что,*



*если бы там была хоть одна строка, носящая шпионский характер, этот материал был бы здесь. Что это значит? Это значит, что можно любого человека повести под смертную казнь, а материалы спрятать от суда... С еврейского и английского языков переводили для следствия книги, взбудоражили целую группу экспертов, а эти документы, написанные на русском языке, по которым не нужно было никаких экспертов, к делу не приобщены».*

Замечу: Комаров к этому времени стал не генералом, а арестантом и вместе со своим шефом Абакумовым ждал приговора и расстрела, но полковник Рюмин, возглавивший следствие с осени 1951 года, возведенный в ранг заместителя министра, не дал суду материалов института № 205. Несмотря на настояния генерал-лейтенанта Чепцова: давать было нечего.

Как же понять бессилие следствия, проволоочки, бездарное рысканье палачей?

Уголовные следствия по особо важным делам, привычные для госбезопасности, построенные на фальсификации и насилиях, требовали скорого, молниеносного суда, исключая колебания, затяжки и апелляции. Особое совещание, или «тройка», определив накануне приговор, в спешном порядке, затыкая рты подсудимым, решало их судьбу с немедленным приведением в исполнение приговора. Лихачев назвал число арестованных по делу ЕАК, «признавших себя виновными», — более 50 человек. По сути, многие сотни арестованных, ибо от «ядра» в 50 арестованных нити потянулись по всей стране, от Биробиджана до Одессы и Черновцов, хватали и хватали людей, чьи фамилии возникали в деловых бумагах ЕАК или среди корреспондентов «Эйникайт».

Но куда ушли эти 50, в каком кровавом месиве захлебнулись? Добитый в тюрьме Брегман, член президиума ЕАК, не смог выдержать до конца судебного разбирательства, подсудимых осталось 14. А как же остальные 35? Не отпустили же их с Богом?!

Их судили группами по территориальному (Киев, Минск, Одесса, Биробиджан и т.д.) или профессиональному (журналисты, работники культуры, служители культа и т.д.) признаку, судили скорым судом Особого совещания, или «тройки», для которого иде-

альными следователями и были комаровы и жирухины, лихачевы и шишковы. Им не выносили пустяковых, легких приговоров, давали большие сроки — от 10 до 25 лет, равных для пожилых, нездоровых людей уничтожению. Не колеблясь приговаривали и к высшей мере.

К расстрелу приговорили журналистку Мириам Железнову (Айзенштадт) обвинив в измене родине и шпионаже, не предъявив при этом ни одной строки в подтверждение ее вины. В судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР (ноябрь 1950 года) она признала, что в *«1946 году несколько раз встречалась по делу с Гольдбергом, не зная о его принадлежности к американской разведке»*. Не знала она, не могла знать и никто другой — невозможно знать то, чего не было, что было измышлением следствия. Не знала, но не посмела усомниться в правдивости следствия и стояла перед судом с поникшей головой. *«Судите, как хотите, но прошу учесть, что я не враг и не шпионка. Волею судеб попала в окружение врагов народа...»*<sup>1</sup>

Но она — Айзенштадт, и этого с лихвой хватит для расстрела.

Самуила Персова расстреляли за полные оптимизма и гордости статьи и очерки о делах Московского автозавода им. И.В. Сталина. Его публикации объявили шпионскими, хитро, через печать открывавшими важные государственные секреты, — Персов, как и Мириам Айзенштадт, был расстрелян 23 ноября 1950 года.

За месяц до этого в Лефортовской тюрьме умер от побоев профессор Исаак Нусинов, которому тоже надлежало проходить по главному делу ЕАК.

Прошло пять лет, и начальник Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР В. Катышев дал официальное заключение по 12 наиболее «крамольным», «предательским» статьям Персова и Айзенштадт: *«Во всех перечисленных выше статьях не содержится сведений, составляющих государственную тайну»*.

Инстанция (ЦК) не вникла в эти «дочерние предприятия» госбезопасности, обходилась информацией:

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 10, л. 40.

суд состоялся, подсудимые признались в преступлениях, приговор вынесен, националисты понесли заслуженную кару. Одиннадцать осужденных евреев по Биробиджану, девять «грешников» из Одессы, столько киевлян, столько-то минчан — есть о чем тужить и печалиться! Среди одесситов оказался мой давний, еще довоенного времени, товарищ — Нотэ Лурье, талантливый прозаик, ставший в одном из сибирских лагерей другом и покровителем репрессированного воронежского студента Толи Жигулина (Жигулин написал об этом в автобиографической повести). Лурье, помоложе многих других и двужильный крепыш, выжил, но слабые умирали, как угас в лагере Дер Нистер, классик еврейской повествовательной прозы, и многие другие.

Абакумов рад бы и с членами президиума ЕАК закончить так же — задушить, что называется, в темной подворотне, и быстро. Но не то, совсем не то было обещано Сталину. После всех посулов и рапортов Инстанция вправе была рассчитывать на громкий разоблачительный процесс: пусть мир убедится, что чаша терпения переполнилась, больше нельзя прощать измен и вероломства, изначально присущих этому малому народу! Пусть приедут прыткие «юристы-демократы», сговорчивые, но начавшие пошаливать, приедут и убедятся, что преступники каются перед народом, приютившим их, и перед великим вождем, спасшим их в битве с нацизмом.

Спецкурьеры привозили с Лубянки в Инстанцию особые, так называемые «обобщенные протоколы» допросов, спустя годы поразившие даже выдавших виды чинов Главной военной прокуратуры. Пока был жив Сталин и л ю б о й приговор по серьезным делам освящен его именем либо санкционирован им, «обобщенные протоколы» допросов полеживали в архивных томах, закрытые от чужих взглядов. Но вот 42 следственных тома дела ЕАК попали в руки военюристов; из московских тюрем — Лефортова, Бутырок, Матросской Тишины и Внутренней тюрьмы Лубянки — запрошены «календарные» росписи вызова подсудимых на допросы, с указанием дня, часа начала и окончания допроса, с упоминанием фамилии следователя, наказавшего арестанта карцером. Ведя свою канцеля-

рию, тюремное начальство защищалось от «диктата» следственных органов: если арестованного забьют на допросе до смерти, если вообразить невозможное — побег, то будет ясно, на кого ложится вина.

Закон с т р о г о требовал оформления протоколом каждого допроса, но следственные тома дела ЕАК показали, что без всякого фиксированного следа проходили десятки допросов, длившихся часами, — след отпечатывался в психике арестованного: потрясения, травмы, кровоподтеки, сломанные зубные протезы, глухота, отвратительные унижения человеческого достоинства и многое другое, — но ни строки протокола. Лишение сна, часы, заполненные угрозами, издевательствами, попытками подкупа выбившегося из сил арестанта, — и все без следа, без рутинного, обязательного протокола допроса.

Юристы поразились странному, повторяющемуся г р а ф и к у следствия: десятки многочасовых, не фиксированных протоколом допросов, затем два-три поверхностных, биографических протокола, и вдруг — большой, случалось огромный, в 25, 40, 51 и более страниц протокол из тех, что в недрах Лубянки окрещены «обобщенными» или «свободными». После недель истязаний и провокаций, из многих черновых записей, из стонов и отчаяния, из опустошенного бормотания несчастных, из бреда ловкие повара «кухни Бровермана» — этот кабинет так и называли — «кухней»! — приготавливали «обобщенный протокол». Назову только немногие дела, в которых этот убийца без оружия, кичливый застеночный с т и л и с т отличился образцовыми, приготовленными для ЦК «обобщенными протоколами»: дело маршала Кулика, других военных работников высшего ранга; «ленинградское дело» Кузнецова и Соловьева; дело министра Новикова; дело В.В. Парина — секретаря-академика АМН СССР; дело «террориста» Даниила Андреева — сына писателя Леонида Андреева; дело известного хирурга С.С. Юдина; дело Бородина и многие другие.

«Обобщенные протоколы» позволяли любые подтасовки: когда доктора Шимелиовича после ареста привели к министру, Абакумов сказал, обращаясь к находившимся в кабинете следователям: «Посмотрите, какая рожа!» — а секретарь министра, полковник госбе-

зопасности, добавил: «Так это вы первостепенный консультант Михозлса?!» Впоследствии Шимелиович прочитал именно эти слова в показаниях Фефера, но оформлено все было так, будто не Фефер подсказал это следователям, а только повторил реплику полковника.

Старшие следователи и руководители следствия по делу ЕАК, оказавшись под арестом, изворачивались, объясняли практику «обобщенных протоколов» техническими обстоятельствами, необходимостью сокращать и редактировать стенограммы допросов и даже малограмотностью некоторых следователей — истинной причины они открыть не решались: могло измениться министерское начальство, но Инстанция, но ЦК, как живой Бог, стояли непоколебимо.

«Обобщенные протоколы» готовились для Инстанции. ЦК не нужны были случайные лоскутья допросов, метания, отчаяние, отказы от вчерашних показаний, следственные будни — рядовые Инстанции, а тем более ее жрецы — Шкирятов, Маленков или Поскребышев — не желали копаться в дерьме, вникать в долгий, трудный процесс следствия — им подай главное, и в очищенном от «пустяков», завершенном виде.

«Обобщенный протокол» как некий жанр следственного сочинительства родился для Инстанции. Когда-то, когда Абакумов и в малом еще не смел соперничать с Берией, а радовался его протекции, Лаврентий Павлович втолковал ему, что протоколы допросов, униженные признания подсудимых для Сталина, много читающего человека, одно из самых желанных чтений. А в случае с ЕАК даже тема желанная — дело, которое в известном смысле призвано было увенчать его земной подвиг. Дело, разумеется, не под стать его богосуществованию, но достойное войти красной строкой в летопись его жизни. Разоблачение народа, не обделенного талантливыми, артистичными личностями, однако рожденного лишь для того, чтобы унавозить почву, на которой будут развиваться и благоденствовать другие народы, полноценные нации, блюдущие отчий дом, землю и язык предков. Перекати-поле есть перекати-поле, и пусть гонимый ветром, жесткий, колючий этот клубок не рядится ни под

русскую березу, ни под сибирскую ель, ни под виноградную лозу Кавказа!

Триумф поездки Михоэлса и Фефера в США, Канаду, Мексику и Англию, хотя и подарил стране десятки миллионов долларов и прибавил добрых к нему чувств американцев, вызвал раздражение в Кремле. Дело даже не в суконной, подбитой лисьим мехом шубе — подарке от нью-йоркских скорняков и портных Сталину (его безопаснее было бы не привозить генералиссимусу, человеку в шинели), — хуже то, что американские журналисты, не приученные каждую статью начинать с панегириков Сталину, хотя и очень чтимому и популярному в те дни, писали отчеты о митингах с участием «русских», забывая упомянуть имя вождя, как будто актер Михоэлс и первый «еврейский пролетарский поэт» Фефер, возглавив свое воинство, громят Гитлера. Слово **национальный** вышло из употребления у осведомителей Лубянки, превратившись в **националистический**. Любое культурное начинание, клубная встреча, литературный вечер, публичное чтение стихов, проходившие на еврейском языке, изначально считались националистическими. Кончилась война, отпала прямая нужда в ЕАК, но комитет держали как садок с помутневшей водой, в глубине которого промельком металась напуганная убывающим кислородом живые существа. Комитет перевели под крышу ЦК и «укрепили» назначением в него сотрудника госбезопасности Хейфеца. Расчет строился в надежде на «крымскую провокацию», не зря же она была подброшена ЕАК еще в январе 1944 года.

Сталин ждал. Приходили «обобщенные протоколы», по ним выходило, что вожаки националистического подполья капитулировали, признались в преступлениях, цена которым — казнь. Он не ошибся, дав согласие на убийство Михоэлса — сионистского упыря, балаганного потешника, вторгшегося в собутельники к Москвину, Фадееву, Качалову, Тарханову, Алексею Толстому... Неразборчивая компания! Налицо шпионаж, выдача государственных секретов, потакание захватническим планам ЦРУ, а в конце 1947 года стали возникать и подозрения в террористических замыслах. Их вызывали не только замеченные вокруг семьи Аллилуе-

вых ученые: все яснее становилось, что и врачи, захватившие важные должности в Лечсанупре Кремля, тоже не без греха...

Пока шли аресты и началось, до поры, без огласки, следствие по делу ЕАК, «пропагандистское обеспечение» акции легло на шумную, идеологическую, не прекращавшуюся борьбу печати против «безродных космополитов». О главных этапах этой кампании я написал книгу «Записки баловня судьбы». Крайне трудно дается целостное восприятие действительности, понимание текущей, сегодняшней жизни как части, звена исторического процесса. Вдвойне трудно, если события коснулись тебя самого, обожгли, оскорбили. Кто из нас, ошельмованных «Правдой» от 28 января 1949 года, понял, что случившееся — только поверхностное, сопутствующее проявление грозных, чреватых гибельными последствиями явлений? Клеветы, обрушившейся на нас со страниц главной газеты страны, следовавших затем гневных «разоблачений», гнева и протестов многолюдных собраний вполне хватило бы для начала обвинительного расследования, а следователи Лубянки сумели бы добиться признательных показаний.

Незаметно для нас самих, под барабанный бой, возвещающий окончательную победу дружбы народов и всеобщего их братства, сталинизм вел разрушительную работу, унижая нации, делая их объектом то льстивых восхвалений, то репрессий. Маниакальная идея все обостряющейся классовой борьбы углубляла разъединение общества, недоверие и даже озлобленность одной части общества против другой, готовность не слышать чужих стонов, не замечать крови, пролитой не в твоём доме, а в чужом.

Мстительное изгнание людей с их исторических земель, уничтожение культуры и государственности своих же народов — черная страница в мировой летописи преступлений. После войны Сталин вплотную подошел и к решению вождя «еврейского вопроса». Но нужны были годы, чтобы подготовить страну к беспрецедентной для послевоенной поры акции депортации, придать ей, хотя бы внешне, цивилизованные черты.

Но козни театральных критиков для народных масс — тема не слишком актуальная и волнующая; устроители идеологических погромов превосходно это понимали.

Для взрыва народного гнева, для подготовки такого взрыва понадобилось бы средство посильнее — обвинение врачей, «убийц в белых халатах». Оно и готовилось исподволь, внутри дела ЕАК, приберегалось напоследок: черный сатанинский птенец уже стучался клювом в скорлупу, собираясь выбраться наружу.

Не скоро я понял, почему гонимых, преследуемых «космополитов», чьих объявленных грехов хватало бы на любые лагерные сроки, за редким исключением, не сажали.

Сталин ждал. Понимал, что донесения с площади Дзержинского и «обобщенные протоколы» добыты не без чрезвычайных мер, но как прикажете поступать, когда перед тобой в р а г, а время торопит, с «сионистами» ухо надо держать востро. Из протоколов видно, как настойчиво они ищут пути к Молотову, как поставили на службу Жемчужину, его жену, как близко оказывается ко всему этому «кагалу» Лазарь Каганович.

Сталин ждал, наблюдая, как чекисты проникают в новые преступные логова и дело ЕАК приобретает серьезность и размах. Представить себе, что с каких-то пор его обманывают, Сталин не мог.

Сам обманувшись, теряя почву под ногами, Абакумов не мог ни отступить, ни повернуть назад. Точный диагноз создавшейся ситуации поставил в своих мартовских показаниях 1952 года Лихачев, самый опытный и осторожный из всех следователей, сказав, что *«дело на еврейских националистов было закончено, причем без какой-либо документации преступной деятельности арестованных»*, и *«вследствие того могло кончиться провалом»*.

Лихачев лгал военюристам, возможно, лгал и себе, утверждая, что спасительные для следствия доказательства, «документация преступлений» лежали рядом, только руку протяни, да вот поленились, не разобрали доставленный на грузовиках архив ЕАК и редакции «Эйникайт».

Честолюбивый, не знавший поражений Абакумов часто сносился с Инстанцией, обнадеживал ее, создавал видимость планомерного приближения следствия к концу, а тем временем арестованные, преодолев ужас и страдания первых месяцев, начали отказываться от своих признательных показаний.



## VIII

Доктор Борис Абрамович Шимелиович в лучших партийных традициях обратился с письмом к Сталину — из тюрьмы! К кому же другому, как не к вождю и первому другу всех народов, Иосифу Виссарионовичу Сталину, — кто другой поймет и защитит?

*«Дорогой Иосиф Виссарионович! Третий день нахожусь под арестом. Меня заставаю т признать преступления. Рад сознанию, что совесть моя чиста перед партией и лично перед Вами. Б. Шимелиович. Москва, 15 января 1949 года».*

И на другом клочке бумаги приписка: *«Поскребышеву! Прошу Вас передать И.В. Сталину содержание этого моего заявления. Б. Шимелиович (бывший главный врач б-цы Боткина)».*

В коротких посланиях, полных достоинства и наивной, вопреки уму и житейскому опыту, веры, в письмах и многих последующих заявлениях, не дошедших до адресата, — весь Шимелиович. Благородный, нравственный человек, свято принявший свою профессиональную судьбу, свою гордую участь создателя лучшего в стране медицинского лечебного учреждения и общественный долг коммуниста и гражданина. Он и в июле 1952 года, после дпящегося уже целый месяц судебного разбирательства, напишет личное письмо «Гражданину председателю Военной коллегии Верховного суда СССР» на важнейшую и большую тему, которой ему, коммунистическому Дон Кихоту, негоже касаться публично, принародно, хотя суд и закрытый, без посторонних...

Так уж воспитан он, Борис Шимелиович, член партии с 1920 года.

*«Я не считал возможным политически, как это сделал подсудимый Лозовский, когда давал показания суду, — говорить на суде об антисемитизме, с которым он встретился во время предварительного следствия...»*

Как это знакомо нам, законопослушным, жившим под давлением неисчислимых партийных параграфов, навсегда определивших, о чем и когда, при каких обстоятельствах можно говорить, а о чем ни-ни! — так

как это повредит общему «святому» делу, чуть ли не самому мирозданию.

*«Я впервые в моей жизни почувствовал о т р ы т ы й а н т и с е м и т и з м, — писал Шимелиович, — услышав это из уст отдельных сотружников [«отдельных»]! — срабатывает почти биологический барьер самозащиты: все-таки «отдельных». — А.Б.] МГБ СССР на суде, так как я считаю, я не должен был бы об этом говорить. Вас, гражданин председатель, и тем самым партию я обязан поставить в известность на суде о следующем...»*

Ни в чем не повинный старый человек, вступивший в партию еще в те времена, когда его немолодой сердный истязатель Вячеслав Шишков только еще готовился в первый класс школы-семилетки, которой и ограничилось его образование. Доктор, три десятилетия пестовавший сотни молодых врачей в институтах и в самой Боткинской, человек, измороженный палачами до того, что подпись его становится почти неузнаваема: пальцы уже не держат пера. (Вспомним признание Рюмина: *«До передачи мне дела Шимелиовича его, Шимелиовича, сильно избивали в течение месяца... Я помню — Шимелиовича на первые допросы буквально приносили ко мне в кабинет»*<sup>1</sup>.) Шимелиович, гражданин и патриот, оболганный и искалеченный, печется лишь о том, чтобы его партия узнала правду!

До того как я погрузился в изучение судебного архива дела ЕАК, имя Шимелиовича мало что говорило мне, я рвался навстречу неразгаданной судьбе Михозлса, думал о людях, которых знал и любил, таких, как Квитко, Маркиш, Гофштейн или Зускин, чувствовал перед ними святой долг человека уцелевшего, не разделившего их участи. Сегодня я смело ставлю доктора Бориса Шимелиовича рядом и вровень с Михозлсом, ставлю его впереди всех несломленных, мужественных и сильных.

*«В первую же ночь моего ареста, — исповедуется доктор «гражданину председателю», — в присутствии секретаря-полковника (он был в гражданском, но*

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 4.

сотрудники называли его полковником) министр Госбезопасности задал мне вопросы:

а) Расскажите о высокопоставленных ваших шефах. — Ответ мой был: Не знаю.

б) Кто главный еврей в СССР? — Ответ мой: Не знаю (и действительно, за все годы существования Советской власти никогда на этот вопрос я бы ответить не смог).

в) Ну, а кто из евреев занимает самое видное место в партии, даже член Политбюро?

Я ответил: Лазарь Моисеевич Каганович. (Министр сказал, обращаясь ко мне: а говорите, что не знаете, кто главный еврей в стране.)

г) Расскажите об этом высокопоставленном вашем шефе. — Я ответил, что мне известно, что Михозлс и Фефер посетили его два раза (Л.М. Кагановича).

д) Расскажите о втором вашем шефе, о Жемчужиной.

Я сказал то, что вчера, 5 июня (1952 года), рассказывал на суде: что познакомился с ней несколько недель тому назад на сессии Московского Совета, что она посещала ГОСЕТ, что Михозлс о ней тепло отзывался как о человеке; такой же отзыв о ней я слышал и от директора фабрики «Ява» Ивановой (указал это, т.е. то, что я знал и что говорил министру Госбезопасности и при следующих вопросах, ни при каких обстоятельствах другого я не произносил, ибо другого я не знал).

е) Расскажите о Погурском.

Погурского, брата Жемчужиной, я не знал, тогда не знал и фамилии такой, и ничего не ответил, как не мог что-либо добавить о Жемчужиной.

Министр сказал: побить его! (т.е. меня...)»

Нетрудно почувствовать, как зловонная атмосфера антисемитизма заполняет этажи Инстанции, поднимаясь все выше: не будучи уверен в полной поддержке Сталина, в их абсолютном единомыслии по этому пункту, министр госбезопасности не решился бы говорить в таком издевательском тоне о члене Политбюро, портреты которого среди прочих украшали колонны демонстрантов на Красной площади. Допрашивая при-

людно (а соглядатай предполагался непременно в самом узком кругу!) преступника, антисоветчика, изменника, министр называет Кагановича не просто «главным евреем» (в контексте следствия это глава буржуазных еврейских националистов), но и «шефом», «высокопоставленным шефом», «первым шефом», ибо арестованная уже Жемчужина названа «вторым вашим шефом». Министр, что прямо следует из слов доктора, и «при следующих допросах» возвращался к тем же фигурам — Кагановичу и Жемчужиной. Наглядное свидетельство того, насколько высоко и невозбранно шагнул государственный антисемитизм.

В ту же ночь подполковник Шишков, пригласив в кабинет нескольких следователей, вдохновленный приказом министра — «Побить его!» — принялся за истязание Шимелиовича.

*«...Тут я впервые услышал многократно: «Все евреи — антисоветские люди». И наконец: «Все евреи — шпионы!» Впоследствии на допросах у подполковника Шишкова я неоднократно слышал от него, что «евреи все до единого, без исключения шпионы». За что я и расплачивался большей частью резиновой палкой немецкого образца, ударами по лицу кожаной перчаткой, постоянными ударами носком сапога по бедренным костям. Все это делается методически, с перерывами по часам. В перерывах следователь Шишков изучает по первоисточникам Ленина и Сталина для сдачи зачетов. Изучает также и Рюмин во время допросов...*

*Я расплачивался за то, что все евреи — антисоветские люди, все евреи без единого исключения — шпионы; что резиновые палки производит Израиль [не мог проверить, но очень сомневаюсь, памятуя, что речь идет о 1949 году; скорее всего, это импровизация задохшегося от злобы антисемита. — А.Б.], их сюда импортируют, чтобы избивать еврейскую гниль; за то, что евреи считают себя умнее других, но наконец-то попали в МГБ, в «святая святых»; за Каплан, которая стреляла в Ленина, потому что она еврейка...*

*P.S. Не выполнено только неоднократно обещанное Шишковым и другими: погвесить меня*

г о л о в о й в н и з (умереть не дадут, будет врач при этом). Не выполнена также неоднократная угроза Рюмина, во втором туре, после моего заявления от 15 мая 1949 года [отказ от единственного признательного протокола Шимелиовича, от подписи, полученной у него, теряющего сознание. — А.Б.], — угроза отправить меня на Канатчикову гачу.

6 июня 1952 года

Шимелиович».

Честного, не совершившего ничего противоправного человека судят (и убивают!), и не в последнюю очередь за надуманное стремление «буржуазных националистов» обособиться, выделиться из семьи народов, противопоставить себя именно как народ другим, но при этом с каким озлоблением, с какой выношенной ненавистью, с какой фальшивой видимостью духовного обоснования сами судьи выделяют и обособляют е в р е я, просто еврея, каждого еврея, как заговорщика, святотатца и гниль!

Пытаясь сохранить лицо некоего гуманного арбитра в палаческом застенке, арестованный Рюмин солгал военюристам, заявив, что с передачей ему дела Шимелиовича от Шишкова «избиения прекратились». Шишкову — а он обрушил на доктора побои, неистовые до задышливости от переполнявшей его ненависти, побои, не знавшие передышки ни днем, ни ночью, побои с приглашением других следователей потешить нетерпеливую руку, оставить и свой след на этой еврейской плоти, — Шишкову все же не удалось сломить волю Шимелиовича. Преуспел в этом именно Рюмин, доведя подсудимого до состояния невменяемости. («При неясном сознании», — напишет доктор, приученный к точности диагнозов, в заявлении от 15 мая 1949 года, отказываясь от фальшивки.)

Рюмин, защищаясь, упирает на то, что показания нескольких других арестованных и свидетелей совпадают с признаниями Шимелиовича: как быть с этим?

Для пришедшего в себя, отбросившего страхи (а компромиссов он и не признавал!) Шимелиовича нет вопроса:

*«Показания других обвиняемых я объявляю ложными. Показания свидетелей также считаю ложью и клеветой. Даже если мне подсунут бумаги, в которых будут изложены мои выступления антисоветского характера и содержания, то я заранее заявляю, что правильность этих документов я буду оспаривать... Преступной деятельностью я никогда не занимался и не считаю ни в чем себя виновным».*

*«— Вы знали, что Шимелиович потом отказался от своих признательных «показаний»? — спросили у Рюмина на допросе 2 июля 1953 года, когда уже была разоблачена и затеянная им провокация — дело врачей-убийц.*

*— Да, он писал специальное заявление, отказываясь от своих показаний.*

*— И обвинял в фальсификации вас?*

*— Протокол допроса, о котором идет речь, я записал со стенографисткой, получилось около 66 страниц. Стенограмму просмотрел Абакумов, по указанию Абакумова в протокол было записано, что статья, направленная Шимелиовичем в Америку, содержала информацию шпионского характера<sup>1</sup>. Шимелиович настойчиво не хотел подписываться и просил исключить слово «шпионского». По указанию Абакумова были у с и л е н ы также показания в отношении Шейнина и Жемчужиной, а также о создании Еврейской республики в Крыму; в нашей редакции это расценивается как акт, рассчитанный на отторжение Крыма от СССР...*

*— Протокол Шимелиовича направлялся в Инстанцию?*

*— Да, направлялся.*

*— А о его заявлениях об отказе от показаний в Инстанцию сообщалось?*

*— Лухачев докладывал о них Абакумову, но общал ли он об этом в Инстанцию, мне неизвестно»<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Обычная статья об истории Боткинской больницы.

<sup>2</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 5.

В отказном заявлении Шимелиович писал: «Протокол составлен подполковником Рюминым в мое отсутствие, и никогда я не произносил того, что записано в нем... Рюмин показал мне ключ от сейфа и сказал, что никто никогда в жизни не прочтет этот протокол»<sup>1</sup>.

Понимая, что в руках военюристов оказались все документы, Рюмин вынужденно подтверждает, что «...еще в период следствия многие арестованные полностью или частично отказались от своих показаний. Помню, что Лозовский еще в 1950 году заявлял об этом. Аналогичные заявления в тот же период делали Юзефович, Шимелиович и другие арестованные... После того как мною был составлен «обобщенный» протокол допроса Шимелиовича, по указанию Абакумова этот протокол был откорректирован в так называемой «кухне» Бровермана; показания Шимелиовича по ш п и о н а ж у, а также относительно создания Еврейской республики в Крыму были с л и ш к о м у с и л е н ы... Должен признать, что в 1952 году, когда я являлся уже заместителем министра Госбезопасности, я запретил передопрашивать арестованных и записывать [т.е. фиксировать в деле. — А.Б.] их отказ, заявив, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее». Далее последовало признание, обличающее в Рюмине одного из самых главных виновников трагедии 12 августа 1952 года: «Признаю также, что, когда суд пытался возвратить это дело на доследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в нем материалам...»<sup>2</sup>

Рюмину это удалось потому, что Инстанция, вся Инстанция — от Шкирятова до Маленкова и Сталина, — смотрела на судимый еврейский народ теми же глазами, что и Рюмин, Комаров, Шишков и министр Абакумов. «Ведь приговор по этому делу апробирован народом, — возмутился Маленков, когда возник конфликт между Рюминым и судьей Чепцо-

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же, лл. 6, 7, 8.

вым, — *этим делом Политбюро ЦК занималось три раза...*»

Задумаемся: высший властный орган страны, именно страны, а не только партии, три раза занимается делом выдуманном, не имеющим под собой реальной почвы и трижды подтверждает свою волю: еврейских националистов — к расстрелу. Маленков не сразу гневно обрушился на генерал-лейтенанта Чепцова, а только после доклада Сталину. Его капризная воля прочитывается и в такой подробности, как монаршее помилование Лины Штерн: такое мог себе позволить только он. Пусть сограждане поломают голову над этим парадоксом.

Министр госбезопасности не делает тайны из того, что выслеживает евреев, подозревает их, и только их, хватает без санкции прокурора, велит унижать и избивать их с самого начала следствия, а то и до знакомства следователя и подследственного — вина на них непременно найдется, не может не найтись, ибо она в них самих, в их вере, в их генах. В продолжение следствия министр и его подручные будут справляться — злоеще и будто невзначай — о сотнях наших сограждан, и о знаменитых, как, например, Марк Донской и Илья Эренбург, и о безвестных, о живых и об умерших. О врачах и актерах, поэтах и писателях, ученых и генералах, художниках и инженерах, но всегда и неизменно — о евреях, только о евреях, словно лишь от них и надо спастись, уберечься, только от них закрыть родную землю. Еврейское имя в представлении активистов Лубянки — реальная улика и основание для подозрения.

Невольно на память приходят рапорты гитлеровцев, командиров айнзацгрупп: убито, сообщали они, столько-то коммунистов, партизан, военнопленных и столько-то... евреев. Евреи — отдельная графа отчетности, враг, объединенный даже не вероисповеданием, а лишь кровью.

Действуя в мирные дни, не имея официальной команды на бессудное уничтожение, органы госбезопасности, как они обнаруживают себя в деле ЕАК, исходили из тех же «идейных» посылок. «Все евреи — шпионы!» не случайная обмолвка следователя Шишкова, это «фирменный знак», девиз следствия



по делу ЕАК, исповедание веры десятков следователей.

Надругательство над национальностью выросло до таких масштабов, что даже полковник Шварцман, один из наиболее жестоких и лицемерных в бригаде Лихачева, решился на бессмысленный протест. Высокомерный Лихачев, всегда заботившийся о дистанции между собой и серой следовательской скотинкой, припомнил осенью 1951-го, что Шварцман пожаловался ему на следователей Сорокина и Рассыпнинского, соревновавшихся в юдофобстве. *«Шварцман как-то особенно переживал расследование этого дела, — заметил Лихачев, — и, как видно, проявлял интерес к ходу следствия. Уцепившись за какую-то фразу следователя на одном из допросов, касающуюся национальности арестованного, Шварцман сделал вывод о не-объективности расследования и пошел к Абакумову»*<sup>1</sup>.

Чрезвычайное происшествие: еврей-следователь, послушный исполнитель приказов, терпимый к любым беззакониям, тут, задетый за живое, сорвался, донес на коллег, а министр, вместо того чтобы гнать Шварцмана в шею, выговаривает распоясавшимся хлопцам.

*«Меня и Комарова вызвал Абакумов, — вспоминал Лихачев, — и заявил, что ему сообщил Шварцман о том, что якобы следователи допрашивают этих арестованных не как п р е с т у п н и к о в, а к а к е в р е е в... Абакумов дал указание мне и Комарову, а затем и следователям, чтобы по делу вели следствие аккуратнее, что это щ е п е т и л ь н о е дело... и не нужно давать никаких поводов для разговоров погодного рода»*<sup>2</sup>.

Какие точные, подходящие к случаю слова произнес министр: «аккуратнее», «щепетильное дело» — в них даже не нагоняй, не выволочка, а добрый совет «пахана», напоминание о том, что угодная рюминым и лихачевым «справедливость» еще не восторжествовала, палачествовать можно со страстью, но поосмотрительнес — на все свое время и свой час! Вычитываю в протоколах часто мелькающие имена насиль-

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, лл. 37—38.

<sup>2</sup> Там же, л. 37.

ников, другого слова не подобрать, — Гришаева, Комарова, Рюмина, Лихачева, Сорокина, Рассыпнинского, Жирухина, Герасимова, Лебедева, Кузьмина и других, — нахожу их в припрятанных под спудом протестах и заявлениях арестованных, во взаимных их обвинениях после арестов 1951 и 1953 годов и не нахожу среди них справедливых, способных вести следствие честно, по закону (даже по закону тех лет!), а не п р и б р а т ь к н о г т ю ненавистную им и их высоким шефам «еврейскую гниль».

Таково важное, выходящее за рамки национальных проблем свидетельство гнилостного распада сталинской аппаратной верхушки, идейного перерождения поколения вождей, даже если некогда оно публично и исповедовало интернационализм и социальную справедливость. Рукой, уставшей от мордобоя, перелистывали страницы п е р в о и с т о ч н и к о в, стараясь запомнить железные сталинские постулаты углубления классовой борьбы, пролетарского интернационализма, высокой миссии строителей нового мира, и издевались над арестованными по всем правилам расизма.

Каким карающим моральным контрастом, приговором этому насилию прозвучало на суде последнее слово Шимелиовича: не смирение, не мольба о снисхождении, о сохранении ему жизни, а полное достоинства слово гражданина. Забота о будущей жизни и страдальцах будущего.

*«Я прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме телесные наказания... Я прошу устранить зависимость тюремной администрации от следственной части... Я прошу привлечь к строгой ответственности некоторых сотрудников МГБ. Я никогда не признавал себя виновным на предварительном следствии... Моя совесть чиста, и этим людям из МГБ не удалось меня сломить... Я хочу еще раз подчеркнуть, что в процессе суда от обвинительного заключения ничего не осталось. Все, что «добыто» на предварительном следствии, было продиктовано самими следователями, в том числе и Рюминым».*

И самые последние, трепетные слова, величия которых не понял бы никто из палачей, три года терзавших доктора; чтобы понять и принять их, нужно

иметь не только совестливый ум, но и мудрое сердце. Я люблю жизнь и чист перед ней, мог бы сказать Шимелиович, но он произнес слова, которые надо бы помнить всем, кто когда-либо давал клятву Гиппократу:

*«Я очень люблю свою больницу, и вряд ли кто другой будет ее так любить...»*

Убежден: не позволяй Сталин Абакумову уничтожить Михозлса в январе 1948 года, арестованный, он защищался бы и обвинял своих палачей с такой же силой и умом, как и Шимелиович. Фефер, назвавший доктора первоистепенным консультантом Михозлса, конечно, имел в виду не какое-то их сотрудничество — его не было и в помине, — а близость и духовное родство двух сильных, точнее сказать, могучих характеров. Жизнь Михозлса уже распорядились преступники, это облегчило страшный следственный путь Фефера, самый мучительный из всех. Теперь самым неудобным оставался Шимелиович. Даже с Лозовским Феферу было поначалу куда проще: позади у Лозовского столько прегрешений, покаяний, исключений, такая шкoла партийной самокритики, такое неременное повинование фантому бoльшинства, столько колдобин на пути — профсоюзных и коминтерновских, — что он должен был оказаться легкой добычей следователей — ведь он уже прошел через наждачные ладони Шкирятова.

Так оно и было поначалу.

## IX

Академика Лину Штерн арестовали необычно. Приехал военный чин в штатском, сказал, что ее приглашает на собеседование министр государственной безопасности.

Так она и укатила из дому; обыск, изъятие сотен писем на разных языках и театрального лорнета, другие формальности — все уже без нее. Отныне она в камере Внутренней тюрьмы, потом в Лефортове и снова на Лубянке. Всякую неделю, после первого месяца «работы» с Рассыпнинским, все новые и новые следователи, попытки сбить ее со спокойного тона меняющимися физиономиями допытчиков. Рассып-

нинский, Жирухин, Герасимов, Цветаев, Рюмин, Комаров, Меркулов, Погребной, Кузьмин и другие — то ругатель, брызжущий слюной в юдофобской истерике, то зловеще многозначительный тип, то презрительный, не скрывающий брезгливости к сторбившейся маленькой еврейке, старой деве, родившейся в далеком 1878 году.

В середине 30-х она, уже в ореоле мировой славы ученого, переехала в Советский Союз по приглашению академика Баха и даже вступила в 1938 году в партию.

Никому не удастся выбить ее из колеи. Правило ее жизни, ее спасение, ее рыцарские доспехи — прямота и правда.

Следственное дело фиксирует портрет Лины Штерн, способный порадовать антисемита: «...рост очень низкий [и правда, даже не понурившись, не придавленная бедой — 154 сантиметра. — А.Б.], полная, нос большой, толстые губы [при маленьком, детском рте! — А.Б.], шея короткая», под низким лбом карие воинственные глаза, — Абакумов поразился при появлении женщины-академика.

В книге Эстер Маркиш сохранилось собственное свидетельство первой встречи арестованной с министром.

*«Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:*

*— Нам все известно! Признайтесь во всем! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!*

*— Я впервые это слышу, — сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.*

*— Ах ты старая блядь! — выкрикнул Абакумов.*

*— Так разговаривает министр с академиком... — горько покачав головой, сказала Лина Штерн»<sup>1</sup>.*

Короткий диалог, записанный со слов Штерн Эстер Маркиш, следовало бы поставить эпиграфом ко всей тюремной драме Лины Штерн. В нем заявлены прямота и бесстрашие женщины перед опасностью уничтожения и неистовством министра.

<sup>1</sup> Э. Маркиш. Столь долгое возвращение..., с. 314.

«Старая блядь!» Чины, находившиеся в кабинете Абакумова, приняли эту «формулу» как рабочую — с тем и начал ее допрашивать Рассыпнинский. За короткое время он 87 раз вызывал ее на допросы и оставил беглый, мало что значащий след только в 17 протоколах. Анатолий Филиппович Рассыпнинский, совсем нестарый еще человек (родился в 1909-м), спустя три года после суда, стоя перед военными юристами, о деле ЕАК и обвинениях против Штерн заявил: *«В настоящее время я не помню, в чем конкретно обвинялись Зускин и Штерн»*<sup>1</sup>. Замечу, кстати, что ни один из следователей, опрошенных военюристами из комиссии по проверке дела ЕАК, не смог вспомнить, в чем конкретно обвинялся его подследственный, какое именно преступление ставилось ему в вину.

Лина Штерн ошеломляла следователей. Она давала показания без утайки, словно бы с облегчением и радостью, что вспоминает дорогое сердцу прошлое, что говорит правду, что ей нечего скрывать и нечего стыдиться за все 70 прожитых лет.

Письмо Лины Штерн к Полине Семеновне Жемчужиной?

Как же, как же — было такое. Собственно, ее просьба адресовалась Молотову; оставалось мало времени на оформление выездных документов для нее и двух ее учеников — Кассиля Г.Н. и Амираговой-Куусинен М.Г. — в Австралию, в Сидней и Аделаиду. Надо было помочь, подтолкнуть, ей нужны были ассистенты для демонстрации некоторых опытов, разработанных в руководимом ею Институте физиологии...

Нетрудно вообразить бурю подозрений, всплеск негодования и зависти в душах следователей: мало им США и Мексики, Канады и Англии, подай и невообразимо далекую Австралию, да еще с ассистентами, с челядью, — а для чего? Чего ради? Не иначе, как для нового сговора, нового nepoтpeбcтвa!

Откуда знакомство с Жемчужиной?

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 202.

Познакомились в сорок пятом году на приеме, который Жемчужина давала по случаю пребывания в стране мадам Черчилль.

Старуха будто нарочно злит их: сказала бы «на каком-то дипломатическом приеме», а она называет супругу Черчилля, злейшего врага Сталина и России.

Поездка в Австралию была необходима? Зачем?

*«...Для возобновления связей с зарубежными учеными, которые я до войны очень усердно поддерживала...»*

Смеется она над ними, что ли? Другие подследственные как огня боятся этих формулировок: «возобновление связей», «поддерживание связей» и т.д., а она сама выкладывает.

*«— Вы родились в Либаве, в Литве, т.е. в бывшей России, в богатой купеческой семье, вы действительный член Академии медицинских наук, а в анкете писали: родина — Женева?»*

*— Родиной всегда считала Женеву. В 1917 году я была профессором Женевского университета, заведовала кафедрой физиологической химии... [Теперь и она недоумевает: чего тут не понять? — А.Б.] Отец был богат, живя в Кёнигсберге, он экспортировал зерно из России в Германию. Но детство я провела в семье деду, он был раввин и воспитывал меня в религиозном духе... Я с детства изучала Талмуд и в познании еврейской религии подавала довольно большие надежды...»*

Нашла чем похвалиться! Это уже не просто национализм, а махровый сионизм!

*«— Вы сознательно продвигали по службе врачей-евреев?»*

*— Только в меру того, чего они заслуживали как ученые. [Вот на этом ей бы остановиться из предосторожности, но нет, ей подавай всю правду, как она ее понимает. — А.Б.] Мириться с их дискриминацией я тоже не могла, и не моя вина, что в 1943 году, когда я направила на имя Сталина письмо о г и с к р и м и н а ц и и в н а у к е е в р е е в, кто-то из отчаявшихся стал думать обо мне как о яркой, безоглядной их защитнице...»*

Упоминание Сталина сдерживает следователя: кто знает, не ответил ли старой ведьме Сталин, стоит ли разрабатывать эту тему?

А Штерн тем временем излагает свое кредо:

*«...Достижения науки не должны оставаться в тайне от человечества: особенно широкие связи у меня были с сотрудниками английского, австралийского, датского, бельгийского и румынского посольств...»*

Черт бы побрал этот местечковый, черствый, несъедобный «колобок», с ее откровенностью и букетом посольств! Иной раз месяцами бьешься, чтобы вывести арестованного на самое малое признание о связях с посольскими сотрудниками, а тут только пиши, записывай.

*«Я действительно проповедовала в науке космополитизм, — без понуждения, с каким-то даже хвастовством признается Лина Штерн. — Точнее, я считала и считаю, что наука должна стоять вне политики. В своем окружении я говорила даже так: наука не должна знать родины. После суда чести над Роскиным и Ключевой я, к сожалению, прекратила многие общения с иностранными учеными; но науке это приносит вред».*

На прямые вопросы, когда ее завербовали «сионисты» из Академии наук СССР и не собиралась ли она бежать за границу, Штерн терпеливо объясняет, что никогда не собиралась уезжать в Палестину, но такой отъезд не считает грехом и, хотя она никогда не была сионисткой, она *«симпатизирует образовавшемуся в Палестине еврейскому государству Израиль».*

Человек умный, но и простодушный, она не подозревала, что уже долгое время за ней следят. Часто стала захаживать в дом некая гражданка Антохина, кажется, как определила Штерн, из службы «управления коменданта Московского Кремля»; приходила, собственно, не к ней, Штерн, а к ее домработнице Екатерине Яковлевне Лопаткиной, замечательной женщине из крестьян Тульской губернии, нянчившей до революции детей одного из сыновей Льва Толстого... *«Знакомых у меня было много».* Лина Штерн называет имена так, будто еще не пролилась кровь Христиана Раковского, Рыкова и его жены Нины Семеновны и других, растоптанных Сталиным. Евгений Викторович Тарле — знакомый еще с 1928 года, их

познакомили в Париже, на квартире у дочери Плеханова, Лидии Георгиевны. Так и мелькают имена академиков — Волгина, Завадского, Шмальгаузена, — имена профессоров, кремлевских лечащих врачей. И не к чему допытчикам придраться, о каждом, даже казненном, Лина Штерн говорит уважительно, каждому отдает должное...

«— А помните, в ГОСЕТе, при посещении театра Голдой Меерсон<sup>1</sup>, там вывесили голубое полотнище с изображенным на нем сионистским знаком? Вы были при этом, — не спрашивает, а обвиняет следователь.

— Да. Звезда Давида. Это — символ, герб, как у нас серп и молот. Не встречать же посла государства Израиль двуглавым орлом».

Следователь подбирается к Якову Гильяровичу Этингеру, ищет «сионистов» во врачебных кругах, среди знаменитостей, среди тех, кто имеет отношение к лечению и обслуживанию руководителей страны, и все зря, на все — прямые, открытые ответы, добрые, похвальные характеристики.

Все, что я тут привожу, взято не из одного допроса, пусть даже и большого «обобщенного протокола». Здесь ответы из допросов 8 и 10 февраля, 7 и 28 марта, 19 апреля и 7 июля 1949 года. Тем дороже и прекраснее, что, проходя месяц за месяцем через все тяжкое, оскорбительное, через унижения и голод, Лина Штерн всегда верна себе, не поддается ни шантажу, ни психологическому давлению.

Однажды ее допрос приобрел странный, с оттенком трагифарса характер. Полковник Герасимов настойчиво допытывался, по чьей протекции в штат института, руководимого Линой Штерн, приняли некую Зубкову, жену еврея, назначив ее, всего лишь кандидата наук, заведующей биохимической лабораторией. Герасимов долго ходил вокруг да около и наконец спросил напрямик:

«— Скажите, у ее мужа, Моисея Гитлера, часто бывает периоды подавленности, депрессивного состояния?»

Штерн только руками развела.

---

<sup>1</sup> Будущий премьер-министр Израиля Голда Меир, тогда — посол в нашей стране. — Прим. ред.



— Высказывает ли он в состоянии депрессии антисоветские взгляды?

— О каких-либо антисоветских проявлениях со стороны Гитлера я данными не располагаю.

— Скажите, Гитлер являлся бундовцем?

— Принадлежал ли когда-либо Гитлер к Бунду, я не знаю»<sup>1</sup>.

За что же судили академика Штерн? За что, если не считать национальность Штерн достаточным основанием для преследования?

Мы уже знаем, что Рассыпнинский, тиранивший Лину Штерн изо дня в день первый месяц ее заключения, не смог ответить на такой простой вопрос. Ничего угрожающего для него в этом естественном вопросе военюриста не было. Не сумели бы ответить и девять других следователей, «мотавших» Лину Штерн все годы следствия.

Но вот ей поставили в вину эпизод, случившийся на заседании президиума ЕАК, эпизод ничтожный — как ни перетолковывай его, не отыщешь тут криминала.

Эпизод включен в Обвинительное заключение по делу ЕАК, утвержденное Постановлением подполковника Гришаева (28 марта 1952 года), и относится прямо к Лине Соломоновне Штерн. Но прежде об общей политической и гражданской ее характеристике, как она сложилась по окончании следствия.

«Штерн, являясь выходцем из классово чуждой среды и получив воспитание за границей, враждебно относилась к Советскому строю. Лакейски угодничая перед буржуазным Западом, она проповедовала в науке космополитизм и утверждала, что советская наука должна стоять вне политики»<sup>2</sup>. Впрочем, не более содержательны с юридической точки зрения и схожие пункты обвинения ряда других подсудимых. Так, Вениамин Зускин, поставленный во главе ГОСЕТа после убийства Михозлса, не пробывший в должности художественного руководителя и семи месяцев — месяцев отчаяния, растерянности, безвременья, —

---

<sup>1</sup> Допрос Л. Штерн от 28 марта 1949 года.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. X, л. 160.

подведен к казни за то, что «еврейский театр ставил главным образом пьесы, воспевающие старину, еврейские местечковые традиции и быт, возбуждавшие у зрителей националистические чувства»<sup>1</sup>. Примерно с таким же «веским» основанием можно было бы судить любого русского режиссера за увлечение пьесами А.Н. Островского, А.К. Толстого, Голя или Фонвизина! Так, Перец Маркиш должен был понести уголовное наказание за то, что в 1945 году «...имел несколько встреч с приезжавшим в СССР американским разведчиком Гольдбергом, которому передал сведения о положении и настроениях еврейских писателей в СССР»<sup>2</sup>. И ничего более, никакого состава преступления!

Но даже и в этой следственной мизерии не обошлось без откровенной лжи. Утверждения Штерн, что наука должна стоять вне политики, относились к подлинной, фундаментальной науке, а не к тому, что имели в виду следователи, говоря о «советской науке». Штерн не относила к науке «писания» не только Емельяна Ярославского или Минца, но и сочинения Бухарина или Радека. Она не скрывала своего, всего лишь терпимого отношения к языку идиш и убежденности в важности и необходимости изучения именно иврита для сохранения и подъема национальной культуры.

«В кругу своих знакомых, — сказала Лина Штерн, — я высказывала взгляды о необходимости сохранения древнееврейского языка и культуры». Следователь с ловкостью базарного наперсточника рядом со словом «взгляды» вписывает другое слово — «националистические», упорствует, настаивает на своем, и тогда Лина Штерн дописывает новое окончание фразы: «...но активной националисткой я себя не считаю».

2 августа 1947 года состоялось внеочередное заседание президиума ЕАК с единственным вопросом в повестке дня: «О погромах в Англии». Функционерам ЕАК Феферу и Хейфецу в ЦК приказали отреа-

<sup>1</sup> Там же, л. 177.

<sup>2</sup> Там же, л. 185.

гировать на события, обрушить огонь критики на ненавистное Сталину лейбористское правительство Моррисона, заодно пригрозив кулаком зарывающемуся Трумэну и всем «продажным воротилам западной политики». Шло стандартное, законопослушное обсуждение, произносились речи, исполненные гнева и высокого советского патриотизма, отыскивались самые уничижительные слова для британских л и б е р а л о в, только и оставалось, что поставить подписи под письмом, но тут раздался уверенный голос Лины Штерн; я процитирую ее выступление по тексту протокола заседания:

*«Мне хочется знать, есть ли у нас более точные сведения о характере этих погромов. Мы собираемся предпринять здесь очень серьезный шаг — послать воззвание ко всем демократическим силам мира. Есть ли у нас такие подробные сведения о событиях в Англии? Меня интересует, из каких источников они получены. Мы должны опираться на очень точные сведения. У нас существуют еще и другие антифашистские организации: Антифашистский комитет советских ученых, Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет молодежи. Мне думается, что наш протест должен быть не только против погромов; если мы будем протестовать как евреи против еврейских погромов, то этот документ будет звучать не с той силой, с какой ему следует звучать. Мне кажется, что надо объединиться с этими антифашистскими организациями с тем, чтобы они также подписали этот протест, тогда наш голос будет звучать против р е а к ц и и вообще, против возрождения фашизма»<sup>1</sup>.*

Так Лина Штерн преподавала коллегам, а вместе и Лубянке тоже, предметный урок здравого смысла и политической трезвости. Вспомним: одно из самых тяжелых, объемлющих всё и вся обвинений в адрес деятелей ЕАК — это обвинение в преступном стремлении отгородиться от человечества, обособиться, вести счет только «еврейским жертвам» и от лица ев-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXIV, л. 179.

реев; но Лина Штерн предложила возвысить общий голос против фашизма.

Судя по всему, ею были сказаны и другие слова, печальные и осуждающие. Они-то и легли в подтекст последовавшего взрыва. *«Когда мы обсуждали вопрос о еврейских погромах в Англии, — сказал Фефер на очной ставке со Штерн 10 марта 1952 года, — Штерн настоятельно требовала выяснить действительное положение вещей, заявив, что, прежде чем писать протест по этому поводу, нам следует тщательно проверить, действительно ли в Англии были еврейские погромы. Тогда же она заявила, что нужно выяснить, как у нас в СССР обстоит дело с проявлениями антисемитизма»*<sup>1</sup>.

На допросе Штерн подтвердила, что *«...отказалась подписаться под протестом против еврейских погромов в Англии: я заявила на заседании ЕАК, что сведения о еврейских погромах в Англии для меня неубедительны»*. Но поняли ее иначе: нам ли, не умеющим совладать со своим, домашним антисемитизмом, поучать англичан?! Именно так доложил по начальству и в Инстанцию заместитель ответственного секретаря ЕАК Хейфец: *«Штерн заявила примерно следующее: прежде чем протестовать против антисемитизма и погромов в Англии, следовало бы протестовать против антисемитизма в СССР. Заявление Штерн вызвало резкое по существу, но вежливое по форме осуждение председательствующего Михозлса»*<sup>2</sup>. Оскорбившись, Штерн поднялась и вышла из помещения президиума, Михозлс поспешил за ней и вернул ее.

Конфликт, казалось, исчерпан, но это только начало. Следствие, не располагавшее ничем для обвинения Лины Штерн, то и дело возвращалось к злополучному протесту против «британских погромщиков» и внесло этот пункт в Обвинительное заключение, заставив говорить об этом и суд. *«Я достаточно хорошо знаю Англию, — сказала Штерн и на суде, держась своей независимой линии. — Знаю, как там*

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXIV, л. 450.

<sup>2</sup> Дополнительные документы, т. 10, л. 47.

живут люди, и говорить о происходящих там еврейских погромах мне казалось неосновательным». Суд вновь и вновь спрашивает обвиняемых, ищет «зацепку» и в конце концов находит ее в ответе подсудимого Брегмана, того, кто вскоре выпал из процесса, заболел вследствие «чрезвычайных мер воздействия» и умер в тюремной больнице. «Слова Штерн таковы, — сказал он, — раньше чем писать протест, нужно посмотреть, где происходят погромы: я так понял ее реплику, она была двусмысленной»<sup>1</sup>.

На взгляд сотрудников Лубянки, реплика Штерн была не двусмысленной, а злонамеренной, как и все ее поведение на суде.

«— Я редактировала один медицинский журнал, — сказала Штерн в судебном заседании. — Редакция имела двух сотрудников, т.е. двух секретарей с нерусскими фамилиями. Это было в 1943 году». Штерн предложили уволить этих сотрудников. «Почему?» — спросила я. «Нужно заменить» — и ничего другого мне не говорят. Потом мне объясняют: существует такое постановление, что нужно уменьшать число евреев в редакции. Видите ли, говорит он, Гитлер бросает листовки и указывает, что повсюду в СССР евреи, а это унижает культуру русского народа...

— Кто это говорил? — спросил судья Чепцов.

— Академик Сергеев. Действительный член Академии медицинских наук, директор института. Он сказал, что есть постановление и нужно уменьшать число евреев — ведущих работников, главных врачей — чуть ли не на 90 % и т.д. Я сказала, что если так подходить, то меня тоже надо снять, у меня тоже фамилия не русская. Он ответил, что меня слишком хорошо знают за границей, поэтому меня это не касается... В тот же вечер я встретила Ярославского Емельяна на каком-то заседании в Академии, он сделал большие глаза, сказал, что ничего подобного нет и что об этом надо сообщить куда следует. Посоветовал написать И.В. Сталину... Через некоторое время меня вызывают в Секретариат ЦК ВКП(б), там находятся Маленков и Шаталин.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7, лл. 6, 7.

Маленков был очень внимателен ко мне, сказал, что мое письмо ему передал И.В. Сталин. Я заявила ему, что ни минуты не сомневаюсь, что это дело вражеской руки, что, возможно, даже в аппарате ЦК завелись люди, которые дают такие указания. Он сильно ругал Сергеева»<sup>1</sup>.

Как тут не вспомнить Абакумова, его совет своим хлопцам действовать осторожнее, осмотрительнее, помнить, что сегодня это дело все еще п е т л ь н о е!

«— Я очень доверчивый человек и не жалею об этом, — сказала на суде Лина Штерн. — Я имела счастье знать очень хороших людей, возможность видеть самых лучших людей нашей страны. У меня было впечатление, что новый мир создается в Советском Союзе, и мне очень хотелось принять в этом участие. За то, что я отказалась подписать сочиненный следователем протокол, я очутилась в Лефортове.

— Свои показания, данные на следствии, вы подтверждаете? — спросил Чепцов.

— Нет, ни одного.

— Почему?

— Потому что там нет ни одного моего слова. Я три раза переводилась из Внутренней тюрьмы в Лефортово за то, что я не хотела подписывать р о м а н а, написанного следователем.

— Там тюрьма и здесь тюрьма: какая разница?

— Там, в Лефортове, — преддверье ада. Может, стоило бы вам как-нибудь сходить туда и посмотреть, что там делается. Я не на то жалуюсь, что сидела в одиночке; лучше быть одной, чем в плохой компании. Когда я подписывала самый большой протокол [«обобщенный». — А.Б.], то я увидела, что это был сгусток из нескольких вопросов. Я сидела там, в Лефортове, в течение трех недель, когда меня в феврале вызвали сюда, на Лубянку, подписать протокол. Я пробыла здесь десять дней, но так как ничего не получилось, то меня опять увезли в Лефортово. Пол там цементный, камеры плохо отоплены...

---

<sup>1</sup> Там же, л. 16.

*питание такое, которым я не могла пользоваться... В конце концов сколько можно было сидеть, мне ведь не хотелось умирать. Я не хочу умирать и сегодня потому, что я не все еще сделала для науки, что должна сделать...»<sup>1</sup>*

После того как она за минувшие годы осознала духовную опустошенность, злобу и цинизм тюремщиков, Штерн пытается еще пробиться к сознанию и совести судей.

*«Всю свою жизнь я не умела и не хотела изображать то, чего нет. Я всю свою жизнь хотела быть правдивой, истинной. Я могла бы позволить себе роскошь, но всю жизнь прожила совершенно по-иному; я не завела себе даже семью и жила только своей идеей».*

О какой еще «идее» болтает эта уродина?! Разве у нас у всех не одна марксистско-ленинская идея победы пролетарской революции во всем мире?

*«Все мои показания, которые предъявляются мне на суде, я отмечаю, я от них отказываюсь... У меня была единственная возможность — дожить до суда, а я только этого и хотела. Я не боюсь смерти, но не хотела бы уйти из жизни с этим позорным пятном — обман доверия, измена... Я чувствовала, что дело плохо и я могу сойти с ума: а сумасшедшие ни за что не отвечают»<sup>2</sup>.*

Не сошла ли она и впрямь с ума, старуха, что на пороге казни все твердит о деле, о работе, о пользе для страны, о науке, совсем как одержимый патриот Боткинской больницы Борис Шимелиович? О Боге подумала бы! Или она так понимает смысл последней исповеди, что путает ее с суетными мирскими делами? Кто-кто, а она свое пожила, поездила, повидала землю, пображничала за такими столами, которые и высоким судейским разве что во сне виделись.

Мысль Лины Штерн парила так высоко, что не всем и разглядеть, задрав голову, — позвонки переломаются.

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же, л. 31.

*«Для меня важна работа, — сказала она в своем последнем слове. — А для хорошей работы мне нужно возвращение доверия и полная реабилитация... Моим арестом Советскому Союзу нанесен гораздо больший ущерб, чем всей деятельностью ЕАК, так как арест дал возможность дискредитировать мою работу и уничтожить все достигнутое. Я считаю эту работу новой страницей в медицине и не считаю себя вправе уносить с собой в могилу все, что я знаю...»<sup>1</sup>*

Случилось то, чего никто не мог и предположить: подписывая расстрельный приговор подсудимым, каждый из которых вполне доказал свою невиновность, Сталин вычеркнул из списка обреченных имя академика Лины Штерн.

К этой загадке я вернусь.

## Х

Провокация готовилась долго. Ее могли задумать еще до прихода Абакумова в МГБ, когда только пал Севастополь, немцы захватили полуостров и никто еще помыслить не мог о будущем выселении крымских татар. Предстояла тяжкая война, перелом в ее судьбах и только затем освобождение Крыма, завершившееся, как известно, в начале мая 1944 года. Между тем уже летом 1943 года эмиссары ЕАК, «еврейского антисоветского подполья», если верить провокации МГБ, торгуют в США крымской землей, обещают несбыточное, пресмыкаясь перед сионистскими толстосумами.

Какая сила предвидения у изменников! Какая вера в победное продвижение Советской Армии на запад!

Ицик Фефер в своих показаниях, особенно в «обобщенном протоколе» от 11 января 1949 года, подробно живописует, как прились друг другу сионисты США и советская делегация — Михозлс и Фефер. Особенно — Михозлс. Фефер находит чеканную формулу для характеристики родившейся об-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7, л. 146.



щности: *«Наши с американцами вкусы сошлись. Раньше вкусы, потом и дела».*

Наметилась, по его словам, встреча с председателем Всемирной еврейской организации — Вейцманом. К слову сказать, эта встреча, как свидетельствуют документы, была санкционирована Москвой, но Фефер, забывая о том, что всякий шаг советских представителей за рубежом зафиксирован в документах, в шифрованных телеграммах, хочет выглядеть деятелем решительным и независимым. *«У нас, — продолжает он свою информацию на Лубянке, имея в виду Михозлса и себя, — было большое желание откровенно поговорить с Вейцманом и посвятить его в планы нашего приезда в Америку. Однако, зная, что Вейцман политикан, мы боялись, что он предаст наши намерения огласке и тогда все провалится...»*

К чему могут относиться эти зашифрованные до времени планы, намерения, которые могут провалиться? Читатель скоро поймет, что соотносятся они только с одним: с так называемым «крымским проектом». Все полагают, что Михозлс полетел за океан, чтобы помочь своей сражающейся, истекающей кровью родине, собрать десятки миллионов долларов на оборону страны, мобилизовать общественное мнение мира, встретиться с выдающимися представителями культуры и науки, — ничуть не бывало! Оказывается, Михозлс со своим расторопным спутником поехали ради тайных злодейских планов...

*«— Что вы этим хотите сказать? — спрашивает следователь по дешевому следственному сценарию, ибо к этому он уже хорошо знает, что хочет сказать и что скажет Фефер.*

*— Поскольку наша встреча с Вейцманом была неофициальной, мы просили его сохранить ее в секрете. Вейцман заверил нас, что так и сделает. Но по прибытии в Англию Вейцман разболтал в печати о нашей с ним встрече».* (Еще бы: как честолюбцу Вейцману удержаться, не похвалиться, что он встретился с первым еврейским пролетарским поэтом!)

Пока ни слова о Крыме. Но вот июньская встреча с Джемсом Розенбергом, миллионером и политика-

ном, и тот дает понять, что «...хочет откровенно поговорить с ними в более подходящей обстановке».

С этого момента начинается, вернее, пишется Фефером пошлейший детектив, в котором самая гнусная и предательская роль отдается Михозлсу.

*«Спустя пару дней обед состоялся на вилле Розенберга в пригороде Нью-Йорка. За обедом, на котором, кроме нас и Розенберга, никого не было, мы информировали его о якобы тяжелом положении населения в Советском Союзе, особенно евреев, и обратились к нему с просьбой оказать нам материальную помощь... На эту просьбу Розенберг ответил: «Вы только просите, а толку от вас никакого! Помните, в связи с созданием еврейских колоний в Крыму мы ухлопали свыше 30 миллионов долларов, а что толку? Крым не ваш, вас оттуда выгнали... Сейчас вы опять просите. Американцы богаты, но имейте в виду — денег на ветер мы не бросаем и можем помочь лишь на соответствующих условиях»».*

Как надо пасть, чтобы, предав поистине высокие цели своего пребывания в союзнической стране, изобразить на потребу чинам госбезопасности и себя и великого Михозлса холуями, дерьмом, попрошайками, на которых свысока покрикивает босс! Но именно это должно придать лживой тюремной исповеди привкус правды; уж если человек пишет такое о себе, значит, что-то есть, есть!

«— Какие условия предъявил вам Розенберг? — спросил следователь.

— Американские еврейские круги, которые он в данном случае представляет, могут оказать нам помощь только в том случае, если мы отвоюем у советского правительства Крым и создадим там самостоятельную еврейскую республику. Крым нас интересует, с одной стороны, как евреев, с другой — как американцев.

— Договаривайте до конца!

— Розенберг нам прямо сказал, что Крым — это Черное море, это Турция, это Балканы...»

Не думаю, что Феферу понадобилась «кухня» Бровермана для сочинения этого сценария; до встречи с Розенбергом и даже с Вейцманом его уже то-

мили «планы» и «тайные намерения», связанные с Крымом.

*«Мы заверили Розенберга, — продолжал Фефер, — что примем все меры к тому, чтобы Крым был наш, еврейский».*

Июнь 1943 года. Кровавопролитные бои на всем протяжении огромного фронта. На полуострове хозяйничают гитлеровцы, и можно только молиться о будущем их разгроме, можно верить в победу, сражаться за нее, но на вилле под Нью-Йорком, по дешевому сценарию сексота, все уже решено: Гитлер разбит, Розенберг «с нескрываемым удовлетворением», как свидетельствует Фефер, обещает гостям, что они могут рассчитывать «не только на материальную помощь Америки», но, «в случае необходимости, на советское правительство может быть сделан американцами дипломатический нажим». Розенберг якобы тут же спросил, сколько евреев в Крыму, куда они эвакуировались, и собираются ли реэвакуироваться.

*«Такие сведения мы ему представили!»* — прихвостнул Фефер, не подумав, в каком карикатурном свете выставил себя и Михозлса: годы спустя в освобожденном Крыму с трудом и по крохам собирали сведения, которые фокусник Фефер вынул из кармана на вилле под Нью-Йорком.

Фарс не завершён. Страсти нагнетаются: «крупнейший домовладелец в Нью-Йорке» Розенберг наносит гостям новый, на этот раз гостиничный визит, чтобы сделать им выволочку. *«Пока мы вами недовольны, — покрикивает он. — Вы себя не ведете так, как должны вести настоящие евреи. Советские евреи слишком много просят и слишком мало требуют. За народ, если мы народ, надо бороться...»*

По словам Фефера, Михозлс виноватозасуетился и, оправдываясь, сказал то, что позарез было необходимо Лубянке и Абакумову: *«Раньше у нас не было легальных возможностей, а теперь, благодаря созданию ЕАК, мы эти возможности получили и их используем...»*

Так цепочка замкнулась, нет, не «цепочка», а оголенные провода высокого напряжения, несущие смерть, — у «крымского проекта» появился солидный хозяин в образе ЕАК, «заговор» набирал силу.

Потеряв чувство реальности, Фефер длит зловещую легенду, пока его не останавливает следователь, напоминая, что пора двигаться дальше, переходить к шпионской деятельности, к измене и к работе на американские спецслужбы.

На свет Божий выволакиваются благотворительные организации США, общественные деятели, руководители и активисты «Джойнта», «Агроджойнта», «Амбиджана» — «некто Будиш» и другие господа, которым, оказывается, позарез нужны секретные сведения об СССР, фотографии, статистические таблицы, которых интересуют все земли Советского Союза, от Крыма до Биробиджана и Дальнего Востока. *«Таким образом, — бодро кается Фефер, — шаг за шагом американцы прибирали нас к рукам».* Равно и «Черная книга» была задумана в эти дни, с участием Эйнштейна, с агрессивно националистической целью. *«Эта книга была задумана как националистическая атака на интернационализм, — уверял своих лубянских хозяев Фефер. — Речь шла о том, чтобы в этой книге собрать лишь материалы о зверствах немецких фашистов над еврейским населением, т.е. сделать книгу националистической. В течение шести месяцев, — подводит итоги автор крымского «сценария», — мы находились в кругу матерых разведчиков и реакционеров».*

**Мы!**

Он говорил от лица своего и Михоэлса, расчетливо отступая в тень, стушевываясь, оставляя авансцену Соломону Михоэлсу. Будь жив Михоэлс в пору следствия, в самых жестоких, инквизиторских условиях, постройка Фефера рухнула бы, очная ставка с Михоэлсом была бы концом его фальсификаторской затеи.

Фефер не мог не поехать в Минск в январе 1948 года, даже если бы на то не было приказа Абакумова: ему необходимо было почти физически ощутить, ужаснуться и ощутить, исстрадаться и ощутить, понять, увериться, что страшное п р е п я т с т в и е устранено, ощутить и, уже в следующую секунду поверив в случайность гибели Михоэлса, начать собирать в сознании и памяти строки самой большой, самой щедрой, самой возвышенной

статьи памяти Михозлса. Опустившись до самоубийственного самоговора, он переступил черту, за которой нет ничего святого. Насколько можно судить по протоколам его очных ставок с другими арестованными, он стремительно терял уверенность и твердость ответов и все более уныло, сломленно твердил о «подпольной сионистской организации», почти упрощая — без веры в успех — подследственных подтвердить, что они вместе с ним, не в одиночку, нет, с ним, раскаявшимся, состояли в этой вражеской организации.

«— Ну, признайтесь, Лина Соломоновна, признайтесь: вы ведь состояли в нашей подпольной сионистской организации...

— О чем вы говорите?! — оскорбилась Штерн. — Какой организации?

— Признайтесь, признайтесь! — клянчил он».

По утверждению Фефера, Михозлс возвращался в Советский Союз «полный решимости действовать», исполнить обещанное заокеанским боссам. «Я пойду к Жемчужиной, — якобы сказал этот сочиненный Фефером Михозлс, — сообщу ей о предложениях американцев по поводу Крыма, попрошу у нее совета. Она нам поможет».

На миг задержимся на этой смеси хлестаковщины и горячечного бреда: в здравом рассудке Михозлс отправится к жене Молотова, первого заместителя председателя Совета Министров и заместителя председателя Государственного Комитета Оборона, и сообщит ей о захватнических намерениях экспансионистов США и попросит совета-помощи! Тут бы его, Фефера, и упрятать на Канатчикову дачу — но, увы, он сочинил это в угоду Абакумову и ненавидящему Жемчужину Сталину. Устами мертвого Михозлса он возводит на нее чудовищную клевету, превращает в соучастницу преступлений ЕАК. «Проект о Крыме, — якобы сказала Михозлсу Жемчужина, — очень актуальный, и его немедленно следует поставить перед правительством». Эту поспешность Жемчужина объясняла тем, что «из Крыма уже выселены татары и, если мы промедлим, Крым может оказаться занятым...». Она сказала, добавляет Фефер, все еще со ссылкой на Михозлса, что «там, на-

*верху, плохо относятся к еврейской национальности, поэтому разрешение наших вопросов тормозится... Из всего разговора с Михоэлсом было ясно, что Жемчужина обвиняет в этом Сталина».*

Так исподволь определились вдохновители «крымского проекта» — Михоэлс и Жемчужина. Фефер стушевался, он с Жемчужиной незнаком, его усилия делу не нужны. Жемчужина в январе 1944 года почему-то говорит о «выселенных татарах», хотя Крым будет освобожден от оккупантов только спустя четыре месяца после возвращения в страну Михоэлса и Фефера.

Не Молотов и не Жемчужина вдохновили трех членов президиума ЕАК обратиться к Сталину с вопросом о Крыме в начале 1944 года. И хотя все трое — председатель президиума ЕАК Михоэлс, ответственный секретарь Шахно Эпштейн и Фефер, редактор «Эйникайт» — могли, созвав президиум, писать главе правительства от имени ЕАК, премудрый змий Шахно Эпштейн настоял на том, чтобы подписи были личные и вопрос публично не обсуждался. Шахно Эпштейн, подобно Феферу и раньше Фефера, стал сотрудником НКГБ (МГБ), и обращение к Сталину было задумано в недрах Лубянки, а подпись Михоэлса получена, когда его уверили, что инициатива в «крымском проекте» принадлежит самому правительству. Именно так оформлялась эта провокация в январе 1944 года, когда никому в ЕАК, и, разумеется, Соломону Михоэлсу, не могло и во сне привидеться выселение из Крыма татар. Абакумов же и его службы вполне могли приступить к разработке будущей акции, рискуя ошибиться только в сроках.

Фефер последовательно разрабатывает тему участия Жемчужиной в преступлениях ЕАК. Таково требование Инстанции к следствию. В подкрепление своих слов, якобы произнесенных Михоэлсом, приводится свидетельство живого Вениамина Зускина, сказанное будто бы Феферу на похоронах Михоэлса. Фефер свидетельствует: *«Жемчужина и в разговоре с ним (Зускиным) по поводу смерти Михоэлса высказала мысль, что это не случайность, его специально убили. Я спросил Зускина, кто убил. — продолжает*

Фефер. — Зускин отвечал, что Жемчужина прямо не сказала, но из разговора у него сложилось мнение, что в убийстве Михозлса повинна советская власть. Таким образом, — заключает донос Фефер, напомнив, что подстрекательство Жемчужиной тут же было подхвачено Зускиным, Шимелиовичем и Брегманом, — смерть Михозлса была пущена в оборот для наших преступных целей».

Я привожу показания Фефера, не сомневаясь в его авторстве; они лживы, но это ложь объятая страхом доброхота. За ними — страх целой жизни, служебная привычка. Творцом этой почти вдохновенной лжи оставался он сам, он писал этот «роман» искушенной рукой. Мог не знать многого, всего «еврейского проекта» и тайных его пружин, не видеть, кто потребовал принести в жертву Жемчужину и ограничится ли дело ею или «разоблачение» настигнет и Молотова; боясь и подумать о многом, Фефер решал посильные задачи, решал их с ошибками, которых по торопливости не замечала следчасть МГБ. Так, ошибкой было приписать Жемчужиной заявление о «выселенных татарах» уже в январе 1944 года<sup>1</sup> или ее прямые намеки (на похоронах Михозлса в январе 1948 года) на антисемитскую нетерпеливость Сталина. Умный и осмотрительный человек, столько лет проживший рядом с осторожнейшим Молотовым, не совершит такой глупости.

Неужели же за «крымским проектом» — пустота? Пусть американские эпизоды торга Крымом — дурно сочиненный детектив, блеф, но было же и другое: Северный, степной Крым, еврейские колонии и колхозы и еврейские колонисты, оказавшиеся дельными земледельцами. Там — брошенные при эвакуации дома, школы, опустевшие улицы поселков, старые кладбища и новые захоронения — могильные рвы и ямы, куда гитлеровцы сбрасывали сотни и тысячи убитых

---

<sup>1</sup> Правда, уже на допросе от 21 февраля 1949 года Фефер постарался исправить эту оплошность: теперь, по его словам, Жемчужина советовала ускорить просьбы о Крыме, говоря, что «из Крыма в скором времени должны быть выселены татары».

евреев. В архиве ЕАК сохранились отнюдь не секретные письма на имя Сталина и на имя Молотова. Никто и никогда уже не ответит нам, открыл ли Абакумов своим двум агентам, что «крымский проект» только подсадная утка, фальшивый манок, или уверил, что дело верное, нужно поторопиться, не опоздать, уже и наверху удивляются, чего медлят евреи...

Было, было такое документально подтвержденное посягательство на Крым, ничем от него не отмахнуться, все должно быть тщательно исследовано.

Фефер понимал, что серьезным, социально напряженным темам особое правдоподобие и укорененность придают ирония и комические подробности. В конце марта на допросе у полковника Лихачева Фефер не без юмора припомнил, что в тесном кругу членов президиума ЕАК распределялись... министерские портфели будущего еврейского государства в Крыму. «Наш президент!» — говаривал, мол, Шахно Эпштейн, льстец и агент госбезопасности, указывая на Михозлса (Михозлс и тут как манекен, как кукла из музея мадам Тюссо, им вертят, на него лгут, его наряжают, сам же он безгласен, как и надлежит мертвому!).

*«— Михозлс — президент крымской республики! Премьер-министром Шахно Эпштейн намечал себя; Шимелиович — министр здравоохранения; Трайнин Аарон Наумович — министр юстиции; Квитко — министр просвещения; Галкин — заместитель министра просвещения; Маркиш — председатель союза еврейских писателей; меня, — завершил обзор Фефер, — Эпштейн прочил председателем комитета по делам искусств.*

*— Не скромничайте, Фефер, — заметил полковник Лихачев. — Вам был обещан пост министра иностранных дел.*

Принимая игру, на ходу меняя шуточный, ернический тон, Фефер ответил:

*— Лично со мной такого разговора не было».*

Изобретение Фефера — импровизированное правительство «еврейского» Крыма — привилось: его несостоявшихся министров пытаются с пристрастием, требуют признания. С течением времени «совет министров» и самим заключенным перестает казаться



призраком: в бреду бессонных ночей, в отчаянии и прострации можно вдруг забыть, откуда пришла провокация и какая ей цена. Показания Фефера используются широко, в любом допросе они — орудие шантажа; любой из подследственных, прочитав недобрую свою характеристику и не зная, как далеко простирается клевета, переходит к самообороне, к нападкам на Фефера и, увы, Михозэlsa, которого Фефер мастерски подставляет ударам. Нетрудно представить себе отчаяние Зускина, когда ему зачитывается одна лишь фраза из показаний Фефера: *«Еврейский театр, часто говорил мне Михозэлс, был превращен нами (т.е. Михозэлсом и Зускиным) в орудие нашей вражеской работы»*. Как ужаснувшемуся, оскорбившемуся Зускину сохранить в этот час почтительность и любовь к Михозэлсу?

«Письмо трех» от 15 февраля 1944 года тщательно обдумывалось, выверялась каждая фраза. По просьбе Михозэlsa Шимелиович набросал свой проект письма, но в архиве ЕАК этого письма не оказалось, как, впрочем, и двух других — Сталину и Молотову, — сохранившихся только в ЦГАОР СССР, и это понятно: вопрос о Крыме на президиуме ЕАК не обсуждался, инициатор этой акции — МГБ — не допустил преждевременной огласки. Письма, отправленные в архив, сохранились, они почти идентичны. Из первого письма — Сталину — была опущена только одна, чисто пропагандистская фраза насчет того, что не следует давать *«лицу различным сионистским козням о возможности разрешения «еврейского вопроса» только в Палестине, которая будто бы является единственно подходящей страной для еврейской государственности»*<sup>1</sup>.

24 февраля Молотов передал текст письма Маленкову, Микояну, Щербакову и Вознесенскому, а спустя еще четыре дня, 28 февраля, Щербаков похоронил письмо в архиве.

Чего же просили у правительства три еврейских деятеля?

---

<sup>1</sup> Письма Сталину. ЦГАОР СССР, ф. 8114, оп. 1, д. 970, лл. 33—35.

*«В ходе Отечественной войны, — писали они, обращаясь к Молотову от собственного имени, — возник ряд вопросов, связанных с жизнью и устройством еврейских масс Советского Союза. До войны в СССР было до пяти миллионов евреев, в том числе приблизительно полтора миллиона евреев в западных областях Украины, Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии, Буковины, а также из Польши». Далее развивалась мысль, что возвращение тех, кто эвакуировался в глубь страны, «не разрешит в полном объеме проблему устройства еврейского населения в СССР». Авторы письма сетовали, что почти «прекратилась политико-воспитательная работа среди еврейских масс на родном языке» при существовании одного еврейского издательства, одной газеты и нескольких театров; что случающиеся «вспышки» антисемитизма «всячески разжигаются фашистскими агентами и притаившимися враждебными элементами с целью подрыва важнейшего достижения советской власти — сгруппированных народов». Письмо напоминало о том, что опыт создания в свое время Еврейской автономной области в Биробиджане «не дал должного эффекта» и что способность еврейских масс «строить свою советскую государственность» более всего «была проявлена в развитии созданных еврейских национальных районов в Крыму... Нам кажется, что одной из наиболее подходящих областей для развития этой государственности явилась бы территория Крыма... Создание еврейской советской республики... разрешило бы проблему государственно-правового положения еврейского народа и дальнейшего развития его культуры. Эту проблему никто не в состоянии был разрешить на протяжении многих столетий, и она может быть решена в нашей великой социалистической стране».*

В заключение они предлагали:

*«1. Создать еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма.*

*2. Заблаговременно, до освобождения Крыма назначить предварительную комиссию с целью разработки этого вопроса».*

Вполне утопическое, несбыточное при правлении Сталина, твердившего уже с 1913 года, что евреи не

нация и нацией никогда не станут, это письмо написано по всем стандартам времени и со слепой верой, что именно Советский Союз может и должен решить мучительную историческую задачу возвращения государственной целостности, самого статуса е д и н с т в а народу, на протяжении многих веков живущему в рассеянии.

Только Эпштейну, связанному и с Инстанцией и с Лубянкой, Эпштейну, заверившему Михозлса, что правительство ждет их обращения по поводу будущего Крымского полуострова, под силу было исполнить это щекотливое поручение властей. Во всем видна опытная рука Шахно: в том, как он сумел убедить Михозлса и опытного Лозовского, что правительство готово рассмотреть этот вопрос и ждет письма; что надо поспешить, ибо *«на предстоящей мирной конференции может возникнуть вопрос об устройстве евреев»*. Его рука — и в расплывчатости некоторых положений письма, так и не обозначившего рамки претензий на Крым — идет ли речь обо всем полуострове, или только о его северной, степной части. Особая заинтересованность Эпштейна обнаружилась и в том, что он категорически воспротивился привлечению Шимелиовича к написанию письма и настроил воинственно Ицика Фефера, встретившего в штыки текст доктора Шимелиовича. На очной ставке с Шимелиовичем 29 июля 1949 года Фефер заявил, что *«...Шимелиович представил свой проект письма, причем от него веяло таким национализмом, что мы, по совету Лозовского, вынуждены были составить письмо в другом варианте»*<sup>1</sup>.

О татарах в письме ни слова. Об их государственности, их автономии. За этим умолчанием также видится предусмотрительность Шахно Эпштейна, и, возможно, не только его. Не надо раньше времени трогать больной вопрос — будущую, быть может, уже назначенную Инстанцией кровь! Земли Крыма велики, по европейским масштабам, очень велики, больше 27 тысяч квадратных километров. Вспомним, что территория государства Израиль, в решениях

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. VIII, л. 36.

ГА ООН от 29 ноября 1947 года, было равна примерно половине площади Крыма и даже в 1948—1949 годах оказалась меньше Крыма (20,7 тыс. кв. км). Крым велик и самой природой как бы поделен на две зоны: гористую — причерноморскую — основные районы проживания татар, и степную, полупустынную северную часть полуострова. Пусть государство рассудит, как расположить в Крыму две автономии. В любом случае Михозлсу в начале февраля 1944 года не могла и в голову прийти мысль о депортации татар и о «еврейском счастье» на чужой беде!

Это бесспорно: прошло три года и в изменившихся условиях, когда преступная акция в отношении татар уже свершилась и Крым «освободили» от татар, Михозлс воспротивился новым притязаниям на эту землю, а занятая им позиция вызвала новый прилив ненависти Абакумова и желание поскорее покончить с ним.

*«Михозлс, — показал Шимелиович в феврале 1952 года, когда подходил к концу второй этап следствия, а Абакумов уже около года сидел в тюрьме, — предложив мне написать проект письма в правительство о Крыме, пояснил что э т о т в о п р о с б у д т о б ы п о г н я т с а м и м п р а в и т е л ь с т в о м... Поскольку инициатива в этом вопросе принадлежала правительству, то я ничего не видел предосудительного и составил проект письма... Что касается националистических побуждений, — продолжал доктор на очной ставке, отмечая обвинение Фефера, — то их у меня не было никогда».*

Не раз приходилось Шимелиовичу твердить следствию: *«Ни о каком преступном сговоре Михозлса и Фефера с американцами, в том числе и по вопросу о Крыме, я не знал»,* и в марте 1952 года, уже в преддверии суда, снова о том же: *«Михозлс мне заявил, что есть указание, как он выразился, с в ы ш е, представить свои соображения о замене автономной области Биробиджан автономной еврейской республикой в Крыму. Это мероприятие, говорил Михозлс далее, необходимо провести в жизнь в связи с тем, что на предстоящей мирной конференции может*

возникнуть вопрос об «устройстве евреев». Я спросил у Михозлса, что означает его выражение «указание свыше». Михозлс разъяснил, что такое указание, исходя от правительства».

Мог ли Михозлс сказать что-либо более внятное и определенное, сам двигаясь в потемках, обманутый и подталкиваемый Эпштейном и Фефером, в которых он не мог заподозрить агентов службы госбезопасности?!

Стоит задуматься над тем, почему «письмо трех» о Крыме в течение недели поменяло адресата. Писалось на имя Сталина, что вполне естественно: никто другой не мог и помыслить не то что о создании в стране новой автономии — и какой: е в р е й с к о й! — но и о серьезной постановке такого вопроса на обсуждение.

Письмо Сталину от 15 февраля 1944 года сохранилось в архиве без помет или резолюции Сталина. Трудно предположить, что письмо скрыли от него, что кто-то, не спросив генсека, осмелился распорядиться о переадресовке письма: уже 21 февраля оно, с небольшой купюрой, направлено за теми же тремя подписями заместителю председателя Совета Народных Комиссаров В.М. Молотову. Только Сталин, пробежав текст послания или выслушав сообщение о нем Поскребышева (Маленкова? Щербакова?), мог сбросить еврейскую заботу на Молотова. Но как сбросить? Сердито, раздраженно — или с притворным равнодушием, полупрезрительно, с коварным умыслом — этак небрежно, между делом — маскируя скрытый ход своих мыслей? Появись на письме резолюция Сталина или выскажись он вполне определенно, все и решилось бы так или иначе в соответствии с его волей.

Вспомним, что ЕАК с первых дней существования — «поднадзорный объект»; что «крымский проект» подброшен отнюдь не Совнаркомом и не напрямую аппаратом ЦК ВКП(б), а Лубянкой через двух своих сотрудников — Шахно Эпштейна и Фефера.

Сегодня, многое узнав о тайной службе двух руководящих деятелей Еврейского антифашистского комитета, мы можем досадовать на доверчивость Ми-

хоэlsa, недоумевать, почему его не насторожила атмосфера секретности, неадекватные, оскорбительные нападки Фефера на доктора Шимелиовича вместо благодарности ему за помощь.

Тогда все выглядело иначе: деловой х о з я и н ЕАК — его ответственный секретарь Шахно Эпштейн — и редактор газеты «Эйникайт» Фефер, два старых члена партии, завсегдатаи ЦК ВКП(б), два малосимпатичных лично Михоэлсу человека (тому есть множество доказательств), но не вызывавших гражданского недоверия, а скорее, по неизменной их партийной ортодоксальности, казавшихся Михоэлсу выразителями воли партии в ЕАК, сообщили ему о готовности правительства и лично Сталина рассмотреть вопрос о Крыме с благожелательных позиций. Как было не поверить, не подписаться под письмом, не загореться надеждой?!

Сталин, который спустя несколько лет, когда усилиями Абакумова — Фефера будет эксгумирован «крымский проект», взорвется театральным, слишком неистовым, чтобы быть натуральным, гневом («Сталин буквально взбесился!» — скажет по этому поводу Хрущев) на евреев, задумавших «умыкнуть» Крым, в феврале 1944 года коварно молчит, поручив заботу Молотову. Плод не созрел, время не пришло...

При всей высоте своего державного ранга Молотову живется неуютно. Менее всего хотел бы он заниматься еврейскими делами, всякий раз, при каждом подходящем случае убеждаясь в неискоренимости матерого уже к этой поре антисемитизма Сталина. Жена Молотова — еврейка, всегда чуждая Сталину, а после самоубийства Аллилуевой — ненавистная ему. Но Молотов — гроссмейстер осторожности — в отличие от доверчивого Михоэлса, этого простодушного мудреца, не попадает впросак. Сама осторожность, он не дает загнать себя в ловушку, не доставит этой радости ни Берии, ни Жданову, ни Маленкову и никому другому, кто хотел бы отеснить его от трона. По совету Сталина Молотов звонит в Киев Хрущеву — по собственному почину он не стал бы советоваться о Крыме с украинским руководителем, к которому всегда был не расположен и который в Крыму не хо-

зяин, а просто ближайший «сосед», — спустя годы именно Хрущев и подарит Крым Украине.

Звонок в Киев — формальный, во исполнение чужой воли. И в Москве Молотов ограничится формальными шагами, адресовав копии «письма трех» Маленкову, Микояну, Щербакову и Вознесенскому. Четыре дня спустя на оригинале письма появляется надпись: *«В архив. Тов. Щербаков ознакомлен. 28 февраля 1944 г.»*. Письмо остается полеживать в архиве, как мина замедленного действия.

Следствие с трудом поддерживало миф о притязаниях ЕАК на Крым, основываясь е д и н с т в е н н о и т о л ь к о на показаниях Фефера о сговоре Михозлса со спецслужбами США и чуть ли не с самим американским правительством. Постепенно роль Фефера в сочиненной им афере умаялась до полного исчезновения, тяжесть «преступления» перекладывалась на безответного Михозлса. *«Фефер дал мне понять, — свидетельствовала 25 марта 1949 года Эмилия Теумин, — что в получении евреями Крыма заинтересованы американцы, и Михозлс в период своего пребывания в Америке в 1943 году обязался выполнить это требование американских капиталистов»*<sup>1</sup>.

Как часто в тяжелые месяцы работы над архивом следственного и судебного дел ЕАК печаль стискивала мне сердце; угнетало бессилие защитить от поругания человека, так естественно соединившего в одном существовании художественный гений, сострадание к людям и могучую, неусыпную энергию. Как горько было убеждаться в действенности зла: стократно обманутые, истерзанные так, что позавидуешь мертвому, люди заражались подозрительностью, гневным недоверием, принимали ложь за правду, начинали верить наветам. Если малодушный, цепляющийся за жизнь Фефер, каясь, открыл свои собственные преступления, почему бы не оказаться правдой — как ни тяжело и представить себе такое! — и преступлениям Михозлса?! Люди словно увязали в трясине: мутился разум, ядовитые миазмы застилали глаза, уже не вчерашние друзья, а уродливые при-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXIV, л. 106.

зраки чудились в тюремных стенах. Их умело, виртуозно толкали к предательству, к самооговорам и клевете. Сама память о Михозлсе — сильном, решительном, полном деятельной энергии — менялась. Утрачен покой, убита надежда, поругана вера в человеческое достоинство, страх за близких истерзал сердце; до Михозлса ли теперь, до недавнего еще почитания, а то и преклонения перед ним? В конце концов, он — «счастливец», для него все уже позади, он покняжил, пображничал на пиру жизни и ушел, ускользнул от палачей, исхитрился уйти на самом пороге несчастья... Никогда еще покушение Сальери на Моцарта, говорил я себе, думая о Михозлсе и Фефере, не было столь изощренным и страшным, вдобавок еще и опирающимся на государственную власть.

*«Откуда взялись в обвинениях по нашему делу реакционные круги Америки? — вопрошал на суде ученый-международник Лозовский. — Они ведь из с е г о д н я ш н и х г а з е т, из газет 1952 года, а не 1943 года, когда Михозлс и Фефер были в США. Тогда в Америке было правительство Рузвельта, с которым мы были в военном, антифашистском союзе».* Опираясь на факты, на правительственные телеграммы, он показал, что все встречи в США, в том числе и с Розенбергом и Вейцманом, были согласованы с Москвой, каждый шаг наших эмиссаров в США был известен Молотову. С чего же началась провокация?

*«Все началось, как объяснил нам здесь Фефер, с «крымского ландшафта», а кончилось тем, что я, Соломон Лозовский, захотел продать Крым американцам как плацдарм против Советского Союза. Началось с показаний Фефера о том, что Розенберг предложил свою «формулу Крыма». Крым — это Черное море, Балканы и Турция. Потом Фефер заявил, что Розенберг не говорил этого и что это формулировка следователя... Но в памяти подследственных уже задела эта удобная формулировка: Черное море, Турция, Балканы... По мере того как допрашивались другие арестованные, каждый следователь прибавлял кое-что от себя, в конце концов Крым оброс шерстью, которая превратила его в чудовище. Так получился п л а ц д а р м, и, хотя уже не докопать-*



ся, кто первый произнес это слово, военно-стратегический п л а ц г а р м налицо. Кто-то уже додумался, что и американское правительство причастно к этому делу. Это значит — Рузвельт. Осенью 1943 года Рузвельт встретился со Сталиным в Тегеране. Смею уверить вас, что мне известно больше, чем всем следователям вместе взятым, о чем шла речь в Тегеране, и должен сказать, что там о Крыме ничего не говорилось. В 1945 году Рузвельт прилетел в Крым с большой группой разведчиков, на очень многих самолетах. Он не прилетел ни к Фефери, ни к Михозлсу и не по делу о заселении евреями Крыма, а по более серьезным делам. Зачем же нужно было изобретать формулировку — п л а ц г а р м , — к о т о р а я п а х н е т к р о в ь ю?!»

Кажется, один Лозовский трезво понимал, чем завершится этот закрытый процесс. Он не раз напоминал другим обвиняемым, перебиравшим в уме сроки, что речь идет не о сроках, а о жизни.

Но Соломон Лозовский заговорил не сразу, а пройдя многие круги отчаяния, подогреваемые ненавистью и сопровождаемые истерикой побои в четыре руки — полковника Комарова и подполковника Иванова. Так заговорил недавний член ЦК ВКП(б), расставшись с иллюзиями, не уповая больше на высшую справедливость Сталина, которого, мол, обманывают, за с п и н о й к о т о р о г о орудуют палачи-антисоветчики.

Потом придет прозрение, и обер-палач Рюмин, лично принявшийся за Лозовского с января 1952 года, будет усердствовать напрасно.

Но в феврале-марте 1949 года Соломон Лозовский повторил общую судьбу. Неотступная мысль, что нужно дожить до суда, получить т р и б у н у, пусть судебную, сказать правду — и ее услышит партия, услышит Сталин; свалившиеся вдруг горы лжи суетного, в сущности мало знакомого ему Фефера, с ловкостью факира превращающего Лозовского в главу чудовищного заговора только потому, что заговору нужен солидный, внушительный «вожак», а «вожаком» Михозлсом пришлось пожертвовать; побои и унижения заставили и Лозовского в первые дни допросов оговаривать себя по «партитуре» Фефера.

*«Да... да... Михозлс и Фефер рассказали мне, что установили связь с лидером сионистского движения Вейцманом, нынешним президентом Израиля... с миллионером Розенбергом, с крупным домовладельцем Нью-Йорка Луи Левиним...»*

*Да... по моему указанию Михозлс и Фефер составили письмо на имя Советского правительства, в котором просили передать евреям Крым...*

*Да... Жемчужина во всех еврейских националистических делах играла немалую роль...»*

Мысль о том, что он кощунственно оговорил Полину Жемчужину, будет мучить Лозовского, и в июле 1952 года, на суде, он наконец получит возможность публичного покаяния — скажет, что за все время следствия он оклеветал трех человек: себя и двух женщин.

*«...Об этих двух женщинах я сказал неправду. Это о Лине Соломоновне Штерн и Полине Семеновне Молотовой.»*

*Да... В середине 1944 года я санкционировал ЕАК командировать в Крым еврейского писателя-националиста Квитко... Вернувшись, он подтвердил, что имеется полная возможность возвращения евреев, эвакуированных на восток...»*

Следователя не устроила такая трактовка, сводящая все к возвращению в родные дома бывших жителей Крыма.

*«— Разве речь шла только об эвакуированных из Крыма? — насторожился он.»*

*— Да... На первых порах... Закрепившись на земле, ранее находившейся под еврейскими колониями, мы думали начать практическое осуществление заданий американцев...*

*— Вам это удалось сделать?*

*— Да... Наша просьба была удовлетворена Бенедиктовым, и евреи начали переселяться в Крым... Окрыленные первым успехом, мы были уверены, что получим от Советского правительства и весь Крым... Вскоре нам стало известно, что наша просьба о передаче Крыма евреям Советским правительством отклонена...»*

Так выглядит «портрет» Лозовского, писанный мастерами-«забойщиками» в первые недели допросов.

Так неожиданно затруднилось не только заселение Крыма еврейскими «массами», но даже и простое возвращение к родному порогу семей евреев — здешних аборигенов, которому теперь чинились всевозможные препятствия.

Уступка Лозовского тюремному насилию была горестна: именно эти показания легли в основу его «обобщенного протокола», он был отослан в Инстанцию, порадовал и утвердил Шкирятова и Маленкова, но прежде всего Сталина в старой истине, что волка как ни корми, а он все в лес смотрит; что еврей, даже и обласканный и вознесенный к вершинам власти, в душе — оппозиционер и антисоветчик. А Лозовскому пришлось еще 39 месяцев ждать возможности сказать правду, но, увы, не народу и не партии, как ему мечталось, а подсудимым и несколькими старшим офицерам военной коллегии Верховного суда СССР.

Достанет ли когда-нибудь у человечества милосердия, чтобы выслушать страдальцев, не спешить списывать их в общие со многими нулями списки потерявших, в трагическую статистику, но все же статистику, без живых голосов?

Лозовский упрямо вел свое обличение в заседаниях суда, а у судьи Чепцова все реже возникало желание мешать ему, хотя и не сразу пропала к этому охота.

*«Что могут сообщить о крымском плацдарме Гофштейн, Ватенберг-Островская или Зускин, а также целый ряд других почтенных людей? — не без сарказма спрашивал суд Лозовский. — Ну что могла сказать по этому поводу Штерн? Она ничего не понимает в этом, а между прочим, все они — и Маркиш и Зускин, решительно все стали в ходе следствия большими «специалистами-международниками»...»*

Генерал-лейтенант Чепцов прервал Лозовского: его здравый смысл разрушал важную позицию обвинительного заключения.

Но Лозовский настойчив:

*«Это — моё последнее слово, может быть, последнее в жизни! Мифотворчество о Крыме пред-*

ставляет собой нечто совершенно фантастическое, тут применимо выражение Помяловского, что «это фикция в мозговой субстракции»<sup>1</sup>.

«Президиум ЕАК признан шпионским центром, это — вздор. Внутри президиума могли быть члены, которые занимаются шпионажем: если Фефер утверждает, что он занимался шпионажем, то это его дело, но чтобы этим занимался весь президиум — это политический нонсенс и это противоречит здравому смыслу. Как же все-таки получились эти 42 тома [на судейском столе громоздились 42 тускло-синих, объемистых следственных тома. — А.Б.], как получилось, что все 25 следователей шли по одной дорожке?.. Дело в том, что руководитель следствия, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам полковник Комаров, имел очень странную установку, о которой я уже говорил и хочу повторить. Он мне упрямо втолковывал, что евреи — это подлая нация, что евреи — жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что евреи хотят истребить всех русских.

Вот что говорил мне полковник Комаров. И естественно, имея такую установку, можно написать что хочешь. Вот из чего развилось древо в 42 тома, которые лежат перед вами и в которых нет ни слова правды обо мне»<sup>2</sup>.

Мог ли он, даже втайне, допустить мысль, что покомаровски смотрит на еврейскую нацию и Сталин, давно убежденный в том, что вся история партии (история, которую сочинил Ярославский, а откорректировал «сам») была историей борьбы против евреев? Полагаю, что нет: такого внутреннего потрясения, такого разрушения всей своей долгой жизни, всего своего с л у ж е н и я Лозовский не перенес бы.

К фигуре Комарова он возвращается неоднократно. Объясняя суду, при каких обстоятельствах довелось ему поставить подпись под признательным протоколом от 3 марта 1949 года, он рассказал, как Комаров в течение восьми ночных допросов изнурил и

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7, л. 72.

<sup>2</sup> Там же, л. 77.

довел его до отупения, непрерывно твердя, что евреи — «подлый и грязный народ», что все они «негодная сволочь»; как обрушил на него изощренный, неслыханный, приправленный злобным антисемитизмом мат; как пообещал передать его своим «особым» следователям, сгноить в карцере, избивать резиновыми палками так, что нельзя будет ни стоять, ни сидеть.

«— Тогда я ему заявил, что лучше смерть, чем такие пытки, — сказал Лозовский, — на что он ответил мне, что мне не дадут умереть сразу, что я буду умирать медленно...

— А вы испугались? — спросил Чепцов.

— Нет, я не испугался. Далее Комаров стал спрашивать, у кого из ответственных работников в Москве жены еврейки. У нас в государстве, заявил он мне, никаких авторитетов нет, нужно было — мы арестовали Полину Семеновну Молотову... Он стал требовать, чтобы я дал показания о существующей якобы у меня связи с Кагановичем и Михозлсом, хотя я ему десятки раз доказывал, что я с ними не встречался, у меня с ними никаких близких общений не было... Я на себя наговорил (в марте 1949-го), на себя, и ни на кого другого... На себя я имел право наговорить, я хотел дожить до суда и сообщить суду обо всем. Но на других наговаривать я считал морально недопустимым.

Человек, который отрицает свою национальность, — сволочь».

Свою речь в суде Лозовский закончил фразой, которая и стала последним, обращенным к судьям и к совести каждого из нас словом:

«...Если у вас будет хотя бы пять процентов уверенности в том, что я на полпроцента изменил Родине, партии и правительству, я заслуживаю расстрела»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 255—258.

## XI

И все же «еврейский» Крым не мираж и не горячая фантазия следователей.

В 1927 году на учредительном съезде Общества землеустройства евреев-трудящихся (ОЗЕТ) обсуждался вопрос о Крыме. Речь шла не об автономии, а об устройстве жизни десятков тысяч евреев, жителей местечек и поселков вчерашней «черты оседлости», получивших с победой революции и окончанием гражданской войны вожденные свободу и равенство. Свободный человек с особой горечью ощущает безработицу, отсутствие нормальных условий для социального развития и образования — трудности, неизбежные для районов с неразвитой промышленностью. ОЗЕТ видело в добровольном переселении части евреев, жителей Белоруссии и Украины на свободные земли, в создании земледельческих колоний, артелей, коммун, индивидуальных хозяйств частичный выход из затруднений. После того как правительство пресекло и запретило эмиграцию евреев в США, Латинскую Америку и другие страны, усилилась деятельность благотворительных зарубежных организаций — «Джойнта», «Агроджойнта», ИКОР и других, — через которые приходила материальная поддержка многих социальных начинаний.

Один из обвиняемых по делу ЕАК, редактор английской редакции издательства «Иностранная литература» Ватенберг Илья Семенович, под диктовку следователя Артемова нарисовал устрашающую картину не благотворительной, а «вредительской» работы «Джойнта» против Советского Союза. Очернив и самого себя, как того требовало беспощадное следствие, объявив себя уже с 20-х годов одновременно и «оголтелым буржуазным националистом», и «бухаринским агентом», он сказал, что «лил воду на мельницу экспансионистских кругов американской plutократии еврейского происхождения, которые через свою организацию «Джойнт» еще в начале 20-х годов не только пропагандировали эту идею [идею крымской автономии. — А.Б.], но и, используя имевшиеся в СССР к концу гражданской войны хозяйственные трудности, под видом филантропии пытались заво-

*евать позиции для создания еврейского государства в Крыму... Создав «Агроджойнт», эти силы рассматривали еврейские колонии в Крыму и на юге Украины как свою вотчину»<sup>1</sup>.*

Ватенберг, возвратившийся в 1933 году из эмиграции, говоря об учредительном съезде ОЗЕТ, не мог ни на йоту отступить от ложных оценок благотворительных организаций США, оценок, извращавших реальную историю, клеймивших врагами друзей. *«На учредительном съезде ОЗЕТ обсуждались вопросы колонизации Крыма еврейскими переселенцами, причем троцкисты Ларин и Фридлянд открыто блокировались с зарубежными делегатами от буржуазных еврейских организаций и прямо поддержали идею американских магнатов о создании еврейского государства в Крыму»<sup>2</sup>.*

Следователь понуждает Ватенберга к смехотворной лжи, к признанию того, что *«магнаты «Джойнта» боролись против поселения евреев в Биробиджане потому, что на Биробиджан в ближайшие годы намеревается напасть Япония и он станет районом военных действий».* Так, превратив заокеанских филантропов в стратегов и политиков-провидцев, следователь приходит к неожиданному выводу:

*«— Значит, своей шпионской работой на Биробиджан вы оказали услугу не только американской разведке, но и японскому генеральному штабу, который, как известно, готовился в те годы к нападению на дальневосточные границы СССР?»<sup>3</sup>*

*— Получается, так...»<sup>3</sup>*

Матерому врагу и шпиону полагается, по нормам Лубянки, служить самое малое двум иностранным разведкам, меньше — не солидно!

Леон Тальми, тоже судимый по делу ЕАК и казненный вместе с Ватенбергом, журналист и переводчик, в прошлом секретарь Американского общества содействия землеустройству евреев в СССР (ИКОР), уроженец России, возвратившийся из эмиграции в 1934 го-

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XVIII, л. 39.

<sup>2</sup> Там же, л. 42.

<sup>3</sup> Следственное дело, т. XVIII, л. 66.

ду, дал в своих показаниях тому же подполковнику Артемову иную, близкую к действительности характеристику проекта, обсуждавшегося на учредительном съезде ОЗЕТ: *«Это был проект Ларина. Он состоял в том, чтобы осушить Сиваш и днепровские плавни, присоединить их к северной части Крыма и таким образом создать сплошной массив, на котором можно было бы устроить еврейские колонии и обогнать еврейскую автономную республику в Биробиджане»*<sup>1</sup>.

«Троцкист» Ларин, а с ним и деятели ОЗЕТ, как видим, не помышляют о захвате Крыма, а выдвигают план землеустройства обширной территории. Не знаю, корректен ли такой проект научно, реально ли такое осушение Сиваша и особенно днепровских плавней, не содержит ли весь проект тех же разрушительных для природы опасностей, что и многие наши начинания по части безжалостного «покорения природы», принесшие нам немало бед, — но никакого политического экспансионизма, тем более с проамериканской подкладкой, тут не было и в помине. Криминальные хитросплетения по этому поводу не что иное, как опрокидывание в прошлое взглядов и позиций политической борьбы другого времени, времени распада наших союзнических отношений с США и возврата к оголтелому антиамериканизму.

Проект не осуществился, но годы шли, и в Крыму усилиями ОЗЕТ, не без денежной и технической помощи «Агроджойнта» возникли еврейские сельскохозяйственные хозяйства в Джанкойском, Каламитском и Евпаторийском районах. Колхозники жили в достатке, строились, открыли несколько школ, по-соседски сжились с крымскими аборигенами разных национальностей. Речь идет о десятках тысяч тружеников, показавших, что еврей, на многие века отторгнутый от земли законами европейских государств, умеет быть рачительным ее хозяином и отличным земледельцем.

В отчете начальника полиции безопасности и СД о действиях в Крыму айнзацгрупп за декабрь 1941 года было уточнено, что *«общее число проживающих в Крыму евреев — приблизительно 40 000, из них в одном*

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, л. 210.



*Симферополе 10 000... Симферополь, Евпатория, Алушта, Карасубазар, Керчь и Феодосия, а также остальные населенные пункты Западного Крыма очищены от евреев. С 16 ноября по 15 декабря расстреляны 17 746 евреев, 2604 крымчака, 824 цыгана и 212 коммунистов и партизан*<sup>1</sup>.

Эвакуация мирных жителей Крыма после прорыва гитлеровцев на полуостров и стремительного его захвата была крайне затруднена, однако тысячи евреев успели спастись через Керченский пролив, по Арабатской косе в направлении Геническа, на лодках к острову Бирючий. По освобождении Крыма жителей, эвакуированных в основном в Среднюю Азию, ждали на родине пепелища, разграбленные дома, могильные рвы и единицы выживших соплеменников, спасенных местными жителями — воистину «праведниками народов мира», как назвали их авторы книги «Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации».

Вокруг реэвакуации евреев — жителей Крыма возникали сложности: естественные бытовые, жизненные сложности и нарочито воздвигаемые недругами. Вспомним, что ЕАК ни разу на своем президиуме или на состоявшихся за шесть лет пленумах комитета не обсуждал вопроса о Крыме, понимая, что он выходит за пределы компетенции ЕАК. Более того, неизбежные на эту тему разговоры среди деятелей еврейской культуры показали, что и они по-разному смотрят на проблему. Малоперспективный, как показало время, Биробиджан имел своих убежденных сторонников не только в лице Леона Тальми, опубликовавшего в 1931 году в Нью-Йорке книгу о Биробиджане. Повидавший мир живой классик еврейской литературы Бергельсон тоже стоял на том, чтобы развивать культуру народа, укреплять его государственные начала на плодородных, богатых землях Приамурья. За Биробиджан стояли Дер Нистер и Брегман, тогда как Перец Маркиш, с присущим ему неукротимым темпераментом, отстаивал преимущества

---

<sup>1</sup> Уничтожение евреев в СССР в годы немецкой оккупации. Яд Ва-Шем, 1992, с. 182.

Поволжья для привлечения туда не десятков, а сотен тысяч евреев.

Пока кипели полемические страсти, в ЕАК шли письма с просьбами и жалобами отовсюду, где затрагивались большие проблемы еврейского населения. Справедливо заметил кто-то из активистов ЕАК, что, если бы, скажем, чинилась несправедливость с какой-нибудь библиотекой в Киеве, в Москве или в Нижнем Новгороде, никому не пришло бы в голову жаловаться в Славянский антифашистский комитет, в то время как все так называемые еврейские вопросы неотвратимо направлялись в ЕАК. Отдадим справедливость уму и предусмотрительности Михозлса: посвящая все свое время жалобам и письмам, принимая «ходовков», он делал это как популярный общественный деятель, депутат Моссовета и как народный артист СССР, стараясь не связывать это с ЕАК. В последние годы, принимая посетителей и «ходовков» в своем кабинете на Малой Бронной в помещении театра, он вместе с тем словно бы отодвинул на второй план ГОСЕТ ради чужих бед и забот. И страдал оттого, что помочь удавалось лишь немногим.

Михозлс делал все, чтобы ЕАК не превратился в некий департамент по еврейским делам, но вполне уберечься от такого упрека не удалось. Однажды, под напором множющихся жалоб, приходивших отовсюду в его адрес, ЕАК по инициативе Михозлса обратился с официальным письмом на имя Молотова. *«Изо дня в день мы получаем из освобожденных районов тревожные сведения, — писал в октябре 1944 года Михозлс, — о чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении оставшихся там в живых евреев, уцелевших от физического истребления. В ряде местностей (Бердичев, Могилев-Подольск, Балта, Жмеринка, Винница, Хмельник и др.) многие из спасшихся продолжают оставаться на территории бывших гетто. Жилища им не возвращают... Оставшиеся на местах пособники Гитлера, принимавшие участие в убийствах и грабежах советских людей, боясь живых свидетелей совершенных ими зло-*

деяний, всячески способствуют упрочению создавшегося положения»<sup>1</sup>.

Михоэлс обращал внимание Молотова и на то, что гуманитарная помощь Красного Креста и зарубежных благотворительных организаций, которая посылается не только евреям, а и всем жителям таких городов, как, например, Сталинград и другие, в ходе войны сделавшихся известными всему миру, еврейскому населению очень часто совсем не достается.

Это письмо от имени ЕАК вызвало бурное обсуждение на президиуме комитета. С упреком выступил Шимелиович: «Мы боимся ставить вопросы, расширить ф у н к ц и и комитета...» Лев Квитко апеллировал к гражданской совести: «Мы должны помочь людям, которые обращаются к нам, ведь они нам верят...» Но Фефер и Эпштейн осторожничали. Фефер заявил уклончиво, что комитет 1944 года — это не комитет 1941 года: изменилась ситуация, изменился характер работы, но функции комитета, по существу, не изменились, а Шимелиович, мол, некоторые вопросы ставит с ног на голову. Эпштейн осторожнее и предусмотрительнее всех: *«Записка правительству о ненормальных явлениях по отношению к еврейскому населению... должна быть послана не от имени комитета. У комитета есть свои определенные функции; он не является представителем еврейского народа... Мы бдительны в отношении того, чтобы не превратить комитет в Совнарком по еврейским делам».*

Вслед за Фефером он делает выволочку Шимелиовичу, который хочет якобы «превратить комитет в то, для чего он не создан».

Михоэлс вспоминает, что совсем недавно и А.С. Шербаков предостерег его: «Вы можете превратиться в бюро жалоб». Но все слишком серьезно, и он не собирается капитулировать: выход он видит только в деятельной помощи людям. *«Сколько бы мы ни захотели замыкаться в узкие рамки, нам это не удастся; каждый день мы получаем сотни писем и приходят сотни людей в орденах, раненых — жизнь*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXV, л. 198.

*настойчиво стучится в двери; как бы вы ни запирались от нее, от множества еврейских вопросов мы не можем отбиться...»<sup>1</sup>*

Как же откликнулся Молотов на боль и нужду людей?

Приказал Комиссариату государственного контроля проверить обоснованность заявления (спустя месяц комиссариат, запросив периферию, ответил о более чем полном благополучии еврейского населения, *«которое удовлетворено государственным имуществом в больших масштабах, нежели остальное население»*); привлечь к ответственности виновных, если таковые обнаружатся, а кроме того, посчитал нужным сказать, что Еврейский антифашистский комитет *«создан не для этих дел и, видимо, не вполне правильно понимает свои задачи»*.

Существует и более раннее по времени предупреждение комитету: письмо ответственного секретаря Совинфомбюро В. Кружкова от 11 мая 1943 года на имя секретаря ЦК ВКП(б) Щербакова. *«Считаю политически вредным, — писал Кружков, — тот факт, что руководство ЕАК, получая письма с разного рода ходатайствами материально-бытового характера от советских граждан-евреев, принимает на себя заботу об удовлетворении их просьб и затевает переписку с советскими и партийными органами. Руководство ЕАК вмешивается в дела, в которые оно не должно было бы вмешиваться»*.

В 1927 году на съезде ОЗЕТ план Ларина не получил поддержки, озетовцы и не тешили себя проектами заселения даже и степных районов Крыма — реальностью становится строящийся Биробиджан. Благодостный Михаил Иванович Калинин, выступив на съезде, имел в виду именно Биробиджан, говоря о том, что *«стремление советских евреев к собственной государственности — явление здоровое, поэтому партия и правительство идут им навстречу»*.

Спустя многие годы «крымский проект» вновь возникает, разбуженный не народной инициативой, а проискарами следственного аппарата Лубянки, как ло-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXI, лл. 54—60.

вушка для заранее обреченной элиты еврейской интеллигенции.

В ходе судебных заседаний Феферу, автору версии о сговоре с американскими спецслужбами по поводу Крыма, пришлось немало лавировать, меняя показания.

*«— Могло ли случиться так, — спросил Фефера обвиняемый Юзефович на перекрестном допросе, — чтобы в 1943 году, когда Фефер и Михозлс ездили по Америке, а война была в самом разгаре, Розенберг ставил вопрос о создании в Крыму еврейского государства?»*

*— 8 июля 1943 года в Нью-Йорке, после митинга, мы встретились с Розенбергом и говорили на эту тему... — сказал в ответ Фефер. — Розенберг заявил, что, если бы Советское правительство допустило заселение Крыма евреями, они бы приняли видное участие в этом деле и как союзники помогли бы нам в этом... «Роскошное место Крым: Черное море, Турция, Балканы...» — сказал Розенберг во время обеда. Сказал в том смысле, что это — в и г н о е место для будущей еврейской республики...»*

Главный судья резко отреагировал на слова Фефера: вместо криминала, заговора возникла идиллия, щедрость мецената.

*«На следствии вы привели слова Розенберга, что Крым — плацдарм, — сказал Чепцов. — А теперь вы это отрицаете?»*

Фефер молчал: отрицать сложно, почти невозможно: крымская легенда — из его собственных показаний. Но уже надо отвечать на новый вопрос, его задает Лозовский:

*«— Докладывали ли вы В.М. Молотову о разговоре в Розенбергом?»*

*— О Розенберге разговора не было... — ответил Фефер. — Не знаю, как Михозлс, но я тогда не придавал значения словам Розенберга. Вообще, мы сказали В.М. Молотову, что если будет осуществляться переселение евреев в Крым, то «Джойнт» окажет материальную помощь. На это В.М. Молотов сказал нам: «Напишите, мы посмотрим». Но я категориче-*

ски отрицаю, что в заселении евреями Крыма было заинтересовано американское правительство»<sup>1</sup>.

Вспомним прежние показания: Розенберг выговаривает им, как слугам, требует, грозит, ставит условия, заранее определяет будущий статус Крыма — военного плацдарма США, и вдруг: «...я не придавал значения словам Розенберга»!

Возражая Лозовскому, Фефер вновь пытается свалить вину на Гофштейна:

*«Лозовский говорит, что в вопросе о крымском проекте я являюсь началом всех показаний. Но Гофштейн был арестован за три месяца до меня, почему же у него есть показания о крымском проекте?»*

Уже на суде Фефер неожиданно вспоминает о вызове руководства ЕАК к Кагановичу, пытаясь перевести крымскую тему на уровень почти бытовой, шуточной.

*«Помню, в середине 1944 года мне позвонил Эпштейн и сказал: «Срочно нужно ехать к Лазарю Моисеевичу Кагановичу». Вызвали нас троих: Михозлса, Эпштейна и меня. Была очень большая беседа... Лазарь Моисеевич разбивал нашу докладную записку о Крыме исключительно по практическим соображениям. Он говорил, что это непрактично, что евреи в Крым не поедут, что каждый из них вернется на прежнее место, что только а р т и с т ы и п о э т ы могли выдумать такой проект...»*

Теперь «поэт» призывает обвиняемых расслабиться и посмеяться над «крымским проектом», но им почему-то не смешно; за годы следствия в них вкололи ту истину, что с л е д ч а с т ь от своих обвинений не отказывается, что бы ни случилось. Обманутые с первых дней следствия сокрушительными саморазоблачениями Фефера, ужаснувшись бездне предательства руководителей комитета, попранию всего святого, арестованные, под давлением следователей, понесли и свои «дары» к крымской западне. В показаниях замелькали вписанные следователями фразы о создании евреями «своих вооруженных сил», министерства иностранных дел, о скором «ус-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, лл. 135—136.

тановлении дипломатических отношений с заграницей, в частности с Америкой», и, разумеется, прежде всего о непременном отделении Крыма от Советского Союза.

В ходе следствия «крымский проект» обрел самого неподходящего героя. Нити тайного злодейства сошлись вдруг на добром и тишайшем человеке — Лейбе Квитко, известном миллионам детей страны.

Любопытная подробность следствия. Следователь Стругов, пытаясь внушить доктору Шимелиовичу, что именно он был «серым кардиналом» ЕАК, духовным руководителем комитета, сослался на письмо уезжавшего в отпуск Шахно Эпштейна. *«Дорогой Борис Абрамович! — писал Эпштейн Шимелиовичу. — Я Вас прошу почаще встречаться с Квитко и помочь ему, в моем отсутствии, в некоторых делах; помимо задания сбора материалов, Квитко в остальных заданиях беспомощен, как ребенок. Понятно, это между нами».*

Домашнее, по-человечески понятное письмо, но Стругову и в нем видится умысел, чуть ли не тайнопись, черный сговор и конспирация.

*«Как видите, — сказал он Шимелиовичу, — в а ш с о о б щ н и к по преступной работе в своем отсутствии рассматривает вас как своего доверенного и дает указания о руководстве деятельностью комитета».*

Если близкие Льва Квитко познакомятся лишь с томом его показаний зимы и весны 1949 года, их печали, а то и отчаянию не будет меры. Как быстро он сдался, принял на веру, что Михозлс, как и Фефер, «американский агент», что намерение з а п о л у ч и т ь Крым — приказ американцев и он, Лейба Квитко, добрый, простодушный и нежный детский поэт, летом 1944 года отправился в Крым, выполняя, по его словам, «поручение американцев». Раньше он не подозревал этого, а после ареста прозрел!.. Растерянный, безоружный перед подлостью (вспомним слова Эпштейна: «беспомощный, как ребенок»), он не был брошен в карцер, возможно, и бит был меньше других. Зачем усердствовать, если его совестливый взгляд и без того обращен внутрь себя — в самом себе, в своей слепоте, в душевном

затмении ищет и видит он начало и причину собственной драмы; если его жажда сверхобъективности выше чувства самосохранения, а покорностью судьбе он обезоруживает даже желчного следователя-иезуита. Он сердится, обижается на следователя, зачем тот всякий раз вставляет в признательный текст протокола слово «националистический»: как не понимает подполковник Герасимов, что получается нелепость — оказывается, он ездил с другими поэтами и писателями в разные города для чтения «националистических стихов», для проведения «вечеров националистических стихов», организовывал вечера «националистической культуры» и так далее. Квитко просит исправить, не страха ради, а чтобы не звучало глупо, безграмотно, — не бывает вечеров националистической культуры, — но Герасимов упрям, исправлять не хочет, и Квитко уступает.

В архиве ЕАК следствие обнаружило документы крымской командировки Квитко, и теперь он возник рядом с «инициаторами» — Михозлсом, Фефером, Лозовским, которому еще 20 января 1949 года Шкирятов в своем кабинете объявил об исключении из партии «за сочувствие заселению Крыма евреями».

Из Крыма в ЕАК приходили мольбы о помощи. В одном из районов запретили восстановление прежней еврейской колонии, приравняв ее, вопреки очевидности, закону и здравому смыслу, к поселениям немецких колонистов, оставивших Крым вместе с гитлеровскими войсками. Людям в ряде случаев не возвращались дома, мебель, сельскохозяйственный инвентарь, принадлежность которых вернувшимся домой семьям устанавливалась бесспорно. Задерживалась сама реэвакуация: без команды из Москвы не могли тронуться с места проживания колхозники, организовано ушедшие на восток. Хозяйничанье гитлеровцев за время оккупации у какой-то части жителей, начальствующих лиц и, к несчастью, у иных детей всколыхнуло антисемитские настроения. Кубанские казаки, насильственно переселенные оккупантами в ряд сел и поселков Крыма, рвались на родину, на Кубань; дома, прежде принадлежавшие евреям, опустев, могли быть разрушены или переданы новым хозяевам.



В освобожденный Крым отважился поехать Квитко — уже не молодой, далеко на шестом десятке, не приспособленный к житейской грязи поэт, родившийся неподалеку от крымской земли, в селе Голосково Одесской области. Терпеливо, медленно, на перекладных ездил по знакомым местам, от деревни к деревне.

«— Население состояло главным образом из татар и переселенных немцами в Крым кубанских казаков, — показал он на допросе 7 марта 1950 года. — Я специально выезжал в Евпаторийский, Джанкойский и Калайский районы, где до войны размещались еврейские колонии. Я обошел все деревни и из бесед с жителями установил, что кубанские казаки не намерены задерживаться в Крыму и что поэтому есть дополнительная возможность для размещения здесь эвакуированных из Крыма евреев.

В селе Майфельд Калайского района я встретил местную учительницу, по национальности еврейку. В беседе со мной она обвинила местных жителей в антисемитизме. Она передала мне письмо, составленное ею и подписанное еще несколькими жителями — евреями села Майфельд. Она просила передать это письмо секретарю Крымского обкома ВКП(б) Тюляеву, но я его привез в Москву и вместе со своей докладной запиской направил в Наркомзем СССР...

Подполковник Герасимов оживился:

— В распоряжении следствия имеется фотокопия письма за подписью 15 жителей села Майфельд. Об этом письме вы говорите?

— Да, об этом.

— Фамилию учительницы вы можете восстановить в памяти?

— Нет, не могу...»

Верно, Квитко уже клянет себя и Наркомзем, не подозревая, что люди, передавшие в КГБ письмо пятнадцати, находятся рядом с ним, что это давно вошло в их служебные обязанности. Ужас, что госбезопасности известны и любой его шаг, и любой клочок бумаги, побывавший в его руках, толкает Квитко к новым ошибкам. Он рассказывает о еврее — председателе колхоза, «лет 35—38», демобилизованном по ранению, который обвинил своих соседей в антисемитизме, пообещав, что он «со всеми ними разделается...».

Следователь прерывает его:

«— *Название еврейской колонии, где проживает этот человек, вы помните?*

— *Не помню.* [Помнит, но уже этого нельзя говорить, нельзя предавать открывшегося ему человека: никто ведь не станет вникать в подробности. — А.Б.] *Помню, что там 25—30 домов... а рядом виноградники — там на центральной аллее немцы зарыли живьем около двадцати евреев».*

Следователь пропускает подробности мимо ушей: война, зверства немцев, все так привычно, печально, скучно, но разве одних евреев убивали фашисты?..

...Актом оформлены все бумаги, рукописи, документы, изъяты у Квитко при обыске.

Актом на сожжение.

Горит, сгорает прошлое, история, судьба.

Продолжаются допросы, проходят очные ставки, кое-кто из арестованных, очнувшись, с решимостью самоубийц отказывается от ранних своих показаний. Даже Соломон Брегман, доходяга, из которого вышибли душу, законопослушный член партии с 1912 года, даже он, иудей, достигший служебного кресла заместителя министра госконтроля РСФСР, Брегман, так потрясенный и оскорбившийся поначалу «преступлениями» его коллег по ЕАК, Брегман, готовый любой разговор о «слабости профсоюзов или бездарности их руководства» считать стопроцентным антисоветизмом, даже он, уроженец города Злынки Брянской области, прозрел, обвинил войну следствию и держится с непредвиденным упорством.

«— *Никаких националистических настроений я не проявлял, и таких у меня вообще не было!..*

— *Говорите правду!* — гневно требовал следователь. — *В том, что вы являлись еврейским националистом, вас изобличают другие арестованные.*

— *Я еще раз заявляю, что, хотя я и был членом президиума ЕАК, я ни писем, ни телеграмм, поступавших из-за границы, никогда не видел и не читал. Националистом я никогда не был»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. VI, л. 39.

Справедливо: и националистом никогда не был, и, поглощенный делами госконтроля, не имел времени на ЕАК, а оказавшись вдруг на заседании президиума, не без партийно-мещанского осуждения посматривал на речистых «поэтов и актеров», напрасно завидую их жалким гонорарам. Но что за дело до его невиновности следствию: его обличает нечто более греховное — рождение, имя, знание еврейского языка.

Генерал-лейтенант Чепцов на суде сделал попытку оживить «крымский проект», в связи с командировкой Квитко в район бывшего проживания там евреев.

*«Зарубин попросил меня приехать к нему, — сказал на суде Квитко. — К нему в народный комиссариат иностранных дел... Он мне сказал: «Звонил из Нью-Йорка Михозлс и спрашивал — можно ли ему повидаться с Вейцманом, что ему, Михозлсу, надо дать ответ. А кто такой Вейцман?» — спросил у меня Зарубин. Но это знает каждый, Вейцман известен как вождь сионистов... А Розенберг, о котором говорят: председатель комитета помощи России, — мог ли я в чем-либо подозревать его?»<sup>1</sup>*

Все смахивает на бред. «Шпион» Михозлс через океан запрашивает Наркоминдел, можно ли ему повидаться со «шпионом» Вейцманом и отобедать со «шпионом» Розенбергом!

*«— Шахно Эпштейн сказал мне, — продолжал Квитко, — что они, он, Михозлс и Фефер, написали письмо в правительство с просьбой предоставить с т е п н о й р а й о н Крыма для заселения евреев. Это было в 1944 году, а тут, в тюрьме, я узнал другое...*

**ЧЕПЦОВ:** — Представить Крым для создания еврейской республики?

**КВИТКО:** — Нет. Для расселения евреев, было сказано мне.

**ЧЕПЦОВ:** — Фефер по этому поводу показывал: «Квитко говорил, что в Крыму есть много пустующей земли, где можно расселить евреев, которые хотят возвратиться».

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 178.

**КВИТКО:** — Кто не знает, что в крымских степях можно поселить миллионы евреев и вообще людей. Неужели я должен был об этом говорить Феферу?

**ФЕФЕР:** — Мои показания правильны. Квитко тогда, в 1944 году, рассказал о тяжелом положении еврейских колхозов в Крыму, ссылаясь на то, что об этом говорил с Тюляевым. В Крыму много пустующих мест, а еврейским колхозникам запрещают возвращаться в Крым.

**КВИТКО:** — Дома были заняты колхозниками, переселенными фашистами с Кубани. А кубанцы ждали эвакуации к себе домой.

**ЧЕПЦОВ:** — С вами трудно беседовать, трудно понять, где вы говорите правду, — на следствии говорите одно, на суде другое.

**КВИТКО:** — Это от отчаяния. Три года мне не верят. Меня приводят и мне говорят, что я шпион и националист... Я отчаиваюсь — неужели это правда?

**ЧЕПЦОВ:** — Почему вы так показывали? Кто вас понуждал?

**КВИТКО:** — Обстоятельства... — Он так и не решится до конца суда пожаловаться на то, как его избивали и, хуже того, оскорбляли. — Обстоятельства... Это клевета на себя. Бывают такие случаи у людей, когда они на себя наговаривают? Бывают? Если Маркиш, революционер Перец Маркиш, — националист, значит, и я не менее его националист. Возьмите Теумин, она совсем никакого отношения к работе комитета не имела. То же самое могу сказать о Чайке Ватенберг, и о Зускине, и о Штерн... А они уже наверняка наговорили бог знает что...»

Искренние, простодушные показания Квитко становятся небезопасными, «расслабляющими»; добротой своей он не вовремя освобождает кое-кого от всякой вины, поэтому суд возвращает его к Крыму. В томе X следственного дела, устрашающе озаглавленном «Документы, изобличающие арестованных еврейских националистов и их сообщников в проведении националистической пропаганды в Советском Союзе и за границей», есть две бумаги, прямо относящиеся к поездке Квитко в Крым.

Вернувшись из Крыма, после недолгих мучительных размышлений Квитко, не научившийся сочинять осмотрительные казенные бумаги, обратился с запиской к А.А. Андрееву, народному комиссару земледелия СССР. Рассказав о реальном положении дел, он пожаловался наркому на то, что многие из уже возвратившихся в Крым *«...потеряли родных и близких. Все они раздеты и разуты. Питаться им нечем. На местах, однако, они не только не встречают никакого содействия и помощи, но часто наталкиваются на большие затруднения в деле обратного получения их домов и устройства в колхозах. В качестве примера можно указать на колхоз «Фрилинг» Калайского р-на. 20 семейств еврейских колхозников погибло здесь от рук немецких палачей. 20 находятся еще в эвакуации и не могут дожидаться вызова. 12 семейств вернулось. Эти последние очутились в совершенно невозможном положении — без хлеба, без овощей, даже без крова — и обречены буквально на гибель».*

Задвигались, заскрежетали рычаги и шестеренки ведомственной, казенной машины, задвигались не торопясь: главные силы страны все еще отдавались фронту, победному завершению войны. Заместитель наркома земледелия Бенедиктов только в октябре месяце доложил по начальству:

*«Вопрос о незаконном изъятии земли, закрепленной на вечное пользование за еврейскими колхозами, и возвращении в Крым эвакуированных колхозников-евреев считал бы целесообразным передать для обсуждения и принятия необходимых мер в Совнарком РСФСР. Видимо, земля, незаконно изъятая у еврейских колхозов, должна быть возвращена безотлагательно».*

Так, с рутинной служебной перепиской ушла в песок, сникла зловещая афера, начатая ложью о сговоре ЕАК с американскими сионистами летом 1943 года, афера, потребовавшая уже в самом начале следствия безвинной крови — жизни удивительного художника и гражданина страны Соломона Михоэлса.

Решительное поражение следствия в части посягательства евреев на Крым не помешало Рюмину записать в Обвинительном заключении, что преступники из ЕАК *«добивались получения территории Крыма*

для создания еврейской республики, которую американцы рассчитывали использовать в качестве плацдарма против СССР».

Эту формулировку дословно повторил и приговор.

## XII

В судебном заседании летом 1952 года Вениамин Зускин повел себя с твердостью, которая поразила бы следователя Рассыпнинского, попади он на процесс.

«— Я себя не признаю виновным ни в националистической, ни в шпионской деятельности...»

Председательствующий Чепцов прервал его:

— 11 января 1949 года на вопрос: признаете ли вы себя виновным в измене Родине, в проведении антисоветской националистической деятельности? — вы сказали: «Да, признаю, что, будучи настроен против Советской власти, я поддерживал связь с националистическим подпольем».

ЗУСКИН: — Разрешите заявить, что я отрицаю эти свои показания, подписанные моей собственной рукой.

ЧЕПЦОВ: — Задача суда и состоит в том, чтобы проверить эти ваши показания.

ЗУСКИН: — Все мои показания ложны.

ЧЕПЦОВ: — Вы утверждали, что, попав под влияние Михозаса, встали на антисоветский, вражеский путь.

ЗУСКИН: — Я это отрицаю категорически.

ЧЕПЦОВ: — Вы показали, что в состав президиума ЕАК вошли в большинстве своем люди, враждебные Советской власти.

ЗУСКИН: — Я отрицаю эти свои показания.

ЧЕПЦОВ: — Вы написали в статье, что еврейский театр доживает свои последние дни, что в Советском Союзе глушится еврейская культура.

ЗУСКИН: — Как я мог это написать, ведь я тогда получил Сталинскую премию. Я написал заметку об умершем 24 января 1948 года артисте Штеймане. И еще о ком-то, умершем в августе...

ЧЕПЦОВ: — Значит, вы писали только некрологи?

**ЗУСКИН:** — Нет. В связи с 800-летием Москвы три актера из нашего коллектива, в числе актеров других театров, были удостоены звания заслуженных артистов, причем один из них — часовщик, а двое — портных. Вот что я писал: «Еврейских актеров награждает Советское правительство, тех актеров, которые в прошлом не имели права даже носа показывать в Москве». Я писал, что вместе с актерами других советских театров награждают тех актеров, судьба которых раньше зависела от любого пристава...»<sup>1</sup>

«Михоэлс, к сожалению, мертв сейчас, и очную ставку с ним я не могу просить... — сказал Зускин. — Я глумал, что, раз меня арестовали, значит, будет суд и суд разберется. И я прошу, пусть по моему конкретному делу назовут мне те конкретные преступления, которые я совершил...»<sup>2</sup>

Но именно этого — конкретного дела — нет. Нет конкретного преступления, хоть какого-то поступка, письма, строки, нет даже выкрикнутого в гневе слова, которое можно было бы поставить в вину подсудимому. Спустя несколько лет и молодые, памятливые следователи, проводившие допросы, писавшие заключения, не могут, хотя и напрягают память, вспомнить, в чем именно уличались подсудимые. «Какие конкретно факты вменялись в вину арестованным, я не помню», — сказал спустя три года после суда Жирухин, весьма активный «строитель» дела, в дни следствия — майор. Тогда же, в октябре 1955 года, и следователь Цветаев заявил военюристам: «В чем конкретно обвинялись арестованные по этому делу, я сейчас не помню». Можно было бы привести много подобных ответов: следствие обходилось без фактов, без улик, общими фразами, вынужденным признанием подсудимых в... неблагоприятном образе мыслей.

Вениамина Зускина обвинили в преступномговоре с Лозовским — как не поразиться этому?!

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, л. 164. (Речь идет о статьях Зускина для зарубежной печати.)

<sup>2</sup> Там же, л. 159.

«С Лозовским я в жизни разговаривал один раз и сказал ему всего пять-шесть слов. Это было 3 октября 1943 года, в день открытия сезона. Шел «Тевье-молочник», последний спектакль, где участвовал Михозлс. Подходит ко мне билетерша и говорит: «Соломон Михайлович просит вас подойти к Лозовскому и пригласить его от имени Михозлса зайти к нему». Я пошел и сказал: «Соломон Абрамович! Соломон Михайлович приглашает вас и вашу супругу за кулисы». Вот и все мое знакомство с Лозовским».

Следователь понимал, что Зускин говорит правду, но какое значение имеет правда, если заранее определены тесные преступные связи!

«ЧЕПЦОВ: — Вы заявили, что считали и считаете Михозлса националистом.

ЗУСКИН: — Я с ним никогда не разговаривал на такие темы. Я отрицаю все показания и сейчас говорю правду... Формально я несу ответственность за деятельность ЕАК, хотя меня ввели в президиум, даже не спросив, но конкретно ни в чем абсолютно, ни по линии комитета, ни по линии театра, я себя виновным не признаю<sup>1</sup>.

ЧЕПЦОВ: — Когда вас арестовали?

ЗУСКИН: — 24 декабря 1948 года.

ЧЕПЦОВ: — И в тот же день вы дали показания, признали себя националистом и рассказали о националистической деятельности комитета. Вот протокол вашего допроса.

ЗУСКИН: — Мне подсказали все это. Там, например, есть показания о Крыме, но я только здесь узнал о крымском вопросе, о том, что он стоял в январе 1944 года... Почему я дал показания о Крыме? Меня привели на допрос в совершенно одурманенном состоянии, в больничной пижаме... Мне говорят, что я государственный преступник, требуют показаний о моих преступлениях. Мне заявляют, что следствию уже все известно, я отвечаю, что не знаю, за что меня арестовали. Мне начинают читать чужие показания и требуют подтверждения, и я, находясь в полубессознательном состоянии, «говорю» — говорю, пусть это

---

<sup>1</sup> Там же, л. 149.



слово будет в кавычках — о Крыме и обо всем, о чем не имею никакого понятия... Что я знал об американской «разведке» Михозлса? Я узнал, что он встречался там с Чаплином, с актерами, с деятелями науки, например с Эйнштейном. У Михозлса жена русская, и у них одна комната. К ним всегда приходили русские родственники, а Михозлс как джентльмен в присутствии русских не будет говорить по-еврейски. Дома вы бы не услышали ни разу ни одного еврейского слова. Дети его тоже по-еврейски ничего не понимают. Его «национализм», может быть, парил в облаках ЕАК, а в театре он ни разу не позволил себе этого»<sup>1</sup>.

Еще и еще, с великой печалью, с простодушием, которое не перестает поражать и подсудимых, Зускин говорит о том, что «...такая жизнь, какая была у меня в тюрьме, она мне не нужна. Жизнь в тюрьме меня тяготит, и я заявил следователю: пишите все, что угодно, подпишу любой протокол. Я хочу дожить до суда, где бы я мог рассказать всю правду, — только дожить, дожить до того дня, чтобы доказать суду, что я ни в чем не виновен, и, если даже мне вынесут высшую меру наказания, я буду доволен. Мне жизнь не нужна. Для меня пребывание в тюрьме страшнее смерти. Я жизнью не дорожу».

Даже увертливый лицемер, беспощадный к подследственным полковник Гришаев, руководивший окончанием следствия по делу ЕАК, не мог не понимать, что кое-кто из арестованных вообще никак не причастен и к вымышленным, фальсифицированным обвинениям по этому делу. «Рюмин знал, — писал в своих объяснениях 1954 года свидетель Гришаев, — что материалы по таким арестованным, как Чайка Островская, Теумин, Зускин, б ы л и в е с ь м а с л а б ы м и и что они никакого отношения к руководству ЕАК не имели, но он, Рюмин, отвергал наши предложения о том, чтобы вывести этих и кое-кого из других арестованных из дела и решать их дела индивидуально»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же, л. 160.

<sup>2</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 88.

Среди десятков тысяч листов дел и документов — томов следствия, суда, дополнительных материалов, последующей проверки дела — нет ни одного клочка бумаги, рапорта, представления и т.д., который бы зафиксировал и подтвердил милосердный порыв Гришаева и его коллег. Попутный разговор, минутное сомнение, ленивая досада по поводу «слабости», пустоты обвинения того или иного из арестованных — все это замирало на пороге начальственного кабинета. Но и «выведение» или «выделение» арестованного из главного дела ЕАК в отдельное слушание, как показала судьба всех схваченных по «алфавиту Фефера» людей, не обещало ни справедливости, ни жизни. Немногие из них, избежавшие казни, сумели выйти из лагерей только потому, что в марте 1953 года умер Сталин.

Всего трагизма судьбы Вениамина Зускина, одного из самых ярких талантов мирового театра первой половины XX века, не понять вне контекста его артистической жизни и особых обстоятельств его ареста. Мы уже знаем, что спящий Зускин был в больничной пижаме погружен в машину и пробудился в тюремной одиночке. Длительным врачебным сном врачи пытались справиться с его до предела расшатанными нервами. Психическая травма, о причине которой Зускин расскажет суду, вина в своей болезни Михозлса, привела Зускина к бессоннице, длившейся месяцами, толкавшей его к мысли о самоубийстве. Гибель Михозлса, все, что ей предшествовало, а после — нагнетание обстановки вокруг театра, острое ощущение тупика, обреченности ГОСЕТа убивали Зускина, внушали мысль о безнадежности существования. Вынужденный возглавить театр, в будущее которого он уже не мог верить, он был не в состоянии обдумывать и планировать пьесы и спектакли будущего сезона, работать с авторами, вселять веру в потерявшихся артистов. Зускин был из тех натур, которые слышат отдаленный, подземный, никому еще не слышимый гул приближающейся беды; из тех, чья кожа содрана испытаниями десятилетий, кого предчувствия сотрясают и в пору, казалось бы, полного благополучия; а теперь, с начала 1948 года, когда Зускин принял театр, и не требовалось его сверхчувств-

вительности — несчастье наступало на него развернуто, с барабанным боем.

Не шел из сердца и из ума Михозлс: Соломон Михайлович — загадка для него и после 27 лет совместной работы, Михозлс — самый близкий ему из художников в мироздании, Михозлс — чужой и враждебный человек.

*«Он боялся меня, — скажет Зускин на суде, — боялся меня в том смысле, что я актер, всю жизнь изучаю людей и поэтому знал его лучше других. Я не мог равнодушно слышать его голос... Этот Вовси, не великий актер Михозлс, а Вовси — между Михозлсом и Вовси колоссальная разница, — этот Вовси довел меня до мысли о самоубийстве...»* Великий актер Михозлс исчез, убит; с тем большей настойчивостью возникал перед внутренним взором Зускина Вовси.

Порой в процессе архивной работы во мне возникала жалость к Феферу, которому предательство не сохранило жизни: он тоже жертва; и можно понять сердобольного Самуила Галкина, однажды содрогнувшегося от отчаяния и потерянности Фефера. Но стоит вспомнить, с какой сатанинской хитростью сталкивал этот человек и губил других, играя на их слабостях, недомоганиях, вере и доверии — на всех открытых, беззащитных струнах их души, — и жалость исчезает.

Еще при жизни Михозлса Зускин мучительно, до панического страха воспринимал менявшуюся вокруг них жизнь. *«Он пригласил меня к себе в кабинет, — вспоминал Зускин на суде, — в день 30-летия ГОСЕТа, даже не в день, а в три часа ночи после праздника, и показал мне театральным жестом короля Лира место в своем кресле. Далее Михозлс вынимает из кармана анонимное письмо и читает мне. Содержание этого письма: «Жиговская образина, ты больно далеко взлетел, как бы головка не слетела...» Об этом письме я никогда никому не говорил, даже жене. Потом Михозлс разорвал это письмо и бросил. Это было при мне. Вот как было дело до 1948 года»<sup>1</sup>.*

Добавлю от себя: не просто «до» 1948 года, а в канун, в преддверье рокового года. Модные ныне уг-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, л. 208.

рожающие послания антисемитов через почтовые ящики, а то и через небрезгливую печать были тогда крайней редкостью; видимо, началась властная, направленная психологическая обработка будущей жертвы, так сказать, «психическая атака». Абакумов уже искал у арестованных интеллектуалов подтверждение того, что «Михозлс — сволочь» и пусть подышает на ночной улице Минска.

В представлении современников два имени — Зускин и Михозлс — неразличимы, как сиамские близнецы. А между тем люди они разные, порой полярные, несовместимые. Михозлс — натура сильная, волевая, занятая не только театральным творчеством, но и творением самой жизни, своей и большого круга зависящих от него людей, занятая направленным и осмысленным развитием еврейской культуры. Михозлс не тяготился постоянной связью с человеком, по существу его антиподом, однако мнительный, щепетильный, рефлексирующий Вениамин Зускин, случалось, страдал, не имея сил отойти, разорвать слишком тесный круг.

Поразительно, но и в судебном заседании, обращаясь к людям, которым были безразличны иные психологические тонкости, Зускин пытался втолковать им, как трудна была его жизнь рядом с Соломоном Михайловичем, как тяжелы были в е р и г и их дружбы, любви и сотрудничества. *«Когда заголго до войны я пришел в военкомат, — посетовал на суде Зускин, — меня принял военком, взял мой военный билет, читает и говорит: «Почему одна фамилия — Зускин? А где Михозлс?» Так и в обвинительном заключении — эти две фамилии вместе, а между тем никто в своих показаниях не говорил о Зускине... Тут Маркиш назвал меня теленком, а Фефер сказал, что я ребенок, а ведь мне 53 года»*<sup>1</sup>.

Горькая обида и ошеломленность: будто у него отнята собственная жизнь, а есть только жизнь двойника, приставка к чужому существованию.

Обида и шок: он, вчитываясь во многие сотни чужих показаний и протоколов, убеждается, что забыт всеми, никто ни в чем не винит его. Уж и не упом-

---

<sup>1</sup> Там же, л. 148.

нить, кто и когда обмолвился, назвал его имя; но вот перед ним обвинительное заключение, и снова: Зускин, Зускин — постылое, тупое, так надоевшее э х о Михозэlsa. Почти три десятилетия они вместе в театре, но хозяин — Михозэлс, его воля решает, а кому расскажешь, сколько несогласия, споров и даже ссор случалось у них с честолюбцем Михозэлсом, кому объяснишь, что в душе у него, Зускина, своя музыка, свои боги и свой оркестр и вовсе он не «дублер»? Когда, забыв обо всем на свете, он на сцене, в роли, в образе, его никто и ни с кем не спутает, будут аплодировать ему, кричать: «Зускин! Зускин!» — и в этот миг никто не вспомнит Михозэlsa.

Но это сцена, а в жизни? Почему он должен отвечать за то, что кто-то, кто бы он ни был, п р е д а в театр, превратил его, как считает обвинение, в очаг «буржуазно-националистической пропаганды»? У отчаявшегося, затравленного Зускина как-то даже сорвется возмущенный крик: тридцать лет театром руководили «антисоветчики» Грановский и Михозэлс! «...Я же был художественным руководителем всего несколько месяцев; кто направлял репертуар, кто ответственен за него, имел ли я отношение к нему?.. За три года следствия можно было выяснить, кто такой Зускин в театре, а этого сделано не было, хотя я об этом просил»<sup>1</sup>.

«Антисоветчики» — только это слово и услышали обвинители! Грановский — антисоветчик, что и говорить: человек, соблазнивший уйти в эмиграцию часть театральной труппы, невозвращенец. Но вот и важная новость — в антисоветчики попал сам Михозэлс, и кем он так наречен? Зускиным!

Генерал Чепцов на суде извлекает кое-какие крохи из самых первых показаний против Михозэlsa, из протоколов тех недель, когда бесчинствующие следователи вносили туда любые обвинения.

«ЧЕПЦОВ: — Вот ваши показания: «Не стану отрицать, Михозэлс мне был известен как убежденный еврейский националист».

---

<sup>1</sup> Там же, л. 151.

— Нет! Нет! Следователь плохо понял: на свете был не один Соломон Михоэлс, их было двое, всегда двое; великий лицедей Михоэлс и плохой человек — Вовси. С этим Вовси у нас с декабря 1939 года и до конца его жизни, до гибели в Минске, была грызня...»

Он будто сделал открытие для себя, вспоминая прошлое; большое воображение уже склоняет Зускина к тому, что Михоэлс возненавидел его после давней премьеры гольдфаденовской «Колдуньи», когда газеты впервые больше всего хвалили и перевозносили Зускина. «Он никак не мог мне простить, что мое имя становится рядом с его именем... Начиная с 1922 года он не мог мне этого простить и продолжал меня ненавидеть. Эта вражда продолжалась до самой смерти Михоэлса»<sup>1</sup>.

Театральные страсти не трогают Чепцова, ему подавай политику.

«ЧЕПЦОВ: — Но вы заявили, что он был крайне обозлен, ругал Советское правительство, которое якобы издевается над евреями.

ЗУСКИН: — Когда погиб Михоэлс, постигшее наш театр горе ввергло меня в отчаяние. [Большой ребенок не замечает, как противоречит самому себе. — А.Б.] В тот день я сразу вспомнил, как за последнее время Михоэлс много и часто — понимаете: много и часто! — говорил о своей близкой смерти. Говорил он это не только мне, но и другим работникам нашего театра... Еще 24 ноября 1946 года, в день 25-летия моей сценической деятельности, Михоэлс подарил мне бумажник, за год с чем-то до гибели в бумажнике я обнаружил письмо следующего содержания: «Хочешь или не хочешь, так или иначе, но, если я скоро умру, ты обязан занять мое место в театре. Готовься к этому со всей серьезностью». А буквально за два-три дня до отъезда в Минск я зашел к Михоэлсу в кабинет в театре после репетиции. Он встал, усадил меня на свое место за письменным столом и сказал: «Вот здесь, на этом кресле ты скоро, очень скоро будешь сидеть...»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Там же, л. 199.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXIII, лл. 118—119.

**ЧЕПЦОВ:** — Вы снова умалчиваете об антисоветских взглядах Михозлса.

**ЗУСКИН:** — После возвращения Михозлса из Америки у нас в театре сразу стали появляться какие-то люди. Они сидели в очереди, как к зубному врачу... Однажды я шел на спектакль и вижу, выходит Михозлс, бледный, буквально садится на ступеньки лестницы (он любил, чтобы его жалели) и говорит мне: «А куда же ты так рано идешь?» «Как — рано? — отвечаю я. — 5.30, а спектакль в 7.30». «Неужели уже 5.30? — говорит Михозлс. — А я еще ничего не ел, меня замучили эти евреи — того в школу не принимают, того на службу». Я говорю: «Разве это ваше дело?» Ведь он был депутатом Московского Совета. Михозлс отвечает мне, что ЕАК может этим делом заниматься. Я говорю: «Кто дал право комитету заниматься такими вопросами?! А если вы считаете, что комитет должен заниматься этим, то пусть идут в комитет». Он стал принимать все большее и большее количество людей, они нам мешали работать; были и такие, которые открывали двери зала и смотрели репетиции...

**ЧЕПЦОВ:** — Почему они не ходили на квартиру к нему?

**ЗУСКИН:** — Если бы я знал... Он их принимал и утром, и после репетиций. Поэтому за 1946 год он не поставил в театре ни одного нового спектакля. Однажды я заявил, что если он не прекратит этих приемов, то я пойду и сообщу куда надо, потому что это мешает работать.

**ЧЕПЦОВ:** — И что было?

**ЗУСКИН:** — Он прекратил приемы»<sup>1</sup>.

В январе 1949 года следователи оживились, услышав, что Зускин называет Михозлса «вожаком»; что, сломленный, он подписывает протокол, в котором допускается мысль, что Михозлс мог быть причастен к сбору неведомо какой (это ведь не сразу придумаешь!) «шпионской информации». Но упорно и неизменно Зускин сводил разговор к существованию двух Михозлсов: артиста-кудесника и

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, лл. 161—163.

дурного человека Вовси. «С Михозлсом-художником я был связан узами дружбы и совместной работы в Московском еврейском театре с 1921 года, — свидетельствовал Зускин на допросе 19 января 1949 года. — Михозлс был для меня большим авторитетом, я его глубоко уважал и любил как актера, у которого многому научился. Нас также сближало то, что мы друг другу доверяли. Я старался не замечать за Михозлсом многих отрицательных черт, которые были свойственны его полному противоречий характеру»<sup>1</sup>.

Стоило только Зускину вспомнить об открытых ему следствием «преступлениях» Михозлса, как эти отрицательные черты множились в памяти, обрушивались на безответного Соломона Михайловича. Оказывалось, что он эгоист, нетерпимый к критике, злопамятен, любитель эффектных жестов и звонких фраз, гнался только за славой, заставляя страдать Зускина, и, увы, «...тесная связь с Михозлсом на протяжении длительного времени, понятно, дала себя знать, и я во многом стал соглашаться с ним, впитывая в себя его националистические настроения»<sup>2</sup>.

Арестованный на исходе декабря 1948 года, Зускин не мог еще прочитать ничьих признательных протоколов — аресты всех других москвичей, кроме Фефера, прошли позднее, — но провокационные измышления Фефера, которыми уже вооружилось следствие, потрясли Зускина. Казалось бы, нелюбовь к Феферу Михозлса и самого Зускина, равнодушие к его писательскому дару, карьеризм должны были заставить Зускина с недоверием отнестись к его словам. Но пересилило другое обстоятельство, понуждавшее поверить: Фефер — тщеславный, боязливый человек — в пароксизме раскаяния разрывал на себе одежды, сам шел на казнь, на Голгофу и, подойдя к самому пределу несуществования, выкрикнул и имя своего главного сообщника. Как было не поверить голосу отчаяния, воплю раскаяния, готовности понести любую кару за преступление против народа и родины!

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXIII, л. 51.

<sup>2</sup> Там же, л. 53.



Вспомним и то, что все эти «разоблачения» переплелись с болезненным состоянием Зускина, с потрясением, смятением человека, уснувшего в палате на белых простынях, а разбуженного в стылой, как погреб, тюремной камере. Как и другие обвиняемые, он услышал для начала, что он жид, грязная еврейская скотина, пархатая сволочь и все такое прочее. Его загнали в страшный мир прямо в больничной пижаме так бесчеловечно, что в пору было поверить любому злодейству. В душе проснулся гнев против того сильного, волевого строителя жизни, кто, падая в омут злодейства, невольно увлекает за собой д в о й н и к а, свое театральное «эхо». Самонадеянный Лир погубил свою жизнь, даже не подумав о судьбе шута...

Не сразу Зускин обрел ясность взгляда, не сразу понял, что Михозлс так же мало виноват перед человечеством и перед еврейским народом, как и он сам, Зускин. Преступный замысел, согласно которому Михозлс должен был исчезнуть, чтобы не мешать сценарию госбезопасности, торжествовал победу.

На суде Зускин подробно рассказал о горестном дне 14 января 1948 года, когда «в Москву прибыл гроб с телом Михозлса... В 11 часов, как только привезли тело, прибыли академик Збарский, брат Михозлса Вовси и художник Тышлер. Когда раскрыли оцинкованный гроб — около гроба мы были влятером [Зускин, директор театра Фишман, Збарский, Вовси и Тышлер. — А.Б.], — мы увидели проломленный нос, левая щека — сплошной кровоподтек, и тогда академик Збарский заявил, что он заберет труп к себе в институт, где обрабатывает лицо, чтобы можно было выставить.

...В 6 часов (18) академик Збарский со своими ассистентами привез гроб с телом Михозлса. Гроб поставили на пьедестал, зажгли все прожектора, создали обстановку, при которой он должен был лежать...

Рядом со мной стояла Тарасова, вся заплаканная, она очень любила Михозлса.

Хоронили актера Михозлса, а не Вовси, и среди сотен венков было четыре еврейских».

Надо помнить: Москва хоронила великого актера, русская Москва и многоязыкая Москва. Наконец-то на суде он может говорить и об этом — ведь последние три года прошли в кошмаре следствия, для которого

всё — «национализм», всё — жидовский кагал, и Тарасова не смела плакать над телом Михозэlsa.

*«...В почетном карауле стояли Барсова и Козловский, на панихиде выступали Гундоров, Супрун, и только один Фефер выступал от имени комитета, причем говорил он на русском языке... Выступали Фадеев, Зубов и другие... Збарский сказал мне, — продолжал Зускин, — что, безусловно, смерть Михозэlsa последовала вследствие автомобильной катастрофы — одна рука сломана и, потом, эта же щека в кровоподтеке. Это — следствие того, что машина, шедшая навстречу, налетела на другую и их обоих отбросило в сторону, значит, они погибли в результате удара машиной. Он умер хорошей смертью, сказал Збарский. Если бы ему оказали сразу помощь, то, может быть, можно было бы кое-что сделать. Но он умер от замерзания, потому что лежал несколько часов в снегу»<sup>1</sup>.*

Быть может, Зускину не удалось точно пересказать взгляд ученого, его явно противоречивые аргументы; ясно одно: Збарскому — академику, официальному лицу, «хранителю» забальзамированного тела Ленина — за часы, проведенные в клинике над убитым Михозэсом, в клинике, куда многочисленные сотрудники совсем другой службы пресекали всякий доступ со стороны, успели внушить, что держаться надо официальной версии, какие бы сомнения его ни томили.

И на суде больше ни слова о панихиде, о каком-то предосудительном разговоре с Жемчужиной. Чувство вины перед женщиной, которую он чтит и которую его принудили оговорить, спустя три с половиной года все так же терзало его совесть. Он не трогает этого в судебном заседании, и судьи летом 1952 года не вздували полупогасшие уголья костра, на который Абакумов прежде так настойчиво возводил Жемчужину.

Но если в первом протоколе допроса Зускина от 24 декабря 1948 года (в первый его тюремный день) есть несколько довольно расплывчатых фраз, якобы

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, лл. 209—210.

произнесенных Жемчужиной, фраз, которые сообщил следствию Фефер («Как вы думаете, что здесь было — несчастный случай или убийство?» и «Дело обстоит не так гладко, как это пытаются представить»), то во втором, от 11 января 1949 года, Зускина принудили подписать текст, говорящий о «враждебности» Жемчужиной, ее оппозиции властям.

«В конце разговора Жемчужина спросила: «Как вы думаете, это несчастный случай или убийство?» Я ответил, что нужно верить официальной версии, которую нам сообщили из Минска, — что Михозлс погиб в результате автомобильной катастрофы. Тогда Жемчужина, как я т в е р г о п о м н ю [слова, вписанные по настоянию следователя! — А.Б.], возразив мне, заявила: «Дело обстоит не так, как это пытаются представить. Это — убийство». Заявление Жемчужиной меня ошеломило. Я понял из всего сказанного Жемчужиной, что смерть Михозлса является результатом преднамеренного убийства с целью лишить еврейский народ его заступника.

Об этом я в тот же день сообщил Феферу... Я спросил у него, что он слышал в Минске по поводу убийства Михозлса. Фефер ответил, что в Минске циркулировали слухи о том, что Михозлс убит в результате автомобильной катастрофы. На это я заявил Феферу, что, по утверждению Жемчужиной, в убийстве Михозлса повинна Советская власть и сделано это для того, чтобы обезглавить еврейскую общность»<sup>1</sup>.

«Кухне» полковника Бровермана оставалось завершить многоступенчатую ложь: поставить рядом с «Советской властью» имя Сталина, что и было сделано.

В судьбе Вениамина Зускина эпизод встречи на панихиде с Жемчужиной сыграл особую гнетущую и драматическую роль.

В начале судебного допроса Зускин, отрицая все предыдущие свои показания («подписанные моей собственной рукой»), в качестве примера насилия над истиной привел следующее: «Через несколько дней после аре-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXIII, л. 69.

ста меня вызывает министр государственной безопасности Абакумов и задает мне ряд вопросов... Он меня спрашивает об одном человеке, и то, что было мне известно, я ему рассказал. Через день в здании ЦК партии в кабинете Шкирятова состоялась очная ставка, на ней присутствовали: министр государственной безопасности Абакумов, Шкирятов, т о л и ц о и я. Все, что мне было известно об этом лице, я сказал, хотя это все им (этим лицом) опровергалось. Мне министр потом заявил: «Вы себя честно вели на допросе»<sup>1</sup>.

«Честность» эта до смертной минуты угнетала Зускина, но и в заседании суда, которого с такой надеждой ждали обвиняемые, получив возможность под стенограмму сказать сокровенное, Зускин все еще сдержан и не раскрыт. У него, думалось Зускину, вопреки худшим предчувствиям еще будет жизнь и возможность досказать все, чего он не посмел сказать и в суде.

«После этого, — продолжал Зускин, только коснувшись эпизода очной ставки в кабинете Шкирятова, — я три с половиной года сижу в тюрьме; прошу, умоляю, чтобы мне дали очные ставки с членами президиума. В течение трех с половиной лет я сижу в тюрьме, мне предъявлено страшное обвинение и не дают очных ставок, на которых я мог бы доказать свою невиновность...»<sup>2</sup>

Шли годы — 1949-й, 1950-й, 1951-й, время двигалось к лету 1952-го, — но для него все — тупик. Он не нужен следствию. Его не о чем допрашивать. Исчезни он, умри, стоячее болото следствия не колыхнется.

Что это — случайность? Чей-то недосмотр? Небрежность?

Это была особая казнь, изощренная, не без садистской фантазии: на долгое время «забыть» арестованного, похоронить его в тюрьме до дня, когда он снова понадобится, и тогда предстанет перед властью потерявшийся и полуживой.

Долгие поиски и благоприятный случай позволили мне хотя бы отчасти решить эту загадку.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, л. 144.

<sup>2</sup> Там же, л. 145.

### ХІІІ

В 1951 году, на третий год заключения Зускина, в одной с ним камере оказался генерал-майор Григорий Акимович Бежанов, бывший министр госбезопасности Кабардинской АССР, осужденный на десять лет ИТР. Он оказался во Внутренней тюрьме МГБ СССР, в камере № 82, где томился Зускин. Потрясенный судьбой Зускина, генерал записал его рассказ и при первой возможности направил вместе со своим письмом, уже после ареста Абакумова, новому министру МГБ — Игнатьеву. Как и следовало ожидать, министр, в заместителях у которого в это время уже подвизался Рюмин, Бежанова не вызвал и в приеме ему отказал, хорошо если не ужесточил судьбу мужественного Григория Акимовича.

Но вот рассказ Зускина в передаче Бежанова, сохранившийся в архивах МГБ:

*«На второй день моего ареста, вечером, я был вызван на допрос к следователю, помощнику начальника следственной части по особо важным делам РАС-СЫПНИНСКОМУ, и тот по условленному телефонному звонку повел меня в кабинет Абакумова. Последний стал допрашивать меня (без фиксации и протоколирования) о бывшем председателе ЕАК Михозлсе... В заключение допроса, предложив решительно и безоговорочно дать развернутые показания о «действиях еврейской буржуазно-националистической организации», Абакумов незаметно перешел к вопросу о бывшем члене ЦК ВКП(б) Жемчужиной — жене Вячеслава Михайловича. Он совершенно неожиданно для меня заявил, что предстоит очная ставка с последней и что я должен изобличить ее, а в чем именно изобличить, скажет он сам.*

*На мой категорический отказ от этого гнусного предложения и упорное отрицание подсказываемой им ложной легенды, связанной якобы с националистическими высказываниями Жемчужиной по поводу смерти Михозлса, Абакумов после серьезных угроз прямо поставил вопрос, что в случае моего отказа я сам буду ликвидирован, то есть физически уничтожен».*

После этого Зускин не мог уже сомневаться, что Михоэлс был убит советской властью, что сам он стоит лицом к лицу с силой, которая под любым предлогом умертвит и его, что это не пустая угроза, а условие жизни или смерти.

Какое счастье, что уцелела эта запись Бежанова, — из нее со всей неопровержимостью следует, что показания против Жемчужиной, помеченные январем 1949 года, составлены самим Рассыпнинским — Зускин в них не повинен.

Все последующее в рассказе Бежанова я назвал бы последней ролью Зускина, последним заученным текстом, монологом и диалогом, но уже не Шекспира и не Менделе-Мойхер-Сфорима, не Шолом-Алейхема или Переца Маркиша, а текстом провокаторов Рассыпнинского и Бровермана.

*«Затем тоном, не терпящим никакого возражения, — записал Бежанов, — Абакумов приказал Рассыпнинскому немедленно заняться мной и «подготовить все к предстоящей очной ставке».*

*В тот же день [после «предварительной обработки» Зускина, как многозначительно напоминает Бежанов. — А.Б.] Рассыпнинским был составлен примерный текст (проект) протокола очной ставки, апробированный Абакумовым. Поздно ночью Рассыпнинский ознакомил меня с этим текстом и предложил изучить на память.*

*На следующий день Рассыпнинский под утро проверил, насколько я изучил и усвоил и в точности ли помню содержание проекта протокола, и ушел.*

*Очная ставка состоялась на второй или на третий день, и я принужден был по заблаговременно составленному и изученному тексту протокола «изобличать» Жемчужину.*

*На очной ставке присутствовал сам Абакумов, который впоследствии, через следователя, вызвал меня к себе в кабинет, похвалил, похлопал по плечу, назвал меня «настоящим советским человеком» и тут же приказал Лихачеву и Рассыпнинскому отпустить мне из специального фонда денег на выписку продуктов питания, фруктов и папирос. Кроме того, приказал выдавать мне беспрепятственно из библиотеки любую, по моему требованию, книгу».*

Какая гармония высших сфер: за бандитское убийство в Минске неведомые нам «настоящие советские люди» по приказу Сталина награждаются орденами и медалями; за участие в моральном уничтожении благородной женщины министр госбезопасности награждает карамелью, пайкой белого хлеба и правом беспрепятственного получения книг из тюремной библиотеки.

Милость министра как проклятие на Зускине. Через некоторое время, сказал Зускин, «...лично Рассыпнинским были оказаны моей семье такие услуги и помощь, какими никогда и никто из арестованных не пользовался. Таким образом, выполнив «задание» Абакумова, я долго находился в особо привилегированных условиях: сортные папиросы, двойной комплект постельной принадлежности и много других льгот. Это все происходило в то время, когда для других арестованных в тюрьме свирепствовал невероятно тяжелый режим, установленный лично Абакумовым».

Кажется, что министра консультировал опытный психолог, точно рассчитавший такой ход: избрать для «милостей» начальства того, для кого эти милости окажутся мукой, причиной страдания и угрызений совести. «Щедрость» Абакумова — новая ловушка, нравственная пытка для такого человека, как Зускин, расшатывающая и без того никудышные нервы арестованного. В запасе у министра — готовность Фефера дать любые показания против Жемчужиной, с которой он, к слову сказать, не был знаком. Жемчужина? Разумеется, она их сообщник, не зря Михозэл повторял по любому поводу: «Я пойду к Жемчужинной, попрошу у нее совета, она нам поможет...» Это она, скажет Фефер, добилась празднования 20-летия ГОСЕТа и награждения Михозэла орденом Ленина; она бывала на всех премьерах ГОСЕТа; она сразу же поняла, что «проект о Крыме очень актуальный, и его, — как выразилась Жемчужина, — немедля следует ставить перед правительством... она сказала, — продолжал он свою ложь о Жемчужинной, — что там, наверху, плохо относятся к еврейской национальности, поэтому разрешение наших вопросов тормозится». Из всего разговора с Михозэлсом якобы было ясно, что Жемчужина обви-

няет в этом Сталина. «...Она являлась нашей советчицей и наставницей, — изощрялся во лжи клеветник. — Она вообще опекала евреев... посещала синагогу... Это было 14 марта 1945 года, шло богослужение по погибшим во время второй мировой войны евреям. Жемчужина пришла со своим братом и находилась на возвышении, где читают т о р у, куда по еврейским религиозным обычаям женщине заходить запрещено, но для Жемчужиной было сделано исключение... Михозлс часто встречался с Жемчужиной в театре, где у него был отдельный кабинет, на службе у Жемчужиной, на приемах, по телефону, а на приемы в посольствах он попадал благодаря ей... Жемчужина не советовала нам обращаться к Сталину — он не любит евреев, не поможет, а Жданову и Маленкову писать не стоит, они безвластны... Окружающие Михозлса называли Жемчужину не иначе, как «царица Эсфирь» — по Священному Писанию, заступница евреев, — а самого Михозлса — «вождем еврейского народа». Михозлс, бывало, хвастался письмом с таким адресом: «Москва, Кремль, вождю еврейского народа Михозлсу».

Есть свидетельства, что Сталин незамедлительно ознакомился со всеми документами, касавшимися Жемчужиной, — нетрудно понять, как действовали на него все эти фальшивки, какую реакцию провоцировали. Завистливый и мстительный человек проглядывает сквозь каждую строку этих доносов на Жемчужину и Михозлса, сквозь намеки на то, что Михозлс готов принять бремя славы кремлевского «вождя», хотя бы и еврейского, но все же в о ж д я. «Обобщенный протокол» Фефера от 11 января 1949 года, заключавший все эти наветы на Жемчужину (на суде ему пришлось признать несостоятельность обвинений и повиниться перед Жемчужиной, в то время уже отбывавшей ссылку), был в тот же день, незамедлительно отослан в ЦК, Сталину.

Уже в протоколе от 11 января Фефер упоминает об очной ставке с Жемчужиной. Это значит, что вполне благополучный, еще не потревоженный в своей квартире № 48 дома 17 по Смоленскому бульвару пришедшим с ордером на его арест майором Трифионовым, отдохнувший в домашней постели



и выбритый поутру Фефер явился в кабинет Шкирятова на очную ставку с Жемчужиной, прежде оскорблявшей его невниманием и небрежением.

Страх перед Сталиным обострил в Абакумове чувство опасности, усилил постоянно гложущую мысль: не перебрать бы, не выйти за разумную черту, не послать бы, усердствуя, в Инстанцию документ, который откроет «механизм» провокации. Буквально рядом с собой Абакумов беспечно проглядел среди своей челяди коротышку Рюмина, Рюмина — своего могильщика, но со Сталиным Абакумов предельно насторожен. В показаниях против Жемчужиной, во лжи, обрушенной на нее во время очной ставки, Фефер слишком многоречив, захлебывается от усердия, а Сталин умен и весьма искушен в провокациях, он может не потерпеть слишком грубой работы. У самого Абакумова, естественно, сложилось полубрезгливое отношение к «винтику», к осведомителю Феферу, — что, как Сталин однажды отвергнет фальшивку? Нужны и другие у с т а, другие глаза, другой человек — чистый, страдающий и правдивый. Если запись очной ставки Зускина с Жемчужиной положит на стол вождя Шкирятов, Сталин, вполне возможно, спросит у него, очевидца: а что этот еврейский актер, этот «великий клоун» — у них ведь все еврейское в е л и к о е! — как он тебе показался: такой же брехун, как вся их порода? И может случиться, что Шкирятов под свежим впечатлением от не умеющего лгать, потерявшегося Зускина ответит, что нет, нет, Иосиф Виссарионович, этот показался скорее правдивым, чем лживым...

Для замысла Абакумова хорошо, что показание Зускина собрано в один узел: только похороны, гражданская панихида, лишнего он не говорит, именно такой малый, тлеющий уголек позволит вспыхнуть и всему нагромождению лжи о Жемчужиной.

Недавно Полина Семеновна Жемчужина прошла через непомерно тяжкое испытание, авторство которого исследователи убедительно приписывают самому Сталину. Вот страница из уже упоминавшейся, тщательно документированной книги Кирилла Стоярова «Голгофа»:

*«В бессонные ночи со страниц протоколов перед Сталиным возникали многофигурные сцены из тех спектаклей, где он одновременно выступал в двух ипостасях: как автор и как режиссер-постановщик. Это отчетливо видно из дела П.С. Жемчужиной, жены В.М. Молотова.*

*П.С. Жемчужина работала начальником Главного управления текстильно-галантерейной промышленности Минлегпрома СССР и была арестована по распоряжению Сталина якобы за утрату важных документов, которые, надо думать, у нее выкрали специально, чтобы иметь повод для ареста. [Помимо повода должна быть и причина: она, я уверен, не только в том, что Сталину нестерпимо было наблюдать пусть даже не счастливую, но согласную, упорядоченную семейную жизнь его соратников, особенно — «рай в шалаше» с женами-еврейками! И соратники один за другим оказывались без жен... Толчком к созданию «дела Жемчужиной» должно было послужить то, что по уже первым разработкам дела ЕАК, 1946—1947 годов, по донесениям Эпштейна и Фефера Жемчужина начинает фигурировать как поклонница ГОСЕТа. Начальство ждет доносов, и они появляются. — А.Б.]*

*Вместе с нею взяли под стражу ее технического секретаря Мельник-Соколинскую и несколько мужчин, ответственных работников Главка. Жемчужина содержалась в камере Внутренней тюрьмы МГБ не одна — к ней заботливо посадили превосходно воспитанную, очень контактную особу, в чью задачу входило разговаривать расстроенную арестом соседку. Каждое слово записывалось на магнитную ленту, расшифровка которой поступала непосредственно к Сталину. Однажды Жемчужина заболела и через надзирателей попросила полковника Лихачева, возглавлявшего расследование ее дела, ненадолго зайти к ней в камеру. Предварительно испросив на то разрешение у министра, Лихачев пришел к Жемчужиной и пробыл у нее полчаса, а после его ухода Жемчужина охарактеризовала Лихачева как вежливого и внимательного человека. Той же ночью Сталин вызвал к себе Абакумова и всячески поносил его, называя «пре-*

гателем», «продажной сволочью» и «служой двух господ».

Об этом я узнал от Ивана Александровича Чернова — полковника, в то время начальника секретариата Абакумова, — которому сорок два года назад взбудораженный Абакумов поручил отобрать письменное объяснение Лихачева и безотлагательно провести служебное расследование.

В деле Жемчужиной есть еще один впечатляющий факт. Поскольку ни Жемчужина, ни Мельник-Соколинская, ни другие арестованные не признавались во вражеской деятельности — а без их признаний версия обвинения рушилась, — на Лубянке произвели оригинальный эксперимент — путем побоев вынудили двух мужчин из Минлегпрома дать показания о своем сожительстве с Жемчужиной.

На очной ставке с ней они повторили разученные подробности связи вплоть до излюбленных поз и иных скабресных деталей. Оскорбленная Жемчужина, в то время уже пожилая женщина, разрыдалась, а удовлетворенный достигнутым эффектом «забойщик» Комаров шепнул стоявшему рядом следователю: «Вот будет хохоту на Политбюро!»

Эту затею нельзя приписать Абакумову, Лихачеву или Комарову — семейное положение Жемчужиной напрочь исключало всякую самодеятельность. Автор пошлой инсценировки был, несомненно, сам Сталин, больше некому<sup>1</sup>.

...И снова очная ставка, немногочисленная очная ставка в кабинете Шкирятова. Жемчужина могла сначала и не узнать доставленного сюда Зускина. Она только однажды, в горестный день у гроба Михозла, перекинулась несколькими словами с этим человеком, но на сцене видела его много раз, в гриме, в шутовском колпаке, в черном котелке «торговца воздухом», смешного, с перевязанной щекой из «Путешествия Вениамина Третьего». Но он, как положено на очной ставке, уже представлен, потом прозвучал его голос — неуверенный, мягкий, глуховатый. Да, конечно, она знает этого человека — это Зускин.

---

<sup>1</sup> К. Столяров. Голгофа, с. 46—47.

Меня не перестает волновать загадка (и страхи) такой внезапной для нее встречи: какая еще грязь, какой капкан, какое бесстыдство приготовлены для нее на этот раз? Чувство новой опасности не могло не возникнуть в ней; она выдержала и это испытание, отвергая навет Зускина, ибо ничего не говорила ему ни о советской власти, ни тем более о Сталине. Убийство? Да, могло быть и убийство.

Униженный похлопыванием по плечу его как «настоящего советского человека» — в понимании спецслужб! — щедротами Абакумова, выразившимися в затяжке «сортной» папиросой, Зускин, по свидетельству Бежанова, жил с отчаянием в сердце, с жадной похотью повиниться перед кем-нибудь, излить душу, очиститься покаянием. Но именно этой возможности ему намеренно не давали. Когда по истечении долгого, показавшегося вечностью времени к нему в камеру № 82 подсадили Бежанова, вопль души вырвался у Зускина. Сбиваясь и повторяясь, он спешил рассказать о приключившейся с ним неправдоподобной беде.

Вот ее промежуточный — еще перед 12 августа 1952 года — финал: я снова процитирую Зускина по записи Бежанова, из письма Бежанова на имя министра госбезопасности Игнатьева.

*«По истечении 15 месяцев, перед окончанием следствия по моему делу, ввиду отсутствия каких-либо серьезных обвинительных материалов против меня следователь Рассыпнинский принужден был совершить новое преступление: он ознакомил меня со всеми материалами, протоколами допросов всех проходящих по «еврейской националистической организации», с их признательными показаниями о якобы совершенных ими преступлениях и предложил мне написать собственноручно отзыв, то есть мое личное мнение по этому делу. Я написал и дал суровую оценку антисоветской, подрывной работе, в которой они сознались.*

Через несколько дней из моих же собственноручных записей следователь Рассыпнинский смонтировал фальсифицированный «протокол моего допроса». Все мои же обвинительные аргументы он обратил против меня и под сильным н а ж и м о м, насиль-

но заставил меня подписать этот, от начала до конца сфабрикованный протокол»<sup>1</sup>.

Какая изощренная полицейская интрига! «Настоящий советский человек» изолирован, ему отказывают в очных ставках, ему приходится на веру принимать чужие признательные протоколы, он потрясен открывшимися «преступлениями», а точнее — фальшивками, давно отвергнутыми арестованными, он отзывается на них осудительным словом; следует нехитрая манипуляция, и готов новый с а м о о г о в о р.

#### XIV

Краеугольный камень обвинения, наряду с «запродажей» Крыма и буржуазным национализмом, — шпионаж. ЕАК — «националистический и шпионский центр»: это повторялось во всех следственных бумагах, в обвинении каждого из подсудственных. Сионистский шпионаж, его разоблачение и суровая кара были обещаны Инстанции. По сюжету, в качестве шефа шпионского центра как нельзя лучше подходил Лозовский, с его стажем международной деятельности и мировыми связями.

В случае с «ленинградским делом» — делом бывшего секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецова, проходившим в ту же пору, — министр госбезопасности не торопился с обвинениями в шпионаже: здравый смысл и близкое знакомство с арестованным противились такому обвинению. Показания полковника Комарова, после его ареста изощренно переключившего на бывшего министра любую вину, передают колебания и сомнения Абакумова. *«Когда я доложил Абакумову план расследования дела Кузнецова, — утверждал Комаров, — и заговорил про шпионаж, тот, расхаживая по кабинету, принялся рассуждать вслух: «Собственно, какой у этих арестованных шпионаж? Они давно на виду, постоянно находятся под охраной МГБ, каждый их шаг был известен... Начни мы ставить вопрос об их связи*

---

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 10, лл. 165—169.

*с заграницей, в ЦК будут смеяться...» Абакумов часто говорил мне: «Мы солдаты, что прикажут, то и должны делать». Отчего я и не стал допрашивать Кузнецова про шпионаж — кто же осмелится пойти наперекор министру?»*

**В Ц К б у д у т с м е я т ь с я...**

Министр и не подумал о том, будут ли смеяться в ЦК, узнав, что шпионажем «промышляли» престарелый классик еврейской литературы Дер Нистер, лирический поэт-философ Гофштейн, Давид Бергельсон, чья звезда взошла еще в канун первой мировой войны, что выдающиеся мастера театра тоже шпионы-доброхоты в услужении у западных разведок. Почему министр так размахист, неосторожен в этом случае, и не только не возбраняет, но приказывает пытаться арестованных, добывая признания в шпионаже?

Только ли потому, что не опасается пристального интереса к подробностям этого расследования? Только ли потому, что любое обвинение этих «сионистов» заранее допустимо и будет угождать явным и тайным желанием Инстанции?

Чудовищное и в то же время карикатурное обвинение десятков активистов и руководителей ЕАК в шпионаже вдохновлялось как циничным расчетом угодить Инстанции, так и брезгливым антисемитским недоверием к любому из арестованных. Кому же и быть шпионами, как не этим лицемерам и космополитам?! Это они изъездили полмира, они — свои и в Праге, и в Вене, в Варшаве, в Париже или Гамбурге; они — почти все! — изъясняются на чужих языках, у них, куда ни плюнь, братья, сестры, дяди и тетушки, бежавшие я к о б ы от погромов в Европу и за океан, вместо того чтобы скорбно нести свой крест. Кому же и шпионить и продавать родину, как не им — каждый второй из них родился не в России, вернее, в бывшей Российской империи, но непременно на западе и юго-западе, где-то в «черте оседлости», о которой тоже пора бы перестать болтать, как и о погромах, очень давних или времен гражданской войны. Давно бы пора расстаться со злопамятством, не превращать все это в «националь-

ный синдром», в болезненную точку, в питательную среду предательства...

То, что втолковывали следователи госбезопасности арестованным, обосновывая о б р е ч е н н о с т ь евреев на антипатриотизм, еще грубее этих моих предположений, почему с такой легкостью следствие приняло обвинение в некоем повальном, «бригадном» шпионаже всех талантливых и популярных мастеров еврейской поэзии и прозы.

Постановление МГБ от 5 марта 1949 года, впервые объединившее следственные дела руководителей ЕАК в одном деле № 2354, определяло, что все эти лица «...повели подрывную работу, направленную на превращение Еврейского антифашистского комитета в националистический и шпионский центр с п е р в ы х г н е й с у щ е с т в о в а н и я этой организации». Таким образом, содержащиеся в этом постановлении обвинения в передаче «шпионских сведений об экономической и военной мощи СССР» относятся злодеяния ЕАК не к 1943 году, не к поездке в США Михозлса и Фефера, а к концу 1941 года.

3 февраля 1949 года следователь записывает никогда не существовавшие показания Лозовского: «Михозлс и Фефер занялись организацией работы по сбору шпионских материалов для Америки. Многие лица в качестве корреспондентов «Эйникайт» посещали предприятия, различные учреждения и сельскохозяйственные районы, где собирали секретную информацию...» Следователь «раскидывал» по персональным делам арестованных обильные показания Фефера, тот давал их и задолго до ареста, и во Внутренней тюрьме с конца декабря 1948 года. О Лозовском, о котором он в конце судебного разбирательства вынужден будет сказать как о человеке, «малознакомом» ему, в протоколе от 11 января 1949 года Фефер скажет как о вдохновителе и руководителе всего националистического и шпионского центра. «Назначив» Лозовского в о ж а к о м, поскольку Михозлс был мертв, Абакумов был поддержан в ЦК, и персонально Маленковым и Шкирятовым.

Излагая лживую версию оговора с реакционерами США, Фефер искусно выдвигает вперед Михозлса, ускользая в тень при любой возможности. Мол,

перед поездкой он с Эпштейном едва ли не с пафосом говорили в присутствии Михозлса о благородной задаче *«поднять зарубежных евреев на борьбу против фашизма»*, но лукавый Михозлс уточнил: *«Да, задачи большие, но не в этом главное»*. Они увлеченно размышляли о высокой миссии ЕАК, но Михозлс думал о другом: *«Прикрываясь вывеской ЕАК, мы будем вести работу по объединению евреев, проживающих в СССР; с созданием ЕАК мы получили легальную возможность для работы среди евреев. Мы будем силой, способной граться за свои права»*.

Господин Будиш, глава добровольного благотворительного объединения «Амбиджан», прикрикнул на Михозлса и Фефера в Нью-Йорке в 1943 году: *«Вы присылаете нам очень мало информации. Нам нужно больше. Особенно нам нужны фотографии. Нужны материалы о новостройках. Нас интересует весь Дальний Восток. Это же богатейший край, и мы, американцы, так мало знаем его... Таким образом, — утверждал Фефер, — шаг за шагом американцы прибирали нас к рукам»*.

И венец саморазоблачений — страшное, если поверить ему, признание, подытоживающее роковой 1943 год: *«Я должен признать, что после того, как в 1943 году мы побывали в Америке и установили там преступную связь с представителями реакционной еврейской буржуазии, ЕАК полностью подпал под американское влияние, превратившись фактически в подведомственную им организацию»*.

Такое признание принесло удовлетворение полковнику Лихачеву и, несомненно, Инстанции — от Шкирятова до Сталина, которому в конечном счете и адресовались три десятка страниц этого «обобщенного протокола». На последующих допросах (15, 20, 28 января; 4, 9, 15, 21 февраля; 14, 19, 26, 29 марта; 4, 9, 18, 22 апреля; 5, 14, 19, 25, 31 мая; 9, 11, 14, 18 июня и еще на 10 фиксированных допросах 1949—1950 годов) Фефер развернул такую фантастическую картину всеобщего тотального злодеяния еврейских националистов, что любой из сколько-нибудь заметных деятелей еврейской культуры превращался в открытую, незащищенную мишень. Поистине это была работа могильщика нацио-



нальной культуры и языка, как ни горько выносить такой приговор человеку, казненному вместе со своими жертвами.

На многих допросах выделяется — как важнейшая — тема шпионажа. Но ни одного документа, ни одной цифры или детали, которые подтвердили бы эти тягчайшие обвинения. Ничего не говорящие, расплывчатые фразы вроде: *«Кое-какие данные о военных заводах, где директорами были Гонор и Быховский [т.е. директора-евреи, которые, таким образом, тоже оказываются под ударом как поставщики военных секретов. — А.Б.], и эвакуированном в Куйбышев «Шарикоподшипнике».* Из статьи Абрама Кагана в Америке получили полное представление о промышленных и научных учреждениях Киева. Аналогичные статьи Каган по нашему заданию, — показывал Фефер 7 марта 1949 года, — составил также о Житомире и Виннице... Под видом культурной связи с американскими евреями мы посылали туда шпионские материалы о Советском Союзе.

Нескончаемая череда «разоблачений» завершалась слезной просьбой к палачам: *«Прошу поверить мне, что я искренне раскаялся в совершенных мною преступлениях против партии и Советского правительства и в ы г а л следствию своих сообщников».*

В «сообщниках» оказались десятки и десятки писателей, точнее говоря, в с я еврейская советская литература, известные и неизвестные журналисты, писавшие на идиш и ездившие по командировкам газеты «Эйникайт», и те, кто по своему почину присылал статьи, очерки и рассказы, и каждый, кто работал над заказными материалами по просьбам множества еврейских изданий США, Южной Америки, Англии и других стран мира.

Архив ЕАК и редакции «Эйникайт», многие сотни копий очерков и статей — только подумать: открыто хранимые копии «шпионских» материалов, специально для будущих разоблачителей и следователей! — были, как я уже писал, на грузовиках вывезены на Лубянку. Шли годы, никто не обнаружил в них крамолы. Но одно прикосновение в страницам еврейской газеты, даже неудавшаяся по-

пытка напечататься, простая присылка в «Эйникайт» письма или заметки автоматически «посвящали» корреспондента в шпионы — иначе зачем бы он домогался этой связи, зачем бы писал на идиш, свободно владея русским языком? В помраченном сознании людей, подобных полковнику Комарову, верность «квадратному письму», родной азбуке, языку предков воспринималась как недобрая скрытность и неблагонадежность.

На судьбе 60-летнего Давида Гофштейна — человека немного не от мира сего — можно видеть, с каким цинизмом стряпались обвинения в шпионаже. Летом 1941 года Гофштейн вместе с другими пожилыми писателями Киева, украинцами, русскими, евреями, с их семьями эвакуировался в Уфу. Осенью в Уфе оказался и Ицик Фефер, после 50-дневного пребывания на Юго-Западном фронте в резерве Политуправления. Когда в начале 1942 года Фефера вызвали в Куйбышев, где разворачивалась деятельность ЕАК, тихий, всегда не востребованный начальственными лицами Гофштейн оставался в столице Башкирии. *«Его любили, и он любил людей, — писал о Гофштейне неподкупный свидетель времени, украинский поэт Максим Рыльский. — Он мог самозабвенно хлопотать об издании книги начинающего поэта, в котором открыл талант. Он с такой чарующей простотой, с таким непритворным увлечением входил в интересы малознакомых и даже незнакомых людей, что никто этому в конце концов и не удивлялся... Он был врожденным и убежденным демократом».*

С юношеским горением принимается маститый поэт за будничную газетную работу, пишет о рабочих Уфы, о делах тыла, о тружениках — башкирах, русских, украинцах, евреях, татарах; пишет стихи, которые, к его радости, быстро переводятся для русских и башкирских газет, выступает на антифашистских митингах. Энергичный, веселый вопреки всем обстоятельствам жизни: полуголодному существованию, поношенной одежде, — он аккумулятор бодрости, способный зарядить толпу своей верой и жизнерадостностью. Ах, если бы все вокруг понимали его стихотворные строфы в оригинале! Он был бы готов ча-

сами читать им стихи, учить тому, что добро в мире и мировая гармония непобедимы, что счастье, добытое в тяжелых испытаниях, стократ весомо. Он прочитал бы им «Автопортрет», и они поверили бы, что это он о себе — искренне, простодушно, как и должно поэту:

Как это чудо со мной приключилось?  
Вдруг на лице моем ярко раскрылись  
В немом восхищенье ребячьи глаза.  
Тяжкие веки, суровые брови...  
А из-под них с удивленьем, с любовью  
Весь мир озирают ребячьи глаза

Людам города, его военной нужде он платил дань поэтическими строками, пытаясь соединить привычный ему философский склад мысли, нежное поэтическое восприятие жизни с ее жесткой, жестокой прозой.

Но вот 5 февраля 1952 года, перед завершением следствия, он в который уже раз слышит уничтожающие слова о шпионаже:

*«Вам предъявляется «Список авторов ЕАК в СССР», изъятый из архива комитета, в котором указано, что только за период с июня 1945 по июнь 1946 года было послано в зарубежную печать 18 ваших статей. Почему вы пытаетесь умалить свою роль в деле сбора ш п и о н с к и х данных для иностранных государств?»*

Гофштейн молчит: как можно на это ответить?

Он в те дни корил себя, думая, насколько можно бы делать для страны, для общего дела больше, перед ним пример Ильи Эренбурга, чьих статей всякий день ждали читатели! Оказывается, 18 статей — преступление.

Гофштейн молчит, следователь фиксирует стандартно:

*«С выводами экспертизы полностью согласен».*

На допросах в Киеве его не подозревали в шпионаже: он посчитал бы сумасшедшим каждого, кто додумался бы до такого. Но спустя два месяца в Мос-

---

<sup>1</sup> Орывки из многих стихов приводятся автором по следственным материалам. — Прим. ред.

кве, в «охотничьих угодьях» Абакумова, под железной рукой принявшегося за него следователя Лебедева, избитый, униженный и оплеванный, он готов и самого себя заподозрить в чем-то похожем на «шпионаж». Он не подозревает, что Фефер уже снабдил Лебедева подробностями уфимской, куйбышевской и послевоенной киевской жизни рассеянного чудака Давида Гофштейна. Уже 16 декабря 1948 года, за неделю до ареста Фефера, Лебедев фиксирует в протоколе первые «злодейские» признания Гофштейна:

*«По приезду в Уфу мне удалось собрать сведения о работе евреев на военном заводе № 26, об эвакуации промышленных предприятий с запада на восток и восстановлении этих предприятий в Уфе. Удалось собрать сведения об Ишимбаевских нефтяных промыслах и о деятельности евреев в ряде государственных учреждений Уфы».*

Он действительно побывал на заводе № 26, написал стихотворение «Дорога на завод № 26», но следствие стало расшифровывать стихи как шпионское послание заокеанским боссам. Стихотворение очень характерно для поэзии Гофштейна: от будней, от тяжелого труда в цехах завода, где куется оружие «...против черных сил вторжения», взгляд его переходит к прекрасной женщине, на лице которой пятна — пигмент будущего материнства.

И смысл особый получил лучистый свет в копне ее волос.  
Как сложно в мире все, я понял в этот миг,  
Как много скрыто тайн в обычнейшем явленьи!  
Я будущих побед увидел становленьи  
И в муках нынешних — грядущей славы лик!

И ни строки больше о заводе № 26 — ни в статьях, ни в письмах, ни в стихах. А Ишимбаевские промыслы? Что он узнал о них? Что сообщил хлопотливым нью-йоркским евреям, своим заокеанским «шефам», о деятельности евреев «в учреждениях Уфы»? Бред, бред постыдный, параноидальный бред. В обвинительном азарте следчасть МГБ теряет всякое чувство реальности: зачем союзникам-американцам выведывать через Гофштейна подробности эвакуации предприятий с запада на восток; это могло бы инте-

ресовать разве что гитлеровские службы, но тогда Гофштейн — агент Берлина, нацистский резидент...

Более полутора московских тюремных лет проходят в безуспешных попытках «вывести» Гофштейна хотя бы на подобие шпионажа. На исходе мая 1950 года его передают в руки мастера «физических мер воздействия» майора Жирухина, к которому рано или поздно попадали почти все заупрямившиеся подследственные по делу ЕАК. Но и Гофштейн уже не новичок, он нащупывает свой путь борьбы, свою, а бы сказал, швейковскую манеру сопротивления. Вот как он «покаялся» на допросе у Жирухина 29 мая 1950 года:

*«— В 1942 году в связи с приобретением для себя обуви и одежды я посетил швейную фабрику имени 8 марта и обувную фабрику имени Ворошилова. При посещении мне у г а л о с ь [это слово — «удалось» — следователи вписывают с особым удовлетворением: значит, была тайная цель, пришлось потрудиться, было нелегко; не просто увидел, а у д а л о с ь увидеть, разглядеть, узнать... — А.Б.] видеть некоторые цеха фабрик. В своих статьях для заграницы я сообщил, что названные предприятия снабжают воинские части обмундированием и снаряжением...*

— *Кто вам об этом рассказал?* — теснит его по всем правилам детектива майор Жирухин, по оплошности записывая и неуместное, обличающее безнадежную цивилизность Гофштейна слово «снаряжение».

— *Никого я сейчас не помню.*

И правда, не помнит, а вспомни — если бы такое случилось — какую-нибудь замученную труженицу, начальника какого-либо цеха и назови он фамилию, то и срок давности не спас бы названного; нашли бы, как находили жалобщиков — крымских колонистов или добровольцев, рвавшихся воевать «против Черчилля».

Так военно-стратегические секреты уфимской швейной фабрики открылись Пентагону, ЦРУ и американским сионистам. И нет пощады предателю, который и в стихах из Уфы изловчился выдать важный государственный секрет:

Снег глубок, и вечер тих...

Шьют здесь обувь в мастерских —

Все для ф р о н т а, все — для них!<sup>1</sup>

«На обувной фабрике»

Вершина «шпионских» деяний Давида Гофштейна — разглашение сведений о будущем его родного местечка Коростышев на Житомирщине. «Ложь! — закричал на Гофштейна старший следователь Лебедев, когда арестованный пытался объяснить ему, что написал о Коростышеве в открытом письме за океан, бывшим своим землякам, у которых в России оставались близкие. — Ложь! Нам точно известно, что не еврейские круги, а американскую разведку интересовала посылаемая вами информация!» И Гофштейн, вновь «взгретый» до потери сознания, дает волю фантазии: «После войны мне удалось (! — А.Б.) собрать сведения о вновь открытых залежах каменного угля в Коростышеве и начинающемся там строительстве шахт, рабочего городка и железной дороги Коростышев — Житомир...»

За годы следствия канули в небытие коростышевские уголь и шахты, о которых, быть может, и заговаривали когда-то мечтатели из городской или районной газетки; любимый городок так и остался заштатным, а прочувствованные письма Гофштейна землякам, опубликованные в еврейской прессе, только выразили мечтательную душу поэта.

Когда на процессе генерал Чепцов сурово спросил у Гофштейна о его связях с разведкой, уповавший именно на суд Гофштейн растерялся.

«— Какие у меня есть сведения о разведке? — переспросил он. — Я был связан только с местечком Коростышев. Я делал все то, что нужно, чтобы связать это местечко с их землячеством в Америке. Чтобы дать последним представление, сколько их земляков погибло, сколько осталось вдов и сирот. И они действительно стали направлять туда письма. Я посылал письма и получал сам много писем из Америки с просьбой сообщить: не знаю ли я, куда делся

<sup>1</sup> Д. Гофштейн. Избранное. М., «Советский писатель», 1958, с. 353.

такой-то родственник человека, живущего в Америке. А в Бердичеве и Житомире я не был...

ЧЕПЦОВ: — Зачем же вы на следствии упоминали Бердичев и Житомир? Где вы говорите правду, где ложь?

— Ничего не помню... — бормочет старый поэт<sup>1</sup>.

Он помнит, как сам задал Лебедеву тот же вопрос, перед тем как подписать лист протокола: «Зачем Бердичев и Житомир? Я ведь о них не говорил...» Но Лебедев обратил к нему хорошо знакомый свинцовый взгляд, и Гофштейн поспешил расписаться внизу страницы. Он не станет жаловаться даже здесь, на суде, не станет дерзить, как это делают Лозовский, Лина Штерн, Маркиш или Шимелиович; в конце концов сам Бог положил Коростышев рядом с Бердичевом и Житомир, пусть будет, как хочетследователь.

Таков весь, до последнего слова, исчерпывающий «шпионский багаж» Гофштейна. Ничего другого, ни дуновения ветра, ни шевеления легкого осеннего листа на ветке, — только это. Я невольно испытываю чувство неловкости: можно ли писать о таком? Не дурной ли это анекдот?

Разумеется — анекдот. Новый еврейский анекдот эпохи полного торжества сталинского братства народов, но анекдот с трагическим финалом — пулей в затылок.

«Шпионский портфель» Переца Маркиша невелик, однако стоил ему жизни...

В июле 1949 года подполковник Рюмин принимает на время к своему производству дело Переца Маркиша. Надо было положить конец упорству подсудимого, сломить его волю, «переиграть» этот сильный и независимый ум. Маркиш безбоязненно вступал в споры: он готов был критически взглянуть на себя и на своих литературных коллег, среди которых его постоянный недоброжелатель Фефер, но ни в каких преступлениях он сознаваться не желал. Позиция Переца Маркиша и

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, л. 65.

на суде была непоколебима: *«Ничего общего с Эпштейном и другими националистами в Еврейском антифашистском комитете у меня не было, и к проводимой ими антисоветской деятельности я никакого отношения не имел»*. Пусть винятся в преступлениях те, кто их совершал, кто приписал их себе по дьявольскому помышлению, кто походя обвинил других, безвинных, — он готов выслушать любую критику своих романов, поэм, драм: его внутреннему миру, который никому не разрушить, посильна любая хула!

Шли яростные атаки на Маркиша. Надо было сломить гордеца, чей взгляд даже до предела измученного человека все же сохранял независимость и скрытое презрение. Заставить склонить любым способом с вызовом поднятую заносчивую голову. Маркиша чаще других бросают в карцер: по распоряжению самого Лихачева его дважды загоняют в эту страшную холодильную камеру. В первой половине февраля — сразу на семь дней, срок предельный, которого, как известно, не выдержало и гвардейское здоровье Абакумова.

Насилие не сломило Маркиша, он стоит на своем, заявляя, как и на первом допросе после ареста: *«Винным себя в проведении шпионской деятельности не признаю»*. Следователь настаивает: *«Гольдберг — американский шпион, и вы снабжали его информацией о Советском Союзе»*. Маркиш возразил: *«Я объяснил Гольдбергу, что антисемитизм в СССР преследуется по закону, что советские евреи живут хорошо среди русских, украинцев и других народов, общились к их быту, культуре и поэтому не едут в Биробиджан и не желают учить своих детей в еврейских школах»*.

Только в июле 1949 года, когда за Маркиша принялся Рюмин, родился наконец огромный (51 страница!), достойный Инстанции «обобщенный протокол». Но и в нем, отмеченном горькими уступками, и прежде всего вынужденными, спасительными отречениями от иных своих, и только своих, дорогих душе поэм и пьес, — ни слова, ни полупризнания в ш п и о н а ж е. Следователь пустил в ход запомнившуюся кому-то из арестованных фразу Гольдбер-



га, обрадовавшегося, после знакомства с Маркишем, остроумному, раскованному собеседнику: *«Посидишь с Маркишем час, узнаешь больше, чем за неделю от других!»*

Маркиш молча выслушал запоздалый, повернутый против него комплимент заокеанского гостя, а следователь торжествующе занес в протокол: *«Как видите, Гольдберг с головой вас выдал как американского разведчика».*

Одна эта фраза Гольдберга — единственная! — никем не подтвержденная, не наполненная реальным содержанием, легла в основу тягчайшего обвинения Маркиша в шпионаже.

Признаний в шпионаже мы находим в протоколах дела ЕАК немало: авторы, писавшие для зарубежной печати то, о чем уже не раз сообщали газеты страны, приводя факты и цифры, ставшие достоянием миллионов читателей, попав под жернова насилия и следственного шантажа, люди, которым отшибли не только почки, но и память, зажатую судорогой страха смерти, — признавались в шпионаже. И никого не смущало, что у этого «шпионажа» нет л и ц а, нет назначения, адреса, содержания, смысла, логики, а если что и называется из реалий жизни, то на уровне «коростышевских каменноугольных шахт» или уфимской обувной фабрики имени Ворошилова, где бедняга Гофштейн втайне мечтал обзавестись ботинками...

Трагическая Мириам Айзенштадт-Железнова, сломленная побоями и матом, трепеща, признавалась в тяжком «шпионском» грехе: *«Мне у д а л о с ь [опять это знакомое словечко: «удалось»! — А.Б.] получить материалы примерно о 12—15 военнослужащих-евреях, удостоенных звания Героя Советского Союза»<sup>1</sup>.* По логике следствия, она совершила два преступления: проникнув в наградной отдел или в отдел кадров, узнавала и выдавала военные секреты и одновременно работала на обособление еврейского народа, противопоставляя героев-евреев героям-нееврейцам, ослабляя тем самым обороноспособность

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXVII, л. 44.

страны. «В Америку и ряд других капиталистических государств, — каялась несчастная, уже не замечая безумия происходящего, — были направлены мои очерки «Статуя», «Саррочка» и подобные им статьи. В этих очерках я в преувеличенном виде показывала страдания и жертвы евреев в годы Отечественной войны, оставляя в тени лишения советского народа»<sup>1</sup>.

«В очерках Нафтолия Кона, направленных нами за границу, — сказал на допросе редактор ЕАК Наум Левин, — содержались данные о восстановительных работах на шахтах Донбасса, о жизни евреев-шахтеров и евреев-инженеров»<sup>2</sup>.

Несть числа, если поверить следственным фальшивкам и «признательным» стонам арестованного по делу ЕАК журналиста Самуила Персова, его черным злодеяниям. В смертельном испуге, окончательно потерявшись, он готов был принять на себя любой грех, повиниться буквально в каждой написанной им фразе, записать в свой преступный кондуит решительно все, вплоть до восхода и захода солнца!..

Оказывается, он установил и открыл буржуазному враждебному миру, что: 1. «...начальником инструментального цеха автозавода имени Сталина является еврей Сегалович»; 2. «...описал технологию производства сукна «Москва» на московской суконной фабрике «Освобожденный труд»»; 3. «...сообщил американцам, что в начале войны на Урал был перебазирован Гомельский завод сельскохозяйственных машин, который эвакуации не подгорит». «Американцы интересовались участием Светланы Сталиной в военной и оборонной работе, — фантазировал Персов в ужасе от того, что проваливается в трясины, а остановиться не может. — Какие изменения произошли в ее жизни, довоенные интересы, любимые занятия, культурная жизнь Светланы в дни войны, ходит ли она в школу, оперу и балет. Американцы хотели, что-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXIX, л. 150.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXVII, л. 42.

бы Светлана высказала свои личные надежды, пожелания и планы на будущее. Как Светлана относится к Америке, что она думает о послевоенном положении женщин и о причинах, почему женщины должны бороться против фашизма. О степени значимости такого материала, — замечает потрясенный собственной дерзостью член Союза советских писателей Самуил Давидович Персов, — *вряд ли стоит говорить*<sup>1</sup>.

До дочери Сталина Персов не добрался, но разве для казни не достаточно столь дерзкого, отдающего террором замысла?! Это уже не Гомельский завод сельхозмашин, интригующий спецслужбы Америки нежеланием резвакуироваться из Уфы, и даже не выдача американцам «секрета» о национальности авиаконструктора Лавочкина! *«На замечание Гольдберга, почему Лавочкин носит русскую фамилию, я ответил, что, хотя Лавочкин Семен Алексеевич и носит русскую фамилию, он не теряет еврейского облика и что, являясь сыном еврейского учителя, получил широкую известность в связи с тем, что он — один из первых авиаконструкторов, который значительно облегчил конструкцию самолета, заменив металлические части самолета деревянными»*.

Плакать или смеяться?

Лучше бы посмеяться, но не выходит, не больно смешным это кажется, когда узнаешь, что именно этих грехов хватило для расстрела журналиста.

На редкость изобретательным в «шпионаже» оказался и прозаик Абрам Каган, летописец жизни города Киева; он разгласил «военную тайну» о местожительстве матери советского военачальника Малиновского, назвал родное ее село на Винничине; а главное — *«...собрал сведения о работе клиники профессора Губергрица в Академии наук УССР. Наряду с возвеличением Губергрица как еврея-ученого и описанием его биографии Каган информировал США в*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXX, лл. 24, 25, 28.

*отношении разработки этой клиники новых методов лечения желудка»<sup>1</sup>.*

Следчасть Лубянки готова назвать секретом любую цифру, прозаическую зарисовку. Шаблонный пейзаж заполярного Норильска выдается за преступное разглашение оборонных сведений. *«Норильск — это типичный индустриальный пейзаж. Огромные заводские корпуса, прямые улицы, по которым деловито снуют автомашины. Железнодорожная станция со сложным переплетением стальных нитей; плотина; нарядные коттеджи; обсаженные лиственными горами склоны... Таков сегодня Норильск, заполярный город угольщиков, рудокопов и металлургов. Несметные богатства веками лежали под броней вечной мерзлоты. Теперь Норильск — поставщик фронта, отсюда идет металл»<sup>2</sup>.* И вслед за этим «шпионским» абзацем уголовное обвинение: «Статья «Эйникайт» — «Город в тундре» — дает представление о степени освоения полярных районов СССР».

Невольным шпионом, разгласившим военные секреты о... самом себе, оказался Давид Суражский, только что удостоенный Сталинской премии. Позабыв о происках враждебных разведок, он на страницах «Эйникайт» открывает «сенсационные тайны»: *«Наша радиометрическая станция — это автомат, который 4 раза в сутки, через каждые шесть часов, без всякого участия человека передает по радио сведения о температуре, давлении, влажности воздуха, о направлении и скорости ветра... Иногда я сам себе не верю, что я, сын бедного ремесленника-еврея, токаря из Гродно, получу высшее образование, стану изобретателем и получу Сталинскую премию...»<sup>3</sup>*

С. Шпигельглас в статье «Два года со дня освобождения Советской Белоруссии» привел хорошо известные республике и всей стране цифры: *«Из 800 тысяч евреев, живших в Белоруссии до войны, гитле-*

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXVIII, л. 28.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXXII, л. 63.

<sup>3</sup> Следственное дело, т. XXXI, л. 308.

ровцы истребили около 500 тысяч. В одном минском гетто немцы зверски убили 85 тысяч евреев. Из 15—18 тысяч евреев, проживающих сейчас в Минске, не менее 5 тысяч вернулись из партизанских отрядов...»

Формула обвинения готова и в этом случае: «Не подлежит оглашению. Составляет военную и государственную тайну в мирное время»<sup>1</sup>. Чьи секреты берегли подобные законники? Неужели побежденных гитлеровских палачей, расправившихся с обитателями Минского гетто?

В первые недели дознаний, в дни страшной по внезапности обработки арестованных, когда, казалось, меркло сознание, была сломлена воля, следователи настойчиво добивались признания в шпионаже. «Ваша статья «Трудовой подвиг рабочего класса Советского Союза», — объявил Юзефовичу следователь, — отправленная ЕАК в Америку, Канагу и Палестину, как это установлено экспертизой, содержит сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза». Между тем в статье шла речь о пуске домны на Магнитке, фотографии которой, вместе с победными рапортами, давно обошли все газеты; о вводе в строй Челябинского и Узбекского металлургических заводов, широко разрекламированных в печати; о новых действующих линиях железных дорог; обо всем том, что было предметом гордости возрождающейся после тяжких потерь страны, что стало уже публицистическим стереотипом, повторением хорошо известных миру фактов и событий.

Даже Шимелиовича, когда он предстал 11 марта 1949 года перед Рюминым «не похожий уже на человека» после обработки его Шишковым и не в силах был ни стоять, ни сидеть после примерно тысячи ударов по ягодицам и по пяткам резиновой палкой, даже Шимелиовича, то и дело падавшего на четвереньки, Рюмин пытался обвинить в шпионаже. Шимелиович как главный врач Боткинской больницы написал, а ЕАК отправил за рубеж об-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXII, лл. 91—92.

зорный очерк о жизни и буднях этой клиники. Сомнительно вообще, чтобы любые медицинские новшества, спасающие жизнь людей, составляли предмет стратегической секретности, но в очерке Шимелиовича и не пахло новшествами. Он вел живой разговор о любимом детище, о большом медицинском коллективе, одном из лучших в стране. Статья, озаглавленная «Письмо за океан», была опубликована, но следователь напуская таинственность и подозрительность, оперирует машинописным экземпляром этого п и с ь м а.

«— Вам предъявляется изъятое у вас при аресте так называемое «Письмо за океан», в котором вы общали американцам самые подробные сведения, касающиеся больницы им. Боткина.

— «Письмо за океан», — сказал, если верить рюминскому протоколу, Шимелиович, — *действительно представляет из себя шпионскую информацию*. Он подписывает это в бреду, настолько не сознавая собственных слов, что и подписи его под листами прокола не узнал бы никто из близких. Это обвинение доктора Шимелиовича в шпионаже настолько карикатурно, что не смогло продержаться до суда и в судебном слушании не возникало.

Вениамин Зускин, запертый в одиночке после удачно сыгранной последней «роли» в кабинете Шкирятова, несколько раз вызывался на короткие допросы, с перерывом в три-четыре месяца. Спрашивали о Давиде Заславском, об исполнителе еврейских народных песен Эпельбауме, заведующем литературной частью ГОСЕТа времен эвакуации театра в Ташкент Залмане Мордуховиче Окунь-Шнеере. Рассыпнинский лениво перебирал какие-то подробности детства Зускина в Паневежисе, симулируя допрос. Возникают и новые имена — композитора Моисея Вайнберга, пианиста Гилельса, скрипача Фихтенгольца, драматурга и старшего (бывшего!) следователя по особо важным делам прокуратуры СССР Льва Шейнина, а также других.

При чтении сотен протоколов этого дела невольно охватывает странное чувство, будто в огромной стране, а то и в целом мире остались одни евреи, только евреи; будто из всех жителей благословенной страны

только они, евреи, могут быть преступниками, заговорщиками, антипатриотами, злоумышлять против власти. Если на воле, на пространствах, захваченных эйфорией борьбы против «безродных космополитов», к обоямам еврейских имен добавляли и двух-трех неевреев — хриstopродавцев, грешников, почти равных самим космополитам, если на воле это делалось для камуфляжа, то команде Абакумова нужды в этом не было — замысел обнажился в химически чистом виде. Спрашивали и наводили на показания о тех, кто мог быть виновен уже по самой принадлежности к еврейской нации, по широчайшему спектру — от Кагановича и Мехлиса до демобилизованного председателя крымского колхоза.

К весне 1950 года Рассыпнинский передал Зускина следователю Цветаеву. Рассыпнинский возникнет вновь, когда надо будет обмануть Зускина, учинить новый подлог перед началом судебного процесса. Цветаев — сорокалетний дипломированный инженер-экономист, — надо думать, изменил своей профессии ради «романтики» следственной службы в МГБ. Это он, напомним, в октябре 1955 года на вопрос военюриста, в чем обвинялись арестованные по делу ЕАК, заявил: *«В чем конкретно обвинялись арестованные по этому делу, я сейчас не помню»*<sup>1</sup>. Внешняя обходительность, умение держаться без брани определили его место в следствии: он допрашивал арестованных женщин, а заодно и мягкого, женственного Зускина. Но по его же наущению Лихачев и Комаров дважды отправляли Чайку Островскую в карцер, а вежливый Цветаев так истязал ее непрерывными бессонными допросами, что это обратило на себя особое внимание комиссии военюристов в 1955 году.

*«Из следственного дела следует, что вы Чайку Ватенберг-Островскую допрашивали только 20 раз, в деле 20 протоколов допроса, — сказали ему. — А из справки Лефортовской тюрьмы видно, что Островская-Ватенберг вызывалась вами для допросов 109 раз. Как же случилось, что в 89 случаях не был оформ-*

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 176.

млен протокол? Как это совместить с вашим ложным утверждением о том, что она «сама свободно давала показания»? Чем вызывалась необходимость непрерывных допросов в ночное время, точнее, каждую ночь?»<sup>1</sup>

Не подозревал о западне и приведенный к Цветаеву Зускин. Допрос коснулся широкого круга лиц, мировых знаменитостей, связей Михозлса с выдающимися учеными. «Михозлс рассказывал, — показал на допросе Зускин, — что благодаря своему близкому знакомству с академиком Петром Леонидовичем Капицей он бывал в его лаборатории и наблюдал за его опытами над жидким кислородом... Михозлс присутствовал на очень сложных операциях у академика А.В. Вишневого, а выдающийся физиолог академик Орбели даже прочитал, по просьбе Михозлса, серию лекций для ограниченной группы работников театра о природе творчества человека. В этих лекциях Орбели излагал свои последние изыскания»<sup>2</sup>.

Тут и Зускина поджидал удар — несколько цветаевских протокольных строк, преследовавших его остаток жизни: «ЕАК после возвращения Михозлса и Фефера из США стал поддерживать тесную связь с Америкой и направлял туда различного рода шпионские материалы. Надо полагать, что Михозлс для этой же цели использовал и свои посещения лабораторий, клиник и других советских учреждений»<sup>3</sup>.

Этот черный следственный мазок не всплыл на суде: шпионские наблюдения народного артиста за опытами с «жидким кислородом» или полостными операциями знаменитого хирурга — товар, слишком дешевый даже и для небрежливого суда.

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 178.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXIII, лл. 224—225.

<sup>3</sup> Там же, л. 226.



## XV

Не обо всем абсурдном, что было выбито из арестованных по части «шпионажа», Лубянка решалась информировать Инстанцию. Там все же люди, читающие газеты, имеющие представление о жизни: как ни велико их желание получить обвинительный материал на изменнический «центр еврейского буржуазного национализма», отсылать в ЦК откровенную халтуру было небезопасно. За следствием постоянное наблюдение, у ЦК свои политические расчеты на будущий процесс, неосторожный шаг может обернуться катастрофой для министра.

Без доказательств подрывной шпионской деятельности арестованных не обойтись: запродавшись спецслужбам США и реакционным сионистским кругам, преступники *должны были* действовать.

И 30 июня 1949 года, когда пришла пора кончать с делом ЕАК — в папках уже лежали «признательные» протоколы, — арестовали Леона Яковлевича Тальми «как бывшего меньшевика и скрытого троцкиста».

Тальми — идеальная фигура для сталинского репрессивного аппарата. Он родился в 1893 году в местечке Ляховичи Минской области; по смерти мужа мать Голда Тальминовицкая, «торгуя железом и жестью» в местечке Сосновцы, поднимала на ноги двух сыновей: Исаака и Леона. В поисках лучшей жизни братья уехали в Америку, и там в начале 1924 года Леон вступил в компартию. С 1922 года в Америке существовал Еврейский рабочий комитет помощи евреям СССР, пострадавшим от войны и погромов, в 1925 году этот комитет был преобразован в Общество содействия землеустройству евреев в СССР (ИКОР), а Тальми избран его ответственным секретарем.

...Запоздало жалею, что не узнал Леона Тальми в довоенные или первые послевоенные годы — так много в этой личности ума и благородства. Наша страна, в юности вынудившая его к эмиграции нуждой и погромами, осталась навсегда его привязанностью и любовью. Он разделял идеалы революции, верил в то, что свет всечеловеческой истины придет в

мир из России, мечтал, что в этой новой России его братья и сестры — евреи найдут свою судьбу как равные среди равных.

Тальми побывал в СССР в 1929 году как секретарь ИКОР, исколесил Биробиджан вместе с профессорами — почвоведом, агрономами и другими специалистами. Сообща они опубликовали обзорный труд о землях Биробиджана, а Тальми выпустил еще и свою, авторскую книгу — очерковую, живую, написанную талантливой рукой. Называлась эта книга «На целине» и была опубликована в Нью-Йорке в 1931 году.

Вернувшись навсегда в СССР, Тальми пять лет заведовал английской редакцией издательства «Иностранная литература» и среди прочего перевел на английский «Вопросы ленинизма» Сталина. Гражданин СССР, член партии, он много ездил в командировки, писал статьи и очерки для пропагандистских нужд ИККИ (Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала). Но времена, когда на ИККИ и его руководителей можно было ссылаться, защищаясь от политических обвинений, давно миновали, и в ИККИ, куда ни глянь, «враги народа», «троцкисты», «шпионы», «бухаринцы», «меньшевики», «террористы», «лазутчики»... Все было перевернуто, заплевано, «заминировано».

С первого дня ареста Тальми отрицал какую бы то ни было вражескую работу в комитете, к которому, к слову сказать, он и не имел прямого отношения. *«Мои статьи, направляемые в Америку, шпионских данных не содержали»*<sup>1</sup>, — настаивал он, зная, что это правда, что самое придирчивое чтение не обнаружит в них ничего дурного. Ему не верят. У следователя Кузьмишина своя, отнюдь не патристическая логика: зачем же ты за здорово живешь, без задней мысли и тайной цели вернулся из Америки в СССР? На Тальми не действуют ни окрики, ни грязная юдофобская ругань, равно отвратительная в устах часто сменявшихся следователей: Кузьмишина, майора Бурдина, «вежливого» Цветаева, прямолинейного подполковника Артемова и других.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXI, л. 33.

«Ни в чем не виноват!» — твердит он в июле 1949 года, упорствует и в августе: «Повторяю, что шпионажем я не занимался»; и в ноябре показывает майору Бурдину одну правду. Хорошо помнит факты, события, даты, не видит за собой и тени преступления, не говорит ни о ком ни слова неправды, никого не оговаривает, как ни подталкивали его к этому. С мая 1950 года Тальми передают грозе следственной бригады — Артемову, но и после нечеловеческой обработки он, как и прежде, утверждает: *«Я не имею никакого отношения к вражеским делам против Советского Союза. Я думаю, не является ли мой арест какой-либо ошибкой, меня, видимо, ошибочно арестовали»*<sup>1</sup>.

Поразительная, характерная для Тальми интонация — не протеста, а скрытой, мягкой укоризны: не ошибка ли? — всякое ведь случается, все мы люди, а если ошибка, то ее можно исправить! Раздумье, готовность простить опрометчивых тюремщиков, подсказать им выход из неловкого положения. И это после года тюрьмы и садистских насилий, после года худшей из всех возможных для мечтательного Тальми тюрем, года катастрофически перенаселенных Бутырок! Но спустя два месяца, после непрерывных ночных допросов, все та же твердая позиция: *«Я уже не раз заявлял, что ничего не скрываю от следствия. Дополнить это заявление мне нечем и теперь»*<sup>2</sup>.

Как же случилось, что осенью 1950 года Леон Тальми заговорил по-другому: о националистической деятельности комитета ЕАК, о котором он так мало знал, о временах давно прошедших — об Украине, гражданской войне, Центральной Раде, — о событиях, известных ему только понаслышке? По чужим протоколам и под нажимом Артемова он заговорил о *«...таких вражеских вылазках, как антисоветская демонстрация, устроенная в 1948 году в Московской синагоге в связи с появлением там посланника государства Израйля Мейерсон, а также о национали-*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXI, л. 255.

<sup>2</sup> Там же, л. 247.

стической демонстрации, в которую фактически превратились организованные комитетом похороны Михоэlsa»<sup>1</sup>.

Хороша «националистическая демонстрация» — похороны человека, об увековечении памяти которого выносит постановление правительство страны; «националистическая демонстрация» — на которой не прозвучало ни одной еврейской фразы, оратор от ЕАК тоже говорил по-русски, и русская литературная, артистическая Москва, русская интеллигенция столицы прощалась с великим артистом.

Не Тальми придумал осуждение похорон, он вынужденно принял готовую фразу, обвинительный стереотип, то и дело мелькавший в разных протоколах.

*«Рассматривая евреев, проживающих в СССР, как часть «единой еврейской нации», как носителя «особой еврейской культуры», — повинился наконец Тальми, — я в своих статьях трактовал, в частности, еврейскую литературу в СССР не как отряд советской литературы, а как один из отрядов «единой мировой еврейской литературы»»<sup>2</sup>.* Потерявшийся Тальми винился не в проступке, не в наказуемых действиях, а в образе мыслей, никому публично не высказанных, ибо ни он, ни кто другой в те годы не мог осмелиться начертать на бумаге кощунственное: «единая мировая еврейская литература».

В конце сентября, ободренный покаяниями Тальми, Артемов задает ему вопрос в лоб:

*«— На чем вы — националисты — сторговывались с меньшевиками, эсерами и петлюровцами?»*

Как ни абсурдно это безграмотное соединение несоединимых политических сил, Артемов наперед знает, что ответит Тальми.

*— Нас — еврейских националистов — объединяла с украинской реакцией ненависть к Октябрьской Социалистической революции»<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же, л. 276.

<sup>2</sup> Там же, л. 305.

<sup>3</sup> Следственное дело, т. XXII, л. 3.

Я был благодарен Тальми за 15 месяцев его непреклонности — кто мог бы с уверенностью сказать о самом себе, что сумеет так долго «держаться» сокрушительные побои? — и был поражен и подавлен его внезапным сломом. Разгадка наступила только при чтении не следственных, а судебных протоколов. Артемов призвал себе в помощники... Ленина! Все совпало вплоть до мелочей, до даты случившегося превращения. «В конце июля 1950 года, — показал Тальми на суде, — после 14 месяцев ночных допросов и б о л е з н е й [Тальми верен себе и находит даже для суда удобное, вежливое, никого из палачей не задевающее слово: «болезней». — А.Б.], подполковник Артемов, который занимался моим делом, дал мне прочитать высказывания Ленина и Сталина по национальному вопросу и в части его применения к еврейскому вопросу. И хотя многие из этих высказываний мне были раньше знакомы, в частности по ассимиляции евреев, они в моих глазах стали выглядеть иначе. Раньше я этого не понимал, так как я был оторван от еврейского вопроса. Прочтя то, что дал мне подполковник Артемов, я попросил его не вызывать меня некоторое время, дать мне возможность подумать. Я чувствовал, что у меня спала с глаз пелена, мне стало ясно, что вся эта работа в Советском Союзе в области еврейской культуры, которая проводилась под знаменем Советской власти и как будто с согласия ЦК партии, на самом деле была неправильной и, очевидно, какая-то группа еврейских националистов, пробравшаяся на руководящие посты, вводила в заблуждение Советское правительство и партийные органы. Мне стало ясно, что вся политика строительства еврейских школ, музеев и техникумов была в корне порочной и неправильной. Всем, кто имел хоть какое-нибудь отношение к еврейской культуре, ясно, что нельзя акцентировать все на еврейском языке. Для того чтобы еврейский народ развивал свою культуру, нет необходимости, чтобы все было на еврейском языке»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, лл. 207—208.

Лет за двадцать до этого добровольного «семинара в Бутырках» князь Святополк-Мирский в Лондоне, заперев себя не в тюремной одиночке, а в комфортабельном жилье, погрузился в чтение томов Маркса, Энгельса и Ленина, принял марксистский «постриг», переехал в СССР, писал, печатался, теоретизировал и погиб в мрачных пределах ГУЛАГа. Что читал и над чем раздумывал Тальми? Надо думать, Артемов дал ему одно из многочисленных изданий сборника «Ленин и Сталин о национальном вопросе». Вероятно, Тальми распропагандировали статьи Ленина 1913 года, его выступления против бундовского лозунга «национально-культурной автономии» и работу Сталина того же времени «Марксизм и национальный вопрос». «Лозунг национальной культуры неверен, — писал Ленин, — и выражает лишь буржуазную ограниченность понимания национального вопроса».

Я вернусь к этой важнейшей проблеме и к ее уродливому, извращенному толкованию партийной пропагандой и карательными органами страны. Вернусь в связи с предъявленным еврейским писателям и деятелям театра обвинением в буржуазном национализме. Сейчас заметим только одно: Тальми, абсолютизовав сомнительные, конъюнктурные положения Ленина, относящиеся к конкретной исторической ситуации, договорился до такого абсурда, как возможность развития национальной культуры при отсутствии — изгнании, истреблении — национального языка. Заняв такую позицию, уже нетрудно сделать и другой шаг: посчитать греховными, а то и злоумышленными любые усилия в области литературы, театра, школы, непременно сопряженные с языком народа.

Но, и «прозрев» теоретически, подтвердив вслед за Артемовым, что ОЗЕТ разоблачено органами советской власти как вражеская организация и ликвидировано в 1937 году, в главном Тальми стоит на своем: *«Шпионажем против СССР я не занимался»*. А подполковнику Артемову нужны признания в шпионаже: с кого их и получать, если не с человека, долгими годами связанного с Америкой.

*«Вот ваша книга, изданная в 1931 году в Нью-Йорке под названием «На целине». — Артемов предъявляет Тальми хорошо изданный томик. — Вы опубликовали в ней ряд шпионских сведений о Советском Союзе». Ни Артемов, ни «кухня» Бровермана не видят бредовости, кретинизма самой постановки вопроса: о п у б л и к о в а л и ш п и о н с к и е с в е д е н и я. «Вы собирали шпионские сведения о Транссибирской железнодорожной магистрали», — настаивает следователь. Тальми возражает: «Это я отпицаю. Нас интересовал только Биробиджан».*

Изобличая «шпиона», Артемов говорит, что на странице 200 книги Тальми расшифрованы методы светомаскировки; на странице 237 упомянуто, где стояли пограничные канонерки, что Тальми назвал общее количество населения Биробиджана. Но венец шпионского предательства обнаружился уже на странице 12 книги: *«Едем по гористой местности, через бесчисленное число тоннелей — из одного выехали, в другой въезжаем. Аппарат Бенямина Брауна для измерения высоты над уровнем моря показывает, что мы все время поднимаемся: 2500, 2800, 3000 футов над уровнем моря, еще выше — 3500, а потом начинаем спускаться. По карте мы узнаем, что речка, которую мы видим через окно, — это Шилка...»*

*«Будете ли вы наконец говорить правду?!» — негодует Артемов.*

Тальми мог бы сказать, что сотни тысяч пассажиров, проезжавших Круглобайкальской железной дорогой, посвящены в эти «тайны», а на Шилке побывали несколько веков тому назад русские землепроходцы. Но разве Артемов и сам не знает этого?

Нужен, позарез необходим подтвержденный документом «шпионаж».

При обыске у Тальми изъяты две, как гласит опись, топографические карты — Калининской и Смоленской областей — с грифом: «Для служебного пользования». На время эти карты вытеснят все другое: карты, да еще с какими-то пометами на них, — это ли не повод для подозрений, обвинений и так далее? Но вскоре выясняется, что обе карты принадлежат сыну Тальми, армейскому офицеру, и выданы были ему к маневрам, проводившимся в Калининской

и Смоленской областях, и ничего секретного в них нет. 30 сентября 1950 года, вскоре же после поднявшейся следственной «шпионской» бури, обе карты под порядковым номером 10 были включены в «постановление об определении материалов обыска» и в тот же день, 30 сентября, «уничтожены путем сожжения».

Зрелище поистине неповторимое: два подполковника — Артемов и Цветаев, — сжигающие важнейшую и единственную «улику»! С дымом этих горящих бумаг улетучились последние надежды следствия найти доказательства шпионской деятельности Тальми.

Защитит ли это его от казни?

Невозможность обнаружить факты шпионажа толкнула службу Абакумова и его самого на провокацию, вся авантюризм которой открылась вполне после суда и приговора при проверке дела ЕАК.

Кровавая афера следствия удалась. Вынужденные принять на веру, что Гольдберг, редактор еврейской газеты «Дер Тог» (Нью-Йорк), глава Еврейского антифашистского комитета ученых, писателей, художников и актеров США, — американский шпион, следственные перебирали в памяти встречи с ним, сказанные ему или при нем слова, вопросы и ответы в домашних застольях. Человек энергичный, подвижный, деятельный, Гольдберг побывал в Киеве, Одессе, в других освобожденных городах Украины, в Белоруссии, в Риге и других городах Прибалтики, читал газеты тех дней, неутомимо расспрашивал людей, дорожных спутников, располагал к себе веселым нравом. Лицо полуофициальное, облеченное не государственными, но общественными полномочиями, сподвижник Эйнштейна по антифашистской деятельности, родственник Шолом-Алейхема, он побывал в правительственных кабинетах Москвы, Киева и Риги и за домашним столом ряда писателей.

И вдруг оказывается — Гольдберг, как и Поль Новик, редактор еврейской коммунистической газеты «Морген фрайхайд», — матерые шпионы. Такова официальная аттестация, такова данность, и не людям, брошенным в узилище, брать под сомнение эту



характеристику персон залетных, заокеанских, впервые им встретившихся. Вчера, до знакомства, любопытных, но все же посторонних, сегодня, после случившегося потрясения, — чуждых и враждебных. В таких случаях, даже на свободе, память напрягается, силясь проверить всякое сказанное слово, его возможный подтекст, а тем более всякий поступок. Одно дело — если твой новый знакомец, заокеанский гость, дружески одарил тебя пустяковым сувениром, другое — если ты принял л ю б о й подарок из рук шпиона.

Не плата ли это за услуги? Не обещание ли сотрудничества?

Имя Гольдберга упоминается во многих следственных томах, но том XXVIII, объемистый, более чем в 300 страниц, даже озаглавлен в согласии с блефом госбезопасности: «Документы о пребывании в Москве американского шпиона Гольдберга (он же Вейф Бенджамин)». Диву даешься, читая материалы этого тома: статьи Гольдберга о городах России, Украины и Прибалтики, написанные с редким расположением к СССР и к людям всех национальностей, населяющих эту страну, с почтительной благодарностью народу, победившему Гитлера и его армию, статьи, порой восторженные, но не утрачивающие искренности. Письма Гольдберга Михозлсу и руководству ЕАК столь же открыты и недвусмысленны. Объективная, сдержанная позиция даже в таком сложном вопросе, как ситуация в Палестине до создания государства Израиль, понимание того, насколько несвободны, зависимы высказывания на эту тему руководителей ЕАК. Материалы тома не вызывают и тени недобрых подозрений.

Том включает некоторые публикации и письма Поля Новика, не только редактора еврейской коммунистической газеты в Нью-Йорке, но и члена совета директоров «Амбиджана». Докладывая в Нью-Йорке 27 февраля 1947 года о поездке в СССР, Поль Новик говорил: «Что же самое значительное из того, что я видел в Советском Союзе, имеющее отношение к еврейской жизни? Ответ — еврейскую жизнь. Я видел живые еврейские общины». Он вспоминает о том, как трагически сократилось после гитлеровского

геноцида еврейское население Европы, и продолжает: «...но не по вине Советского правительства, которое прилагало большие усилия для того, чтобы эвакуировать миллионы евреев, включая и евреев Польши; не по вине советских людей, которые прятали и ухаживали за этими евреями... На одной только Украине сейчас свыше миллиона евреев, живых евреев, это одно из самых больших чудес в нашей истории»<sup>1</sup>.

Характерно, что жирные и размашистые синие и красные карандаши экспертов, настойчиво выискивающих крамолу, не нашли никакой поживы в XXXVII и XXXVIII томах, где собраны материалы по Гольдбергу и Новичу. В письме Михозлсу от 4 марта 1947 года едва вернувшийся за океан Поль Новик просит помощи у советских друзей. «Здесь находится Лион Финкельштейн из Польши, — пишет Новик. — Он рассказывает всякие небылицы о падении еврейской культуры в СССР. Необходимо дать сильный отпор этим рассказам и показать, обрисовать настоящую правду»<sup>2</sup>.

Что ж, случалось и такое: для полноты конспирации агент, шпион прикидывался патриотом дела, которое он тайно предает.

Но как возникло имя Гольдберга в деле ЕАК? Кто вспомнил об этом человеке? Кто дал повод к подозрениям, а затем и к прямому обвинению в шпионаже?

Полковник Лихачев, как мы знаем, был арестован в начале лета 1951 года вместе с Абакумовым и терялся в догадках, чем же он провинился. То ли тем, как писал Лихачев в собственноручных показаниях, что «дело еврейских националистов с м а з а н о и что в этом повинен я, то ли в недозволенных методах следствия и фальсификации дела». На допросе 27 мая 1953 года Лихачев сказал проверявшим дело ЕАК юристам:

«—...Арестованные сами показывали, что ЕАК превратился в шпионско-националистический центр против СССР.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXVII, лл. 122—123.

<sup>2</sup> Там же, л. 139.

**ВОПРОС:** — А вы подвергли эти показания необходимой проверке?

**ОТВЕТ:** — У меня лично не было сомнений, чтобы проверять эти показания. Я также не слышал, чтобы кто-либо брал под сомнение показания Фефера.

**ВОПРОС:** — По сообщению резидентуры бывшего МГБ в США, деятельность Михозлса и Фефера расценивалась положительно. Более того, Фефер по указанию этой резидентуры устанавливал там соответствующие связи; что вы на это скажете?

**ОТВЕТ:** — Фефер об этом не говорил. И, если память мне не изменяет, с органами МГБ он стал сотрудничать после возвращения из Америки.

**ВОПРОС:** — Вам не представляло труда заполучить дела бывшего 1-го Главного управления МГБ с отчетом ФЕФЕРА о поездке в США и тех связях, которые он там установил по заданию советской разведки.

**ОТВЕТ:** — Я впервые слышу об этом.

**ВОПРОС:** — Приводим вам выдержку из показаний Фефера на суде: «...Я не признал себя на суде виновным в шпионаже. Мои показания о Гольдберге как о враге Советского Союза и шпионе являются сплошным вымыслом. Я пытался это отрицать, но, боясь реализации угроз Абакумова и Лухачева, стал подписывать протоколы, которые составлялись заочно...»

**ОТВЕТ:** — Фефер начал давать показания на первом же допросе без всяких применений к нему мер принуждения; все показания Фефера, в том числе и о Гольдберге, были написаны им собственноручно и затем использованы мною в протоколах допроса.

**ВОПРОС:** — Вы проверяли показания Фефера?

**ОТВЕТ:** — Повторяю, что показания Фефера ни у кого не вызывали сомнений<sup>1</sup>.

Гольдберга-шпиона сотворил, быть может не подозревая, как трагичен будет финал, осведомитель Фефер. По взятой на себя обязанности, он изо дня в день информировал МГБ о маршрутах Гольдберга в

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, лл. 52—53.

СССР, о его визитах к начальству, о встречах с писателями и любых других встречах, так что жестокому наказанию подверглась, загубив свою жизнь, даже случайная попутчица Фефера и американца, с которой тот познакомился в самолете Киев — Львов и которая осмелилась посетить Гольдберга в его гостиничном номере. Когда человека разглядывают под микроскопом, прослеживая всякий его шаг, записывается каждое слово и любое его движение кажется столь значительным и двусмысленным, что о нем докладывается спецслужбе, как не посчитать такого человека подозрительным? В самой настойчивости наблюдения, в неотступности интереса к нему осведомителей — зерно будущих обвинений, свидетельство преступной неординарности личности. Строча донесение за донесением, сочиняя этакий р о м а н - х р о н и к у жизни Гольдберга-шпиона в России — жизни напористой, пытливой, неутолимой в своей пытливости, — осведомитель сотворил фигуру, слишком яркую и удобную для мифа о шпионе из Америки, чтобы отказаться от соблазна.

Быть может, в процессе следствия, в первые его месяцы, Фефер, обнаружив, что загоняет себя в новую ловушку, попытался уклониться, испросил позволения поубавить оговор Гольдберга, но — поздно, мышеловка захлопнулась, угрозы Абакумова остудили Фефера, ввели в привычную для их отношений колею. Решившись оговорить около ста своих соотечественников, а то и близких друзей, не так уж трудно предать чужака, тем более что альтернатива — побои, пытки, карцер с содержанием на воде и ломте хлеба, все то, что Фефер называл «угрозами Абакумова и Лихачева». Поэтому Гольдберга как прожженно-го националиста и шпиона он повел издалека, именно с ним связал намерение американцев издать «Черную Книгу» — «собрал лишь материалы о зверствах немецких фашистов над еврейским населением», — а затем отвел Гольдбергу заметную роль в сборе шпионских материалов.

Другие арестованные, не зная Гольдберга, увидевшие его впервые накоротке, на людях, не смели опровергать утверждение следователей, что он — шпион; напуганные случайным знакомством со шпионом,

встречей с ним, автографом на подаренной книге, они приносили следствию и свои обвинительные крохи. *«Названия и содержания статей Гольдберга я не припоминаю, — винился Квитко в июле 1950 года, — но могу сказать, что он в них с националистических позиций обычно восхваляет еврейскую культуру»*. Давид Гофштейн, в растерянности беря на себя чьи-то грехи, вообразив себя вдруг чуть ли не эмиссаром еврейского народа в человечестве, сказал в январе 1949 года, что на прощальном ужине по поводу отъезда Гольдберга *«...мы заверили его, что проживающие в СССР евреи являются истинными евреями и до конца будут служить идее создания еврейского государства... Прямо из синагоги мы с Гольдбергом поехали во Владимирский собор, — покаянно бил себя в грудь Гофштейн, которого как киевлянина угрозило сопровождать гостя после посещения Гольдбергом Мануильского. — Там есть живопись Врубеля, и мы туда зашли. Я так понимал — если он американец и интересуется, как чувствуют себя верующие у нас, то я его и повез в синагогу и в собор...»*<sup>1</sup>. Давид Гофштейн не учел, что атеисты Лубянки не примут уравниловки: что собор, что синагога...

Когда Перец Маркиш стал отрицать преступную или просто предосудительную связь с Гольдбергом, следователь прервал его окриком: *«Вы солгали! Прекратите запирательство и показывайте правду — Гольдберг американский шпион и вы снабжали его информацией о Советском Союзе»*.

Опасаясь обвинений в связях с Гольдбергом, Давид Бергельсон, встречавшийся с ним в Москве, поспешил уверить своего истязателя Сорокина, что в разговорах с американцем он был тверд, заявил ему, что *«...к созданию в Палестине еврейского государства относился скептически, поскольку не верил, что Палестина, с таким малым населением, сможет противостоять десяткам миллионов арабов и английской политике на Ближнем Востоке»*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, л. 84.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XVII, л. 88.

Характерный эпизод случился уже на судебном процессе:

*«— В протоколе допроса есть одно место, — напомнил суду Бергельсон, — когда следователь говорит мне: «Гольдберг — американский шпион!» Я был так удивлен, что сказал: «Да?!» Это «да» есть в протоколе, но без вопросительного и восклицательного знаков. Я говорил об этом следователю, он ответил, что в протоколе это не имеет значения.*

*— Как же не имеет значения, — возразил председатель суда Чепцов, — когда в связи с этими показаниями вы преданы суду?*

*— Он сказал, что не практикуется писать слова с вопросительным и восклицательным знаками одновременно»<sup>1</sup>.*

Так следователь Сорокин обучал знаменитого писателя новым правилам правописания — «грамматике» Лубянки!

По этим правилам расовой нетерпимости ни в чем не повинная Эмилия Теумин неотвратимо шла к гибели. Арестованная в конце января 1949 года исключительно из-за деловых контактов с Гольдбергом, Теумин, редактор международного отдела Совинформбюро, была отдана в руки полковника Романова, не выдержала истязаний и шантажа и стала давать признательные показания. Не имея отношения к работе ЕАК, мало что зная о людях комитета, уповая на то, что лично она является «честным членом партии и ни с кем в преступных связях не состояла», Эмилия Теумин стала подписывать готовые обвинительные формулировки Романова, а затем и майора Бурдина, вроде того что «...Совинформбюро при Лозовском было превращено в с и н а г о г у, строго хранившую свою тайну и заметавшую следы еврейских националистов» или «Я уверена, что Михозлс и Фефер продались американцам, хотя об этом они мне не говорили...»<sup>2</sup>.

Соппротивление сломлено, воля подавлена, и здравомыслящая Теумин подписывает протокол, обвиня-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 44.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXIV, лл. 75 и 51.

ющий Лозовского в чудовищном — и столь же анекдотическом! — преступлении: «Лозовскому через Минздрав удалось с ф о т о г р а ф и р о в а т ь п р о ц е с с производства открытого советскими учеными антиракового препарата и ознакомить с ним американского корреспондента Магидова. Фото-негативы процесса производства препарата «К.Р.» брались Лозовским, но все ли он их возвратил — неизвестно»<sup>1</sup>.

Так неучи из следчасти по особо важным делам МГБ СССР пытаются использовать постыдное «дело» ученых Ключева и Роскиной, уже пригвожденных сталинской пропагандистской машиной к «позорному столбу бесчестья и измены», втайне снять второй урожай с этого выморочного поля. Но мысль о возможности сфотографировать процесс создания препарата так дика и нелепа, что и это обвинение не продержалось до начала суда, затерявшись в бумажных завалах.

Какие же преступления привели на эшафот сломленную Теумин? За что ответила она, посторонний комитету человек, повинная разве что в том, что родилась еврейкой в далеком городе Берне, куда ее родители бежали от преследований жандармов; что стала образованным редактором, свободно владеющим европейскими языками?

Виной всему Гольдберг, вернее, навязанная ему следствием роль американского шпиона. Готовясь к поездке по Прибалтике, Гольдберг попросил Лозовского снабдить его справочными материалами по трем республикам. Теумин, занимавшаяся в Совинформбюро Прибалтикой, было поручено подготовить такую справку для гостя, справку, которая, к слову сказать, и помогла ему написать дельные, убедительные для иностранного читателя очерки о трех советских республиках. Спустя три года после ареста, в преддверии судебного разбирательства, Эмилия Теумин вновь показала: «Я составила для Гольдберга обзорную справку об Эстонской, Латвийской и Литовской ССР, где охарактеризовала главные города этих

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 85, 86.

республик, промышленность, с указанием количества разрушенных в период немецкой оккупации предприятий и восстановленных к концу 1945 года. Привела я также данные о населении Прибалтийских республик, об ущербе, нанесенном народному хозяйству, о ходе его восстановления, осветила вопросы культурного строительства в Эстонии, Латвии и Литве»<sup>1</sup>.

«Как видите, — сказал следователь, подводя итог допроса, — Гольдберг выезжал в Прибалтику с совершенно определенными разведывательными целями».

Не надо думать, что расторопная Эмилия Теумин, «готовая услужить» иностранцу, и сверхосторожный, прошедший долгую дипломатическую выучку Лозовский беспечно шли навстречу Гольдбергу. Он был достаточно высоким гостем страны, в Киеве его приняли для беседы Мануильский и заместитель Хрущева по Совмину Микола Бажан, а в Москве — сам Калинин. Сталин и Молотов решили непростой в те дни вопрос о выплате через Гольдберга как родственника Шолом-Алейхема наследникам классика еврейской литературы авторского гонорара в валюте США.

Такова была реальность. Только после речи Черчилля в Фултоне давние события приобрели в истолковании госбезопасности зловещую окраску и элементарная для хозяев дома услуга толковалась как шпионская.

Второй «смертный грех» Эмилии Теумин — выполнение технического поручения, не имеющего отношения к ЕАК. Публицист Гольдберг работал над книгой о реакционной роли британского империализма в Палестине, на Ближнем Востоке и других регионах мира, о двуличии политики Черчилля. Можно предположить, что обличительная страсть Гольдберга подпитывалась неблагоприятной ролью правящих кругов Англии в борьбе евреев Европы за обретение родины, за Палестину как единственное для многих спасение. Античерчиллевские страсти сотрясали и Сталина, и на просьбу Гольдберга снабдить его по возможности материалами, разоблачающими британский империализм, охотно ото-

---

<sup>1</sup> Там же, л. 248.



звались и Лозовский, и руководители Идеологического отдела ЦК ВКП(б). Директору закрытого, существовавшего при ЦК «Института № 25» т. Пухлову поручено было такую обстоятельную справку подготовить. За папкой с материалами была послана в «институт» Эмилия Теумин, и она лично передала Гольдбергу папку.

Почему же не отняли у шпиона Гольдберга ни «сверхсекретных» сведений о Прибалтике, ни разработок «Института № 25», ни любых других рукописных материалов, когда, отгуляв прощальный ужин, гостя провожали то ли в Прагу, то ли в Софию? Ведь осведомитель МГБ сообщал буквально о каждой передаче Гольдбергу машинописных материалов, а в них, при посредничестве Теумин, разглашались секреты «чрезвычайной важности», сведения о том, что благодаря восстановлению фабрики «Ега» «...скоро в продажу поступит верхнее и нижнее белье с меткой «Ега» (Литва)»; что «одна из артелей Латвии, «Калвес»... выпускает сверх плана к весеннему севу 1000 мотыг, 500 лопат, 1000 грабель»<sup>1</sup>. Трудно вообразить, какие деньги заплатили бы монополисты США за сведения о том, что у «могильщиков капитализма» появится еще полтысячи обыкновенных садовых лопат!

Полковнику Комарову на допросе незадолго до его расстрела был задан вопрос:

*«— В протоколах допроса Лозовского прогрессивный деятель США Гольдберг фигурирует как у с т а н о в л е н н ы й а м е р и к а н с к и й р а з в е д ч и к. Откуда вы это взяли?»*

— Эти данные, — солгал Комаров, — были получены из 2-го Главного управления МГБ СССР.

— Неправда. По имевшимся в то время в МГБ СССР материалам, было известно, что Гольдберг никакого отношения к американской разведке не имел и является просоветски настроенным человеком.

---

<sup>1</sup> Следственное дело (Документы, изобличающие арестованных в посылке за границу сведений об экономическом положении Советского Союза), т. XXXIX, лл. 65, 77.

— Лихачев мне заявил, что по указанию Абакумова Гольдберг проверялся во втором управлении, где есть данные о том, что Гольдберг установлен как американский разведчик»<sup>1</sup>.

Никто не тревожил «шпионский» багаж Гольдберга и Новика только потому, что в 9-м отделе 1-го Главного управления КГБ (тогда еще КГБ!) при Совете Министров СССР, в епархии того же Абакумова (а до него — Меркулова), знали все, что следовало знать об этих общественных деятелях США. Знали их приверженность Советскому Союзу, настолько очевидную и неприкрытую, что в США их заподозрили в работе на СССР и требовали зарегистрироваться как агентов иностранной державы. Еще в 1946 году этот отдел дал справки на Гольдберга и Новика именно тому управлению МГБ, которое теперь вынимало душу из еврейских интеллигентов за связь со «шпионом Гольдбергом».

Вот эти справки:

*«НОВИК ПАУЛЬ (ПОЛЬ) ХАЙМОВИЧ. По имеющимся у нас сведениям, ФБР США подозревает НОВИКА в сотрудничестве с советскими разведорганами и разрабатывается американской контрразведкой».*

*«ГОЛЬДБЕРГ БЕНЦИОН (1895 г.р.), зять писателя Шолом-Алейхема. В 1927 году стал известен своими положительными статьями о Советском Союзе. С 1934 года по 1937 год под свою личную ответственность, без ведома редактора газеты («Дер Тог»), настроенного антисоветски, печатал корреспонденции известного советского журналиста Шахно Эпштейна. В феврале 1941 года антисоветски настроенная группа сотрудников «Дер Тог», во главе с редактором, пыталась изгнать Гольдберга из газеты «за связь с Коминтерном и ГПУ». С начала Отечественной войны Советского Союза Гольдберг занял твердую просоветскую позицию, и его положение в газете укрепилось. В связи с активным сотрудничеством Гольдберга с ЕАК в СССР его в начале 1944 года вы-*

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 33.

зывали в Министерство юстиции США, где предлагали зарегистрироваться как иностранному агенту»<sup>1</sup>.

Таков схематический, но правдивый портрет Гольдберга той поры, писанный не блудливым пером осведомителя, а нашей резидентурой в США. Но может быть, от следствия скрыли правду о Новике и Гольдберге и священный гнев руководил всеми поступками и домогательствами следователей?

Выяснением этого, важнейшего для всего обвинения вопроса занялась бригада военюристов во главе с подполковником юстиции Н. Жуковым.

«— Установлено, что в момент расследования дела бывших сотрудников ЕАК, — спросили у следователя Зайцева В.П., который одно время вел дела Квитко и Брегмана, — следственным работникам было известно, что Гольдберг и Новик являлись прогрессивными деятелями Америки, что Новик является членом компартии США с 1921 года, что Новик и Гольдберг за активную деятельность в пользу СССР разрабатывались американской разведкой, — были ли использованы эти данные при следствии?»

— Мне такие данные не были известны, — ответил Зайцев».

Уклонился от правдивого ответа и майор Жирухин, принимавший участие в допросах едва ли не всех арестованных, часто как второе лицо — «забойщик», который, как говорится, охулки на руку не положит. Он сказал, что в отношении Гольдберга и Новика безоговорочно верил «...показаниям Фефера, которые не вызывали у меня подозрений в смысле их правдоподобности...»<sup>2</sup>. Давая свидетельские показания позднее, 3 октября 1955 года, Жирухин, однако, предусмотрительно вспомнил, что главный судья на процессе ЕАК, генерал-лейтенант Чепцов, настойчиво требовал от Рюмина и нового министра Игнатьева какую-то «оперативную справку» о Гольдберге и Новике, но справки не получил.

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, лл. 76 и 78.

<sup>2</sup> Там же, л. 159.

Честнее других оказался следователь Кузьмин Борис Николаевич, кажется, единственный из следователей, кто после потрясений 1949—1951 годов порвал с органами госбезопасности и работал мастером сборочного цеха одного из московских заводов.

Как свидетель в ходе проверки он показал:

«— Все материалы, касающиеся дела Фефера, хранились в сейфе Лихачева.

ВОПРОС: — Известно ли вам, что Фефер являлся секретным сотрудником МГБ СССР?

ОТВЕТ: — Об этом мне стало известно летом 1949 года. Лихачев мне об этом не говорил... Лично мне о том, что Гольдберг и Новик являются прогрессивными деятелями, стало известно на втором этапе следствия по делу ЕАК, после июля 1951 года. К этому времени Лихачев, Абакумов и другие работники МГБ были арестованы»<sup>1</sup>.

Известно, что Абакумов, Лихачев, Леонов, Комаров и другие были арестованы по доносу Рюмина. В министерстве воцарился безликий и бездеятельный Игнатьев, дело ЕАК, как и многие другие, он отдал на откуп Рюмину, а тот поручил следствие, то, что Кузьмин назвал «вторым этапом», полковнику П.И. Гришаеву.

«ВОПРОС: — Знал ли Гришаев о том, что на Гольдберга и Новика поступили оперативные справки, и обязан ли был он об этих справках информировать суд?

ОТВЕТ: — О наличии оперативных справок на Гольдберга Гришаев не мог не знать, ибо он руководил следствием по делу ЕАК»<sup>2</sup>.

У полковника Жукова возникло много вопросов к Гришаеву, юристу по образованию, человеку молодому, недавно возвратившемуся из долгой зарубежной командировки в соцстраны, где Павел Иванович Гришаев делился со своими коллегами правовым опытом Лубянки.

11 октября 1954 года вопросы эти были заданы свидетелю Гришаеву, увы, свидетелю, хотя

---

<sup>1</sup> Там же, л. 143.

<sup>2</sup> Там же, л. 145.

законное его место было рядом с арестованным Рюминым.

Почему следствие скрыло от ЦК и от суда имевшуюся информацию о Гольдберге и Новике?

Почему утаили показания директора «Института № 25» Пухлова о том, что в материалах (по институтским трудам) об Англии, переданных Гольдбергу, нет ничего секретного?

Почему следствие проигнорировало то обстоятельство, что все б е з и с к л ю ч е н и я статьи, очерки и другие материалы ЕАК отсылались за рубеж только с проверкой и визой Главлита?

Гришаев мог бы ответить на эти и десятки других вопросов лучше, чем кто-либо другой из оставшихся на свободе разоблачителей «еврейских буржуазных националистов». Формально он подчинялся Н.М. Коняхину, недавно переброшенному в МГБ из аппарата ЦК ВКП(б), человеку новому и неопытному, по сути же дела, именно Гришаев, по распоряжению Рюмина, возобновил после перерыва следствие и повел его решительно, бесчестно, игнорируя материалы, свидетельствовавшие о невинности руководителей ЕАК и всех других подсудимых.

Но на Лубянке долго не знали, какова истинная причина падения и ареста Абакумова, винят ли его в том, что он медлил и либеральничал как с «еврейскими националистами», так и с «врагами народа», проходившими по «ленинградскому делу». Не знал этого вполне и сам Абакумов, и Гришаев осторожно лавировал, только бы оставаться свидетелем и не угодить за решетку. Это ему вполне удалось: защитив себя учеными дипломами, он впоследствии просвещал молодежь, подвизаясь в должности старшего преподавателя Всесоюзного заочного юридического института.

Оставаясь на свободе, Гришаев узнавал сначала об отстранении Рюмина от должности заместителя министра МГБ, об изгнании из органов, а в скорости и о его аресте. Поэтому в собственноручно написанном «Объяснении» комиссии, проверявшей дело ЕАК, он переложил и свою вину на Рюмина, пытаясь представить себя человеком, одолеваемым добрыми, но, увы, тщетными порывами.

С самого начала, писал Гришаев, с 1948 года, все работники следственной части «...настраивались на обвинительный лаг. С особенной силой эта линия стала проявляться тогда, когда к руководству министерством пришли Игнатъев и Рюмин — они принимали все меры к тому, чтобы создать у правительства впечатление, что следствие по делу ЕАК проведено поверхностно и что в этом деле можно вскрыть какие-то глубокие корни... Так, они информировали ЦК оба, — подчеркнул Гришаев, — Игнатъев и Рюмин. Рюмин вошел в это дело в 1949 году и был лично заинтересован».

Как видим, ничего не изменилось: все те же посулы ЦК, обещание глубоких разоблачений опасного для страны шпионажа, а главное — доказательств террористических планов.

«Рюмин углубил ту, галекую от объективности, сугубо обвинительную линию, которую заняли по отношению к арестованным — бывшим руководителям ЕАК Абакумов, Огольцов, Леонов, Лихачев и Комаров, — продолжал Гришаев в своих «Объяснениях». — Рюмин подчеркивал, что с у д ь б а э т и х а р е с т о в а н н ы х уже решена и вся наша работа будет носить формальный характер. «Не выхолостите дело! — требовал от нас Рюмин. — Смазать дело легко, создать его трудно...»

Какое лихое вырвалось словечко: именно «создать», не изучить, не расследовать, не открыть преступные механизмы и связи, а с о з д а т ь, слепить, выстроить на крови и пытках!

«Рюмин в беседах со мной, — защищался Гришаев, — с Коняхиным и другими работниками, принимавшими участие в окончании дела, проводил мысль, что арестованные — это люди обреченные, что вопрос об их судьбе уже решен в Инстанции, вплоть до меры наказания».

Можно ли сомневаться в точности рюминского прогноза, если обвиняется кровь, и ничто другое?!

«Когда начался суд, — продолжает Гришаев, — Лозовский повторил свое требование, приобщить документы о деятельности «Института № 25», однако Рюмин запретил выдать такие материалы Чеп-

цову, так как ознакомление с этими материалами показало бы несостоятельность обвинения Лозовского и других в шпионской связи с Гольдбергом»<sup>1</sup>.

Рюмин так решительно предрекал судьбы арестованных в силу неистребимой ненависти ко всей этой «еврейской гнили»; физического неприятия замордованных, искалеченных интеллигентных людей; тупой, дикарской убежденности в их врожденном антисоветизме; в силу своего авантюристического характера, а особенно того, что, возвысившись до кабинета заместителя министра ГБ, он теперь лично в ы х о д и л на Инстанцию, на Шкирятова и Маленкова, и не из третьих рук знал, чего они ждут, что обещали Сталину и какой уготован приговор арестованным.

Он — Рюмин — был нагл и груб в схватке с главным судьей Чепцовым, сознавая, что, чем очевиднее станет невинность подсудимых, тем сильнее полыхнет ненависть, решимость Инстанции уничтожить их.

Не разум руководил Рюминым, а звериный, животный инстинкт.

## XVI

Непреклонный антагонист Сталина Мартемьян Рютин писал в своем уникальном труде «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» (1932), полвека пролежавшем в архивах Лубянки: «Террор в условиях невиданной централизации и силы аппарата действует почти автоматически. Терроризируя других, каждый в то же время терроризирует и самого себя, заставляя лицемерить других, каждый в то же время и сам должен выполнять определенную долю этой работы... В настоящее время партийный работник должен уметь виться ужом, гнуться, как тростник, непрерывно балансировать на «генеральной линии», как цирковой актер на натянутой проволоке. Прикажут на 100 % коллективизировать — коллективизируй и кричи о подъеме колхозной волны; объявят это «головокружением от успехов» — кайся и уподобляй-

<sup>1</sup> Там же, лл. 86, 87, 88.

*ся унтер-офицерской вдове; декларируют рост благосостояния масс — шуми и кричи об этом, хотя этому никто не верит; дадут сигнал найти троцкизм, правый уклон, левый загиб, право-левацкий блок, троцкистскую контрабанду, гнилой либерализм, буржуазность и перерожденцев — ищи, находи и разоблачай».*

Рютина расстреляли в январе 1937 года, через пять лет после написания этого труда. Пробудись Мартемьян Никитич в послевоенные годы, он не только убедился бы в том, что антисемитизм диктатора превратился из тайного порока в пламенную страсть, но с болью и с отчаянием увидел бы, как описанное им состояние партии распространилось на все общество и атмосфера угодничества, лжи, трусости, холуйства, психологического террора и сталинской так называемой самокритики, смысл которой в растаптывании личности, — как эта атмосфера сделалась всеобщей. Рютин перечислил некоторые из главных императивов, обращенных к членам партии, важные условия их «выживания»; с той поры число императивов удесятирилось, захватив всю жизнь людей, все сферы их деятельности.

Уже переписана сама история, и тот, кто жил в годы революции и войн 1913—1920 годов, будет ценить не по правде прожитой жизни и духовным исканиям, не по нравственности личности, а по лживой исторической схеме, затверженной сотнями тысяч пропагандистов безжизненной схеме. Все начала нравственности извращены, мир не просто расколот по классовому признаку, но оболган, отравлен ложью, аргументы чести перестали приниматься во внимание. Человек потерял право не только на слабости, но и на свободный, не контролируемый ежедневно поиск мысли.

Вне этой всенародной трагедии века нам не постичь до конца и трагизма судимых по делу ЕАК выдающихся представителей еврейской интеллигенции, их обреченности, их судеб, более зависимых от времени, в котором они жили, и его движущих сил, чем от того, кто занимал кабинет министра госбезопасности. Их судьбы под двойным, не дающим дышать, давящим и раздавливающим гнетом общего для всех



бесправия-беззакония и того особого, абсурдного, черного «бытования», которое определено изначально недоверием к к р о в и, презрением к крови, ненавистью к крови.

Так в 30-е, уже памятные мне годы устранялись из жизни так называемые буржуазные националисты — украинские, белорусские, татарские, грузинские и другие интеллигенты, ученые, писатели всех республик. В деле ЕАК преследование национальности приобрело формы крайние, параноидальные. Однако иллюзии людей, и в узилище не отделявших себя от советской общественной системы, от веры именно в это «утро человечества», иллюзии людей, унесших и в расстрельную могилу какую-то толику своих заблуждений и слепоты, сделали их трагически не защищенными.

Противоестественно и страшно многолетнее страдание безвинных людей в следственных тюрьмах. Отвратительно насилие над ними, кто бы они ни были. На веки прокляты те, кто убивал невинных. И все же — если бы перед нами прошли события, укладываемые в криминальные рамки, связанные с очевидным нарушением норм закона, — насколько проще, доступнее была бы задача исследования. Но так называемое *р е в о л ю ц и о н н о е п р а в о с о з н а н и е* и приснопамятная «презумпция виновности», покарание не поступков, но мысли, даже сомнений, балаганное, но одновременно и зловещее превращение любого духовного несогласия в наказуемый, преступный поступок создали невиданную еще в человечестве систему следствия и суда.

Послушаем *п о в и н н ы е* голоса арестованных по делу ЕАК.

*«— За время пребывания в театральном училище [при ГОСЕТе. — А.Б.], — сказал Зускин на допросе 19 января 1949 года, — еврейской молодежи из дня в день внушали мысль, что на нее возлагается ответственная миссия будущих еврейских деятелей, призванных продолжать, углублять и развивать еврейскую национальную культуру... Ассимилированную молодежь учили языку, еврейской литературе, истории еврейского театра...»*

— *Стало быть, — нетерпеливо перебивает Вениамина Зускина числящийся в интеллигентах среди следователей Лубянки Рассыпнинский, — по существу, готовили кадры еврейских националистов?!»*

Мыслим ли такой обвинительный, устрашающий вопрос следователя, если бы речь шла о школе МХАТа, о театральном училище Малого театра или Театра имени Вахтангова, об училище при Театре Руставели, о развитии и углублении русской или грузинской — и любой другой — национальной культуры?

*«В Черовицах мы сумели возобновить [после освобождения города от гитлеровцев. — А.Б.] работу еврейской школы, — признавался, как в грехе, Давид Гофштейн. — При еврейском кабинете при АН УССР мы приступили к изданию еврейского словаря и популяризовали деятельность еврейского театра в Черновицах. Каган, Полянкер и я делали попытки через ЦК КП(б)У добиться официального разрешения на возобновление всех еврейских культурных учреждений, существовавших до войны на Украине... Мы не конспирировали своих отношений с синагогой и посещали ее».*

Как все просто, понятно и, я бы сказал, свято: восстановить уничтоженное фашистами, не порывать с церковью (синагогой), не терять связей, по необходимости допущенных Сталиным в годы войны. Еврейский театр в Черновцах — бывший киевский театр, которому не позволили вернуться домой, в столицу Украины, — к тому же единственный из всех профессиональных еврейских театров страны, продержавшийся еще какое-то время.

*«Блоштейн распространял среди евреев альманах «Дер Штерн», — продолжал свою исповедь нечестивца Давид Гофштейн, — популяризовал в печати еврейскую школу в Черновицах, оказывал ей всемерную поддержку...»*

И уже другой следователь, не Рассыпнинский, обрушивает на подсудственного ни на чем не основанное обвинение:

*«Не только поддерживали, но вы и направляли ее работу в своих преступных целях!»*

И выбитый из колеи подсудственный винится:

*«Вначале в этой школе обучалась незначительная группа еврейских детей, и мы прилагали все усилия, чтобы расширить школу, привлечь как можно больше учащихся...»*

Допрашивал подполковник Лебедев, один из самых жестоких «забойщиков», его не расположишь к себе смирением и полупризнаниями; прервав поэта, он жестко фиксирует в протоколе: *«Чтобы воспитывать молодежь в националистическом духе!»*

*«В националистическом духе»* — ибо, по генеральной установке всего следствия, забота о школе, газете или театре есть затея изначально националистическая.

В январе 1950-го, спустя год после ареста, следователь зачитывает Давиду Бергельсону обвинительное показание Абрама Кагана. Каган вспоминает, что в мае 1947 года *«...в Киев приехал Бергельсон. В связи с этим мы разослали до 800 пригласительных билетов лицам еврейской национальности [уже и «националиста» Кагана отучили выговаривать простое, единственное слово — «еврей», уже он не произнесет его в простоте душевной! — А.Б.]. На состоявшемся вечере Бергельсон выступал в националистическими речами [слушайте! слушайте! — А.Б.], в которых призывал еврейских писателей сохранять свое еврейское самосознание, всячески поддерживать еврейскую культуру и добиваться ее развития»*. Ну не преступление ли, в самом деле, для писателя стократ тяжкое, думать о своей национальной культуре, заботиться о ней?!

В страшные дни февраля 1949 года, когда так по-детски неутешна была вспыхнувшая вдруг неприязнь Вениамина Зускина к очерненному следствием Михозлсу, Зускин, сам того не понимая до конца, рисует благородную и деятельную личность бывшего главы ГОСЕТа — унижить его не могут и хитроумные кавычки в тексте протокола.

*«К Михозлсу как к руководителю своего рода «департаментов по еврейским делам» съезжались со всех концов Советского Союза «обиженные» евреи с жалобами на неправильные, с их точки зрения, действия органов Советской власти. По всем этим вопросам Михозлс сносился с некоторыми руководящими*

*работниками советских учреждений с просьбой к ним об оказании помощи и содействия тому или иному «обиженному» еврею».*

Как хитроумно-щадяща протокольная запись! Органы советской власти, разумеется, непогрешимы и всегда правы. Их действия могут показаться неправильными только с точки зрения тех евреев, которых обиженными можно назвать лишь в кавычках. Можно ли вообразить себе в тексте, где говорится не о конкретном человеке, имярек, а просто о представителе одного из народов страны, подобные иронические или издевательские кавычки к слову «обиженный»? Прислушайтесь: «обиженный белорус», «обиженный русский», «обиженный армянин» — это все не образ, не звучит, это не речевая идиома, а что-то несуразное. Но «обиженный еврей» возникает в протоколах, когда речь заходит о защите социальной (даже и не национальной) справедливости. Какое чудо русский язык: как не дает он укрыться лицемерам и ханжам, ускользнуть от подлости и косоротой лжи! Так следственные бумаги по делу ЕАК набатно обличают подлость, отрицание самой возможности существования подлинно обиженного еврея, уважительную причину его обиды, жалобы или слезных просьб...

Напомним абзац, извлеченный следствием из очерка Бергельсона «Молодой советский воин», посвященной подвигу красноармейца Шойхета. *«В той силе, с которой он, молодой советский еврей, бьет гитлеровцев, заложено немало того, что Шойхет получил за двадцать пять лет Октября в результате советской дружбы с русскими, украинцами и белоруссами. Точно так же он много унаследовал от горячего еврея Мойше-Лейбы Шойхета»* (т.е. от родного отца). Автор молится богу интернационализма и дружбы народов с таким усердием, что почти расшибает лоб о каменные плиты, похвалить бы его — ан нет; две процитированные фразы включены в раздел *«Документов, изобличающих арестованного Бергельсона Давида Рафаиловича»*. Зачем, мол, иначе, как не в целях националистических, приплетать к советскому подвигу имя Мойше-Лейбы Шойхета! И что за претензия, явно сионистского

толка, именовать этого Мойше-Лейбу «горячим евреем»: не прорвавшийся ли это националистический гонор?

Все взято под подозрение, даже официальная справка Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР, гласящая: *«Председателю ЕАК в СССР. По учетным данным 4-го отдела Управления по награждениям и присвоению воинских званий ГУК НКО, на 15 мая 1944 года числится награжденным орденами и медалями СССР —*

*Евреев — 47 055, из них Героев Советского Союза — 47 человек».*

Верна ли справка? Не подлог ли? Если верна, то по чьему распоряжению она выдана Еврейскому антифашистскому комитету? Наказаны ли офицеры, выдавшие справку?

Вот какие недоумения и заботы донимают госбезопасность.

Так или иначе, главная вина — на ЕАК, антифашистском комитете, пытающемся, по-видимому, как-то выдти евреев, обособить их, подчеркнуть их участие в войне, подчеркнуть в ущерб... другим народам. Что такие справки в разное время даны и будут выдаваться киргизам и узбекам, грузинам и азербайджанцам, казахам и башкирам — всем решительно, и в целях патриотической пропаганды, отвечая законным потребностям республик, что это в порядке вещей, — не убеждает неумолимых судей «лиц еврейской национальности». Им-то еще зачем? И справка ГУК НКО занимает место в томе обвинительных материалов.

Все извращено и проституировано.

Уже на судебном процессе доктору Шимелиовичу пришлось отбиваться от обвинений в национализме в кадровой политике больницы им. Боткина. Судья напомнил ему показания Фефера на следствии о том, что *«в Боткинской больнице, — как он слышал об этом от Михозлса, — почти нет русских сотрудников».* Шимелиович, как ни горько, ни стыдно ему даже в судебном заседании обсуждать подобное, вынужден защищаться. *«С того дня, — сказал он, — когда я прочел показания Фефера о продаже им Родины во время поездки в США, он в моих глазах стал*

преступником. Конечно, сослаться теперь на покойников Михоэlsa и Эпштейна можно легко, но вот факты...»<sup>1</sup> Обнаружив поистине хозяйскую, заботливую память руководителя, привязанность к сотрудникам, Шимелиович после перерыва подал Чепцову именной список руководящих сотрудников Боткинской больницы: из 47 заведующих отделениями 36 — русские; из более чем 40 старших медицинских сестер, а это истинные хозяйки отделений, лишь 2 сестры — еврейки; из 8 заслуженных врачей республики 6 — русские. И это после четверти века руководства больницей Шимелиовичем! Стыдно напоминать об этом, но у суда свои правила: оправдайся!

В затхлости, в сумерках следствия, в атмосфере предубежденности от клеветы не отбиться, никому не доказать, что Боткинская больница — нормальная больница в стольном граде Москве: Шимелиович до л ж е н был создать как «буржуазный националист» больницу в соответствии со своими убеждениями.

Потрясенный арестом Гофштейн на первом же киевском допросе винится в поступках, способных вызвать только участие и уважение к нему. Он напоминает о письме академиков Марра и Ольденбурга с просьбой к руководству кабинета еврейской культуры при АН УССР помочь им получить литературу на иврите. «Мы обратились к правительству, доказывая в меморандуме, что сам по себе язык не может быть ни сионистским, ни националистическим...» — сообщил следствию Гофштейн.

В Киеве обошлось, но впоследствии, с переходом в руки допытчиков Лубянки, все ужесточилось. С падающим сердцем, все более робко говорил Гофштейн о пользе изучения древнееврейского языка, пусть только в ученых целях, только немногими. Говорил, как камикадзе, подозревая, что пощады не будет.

Откуда бы взяться пощаде, если расхожий, бывавший в России язык идиш в представлении следо-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 5, л. 91.

вателей Лубянки был тайнописью, хитрым снарядом идеологического терроризма, чем-то вроде правозесеровской бомбы с «секретом»?

«— По линии еврейского кабинета, — продолжал показания Гофштейн, — мы стали проводить в 1944 году в Киеве и других городах Украины литературные вечера, лекции и доклады... [«националистического характера», — вписывает в текст протокола бесстрастная рука следователя. — А.Б.]. При еврейском кабинете АН УССР нам удалось создать еврейскую библиотеку и небольшую типографию, где мы печатали книги на еврейском языке и распространяли среди еврейского населения.

— Кабинет, который вы организовали вместе со Спиваком, — вступает председатель суда, — стал центром антисоветской работы?»

Впросительный знак не смягчает обвинительной категоричности слов судьи. Если естественное восстановление в ряду других структур Академии наук кабинета еврейской культуры подменяется подозрительной, с криминальным оттенком фразой «организовали вместе со Спиваком», ты изначально виноват, ты хитрец с недостойными, преступными намерениями. Главный судья, собственно, не спрашивает Гофштейна, а требует подтверждения, хотя и в вопросительной форме, и, поникая, более всего боясь не рассердить, а обидеть судью частыми отказами от прежних показаний, поэт-философ невнятно бормочет:

« Да... до некоторой степени... Из этого вытекает, наверное, что наша работа имела националистический характер»<sup>1</sup>.

Используя это полупризнание, судья Чепцов пытается развить успех, напоминает Гофштейну о ссоре, разразившейся на президиуме ЕАК в 1944 году. Неотступно размышляя о судьбах еврейской культуры и языка, прежде всего о будущем родной письменности, Гофштейн — парадоксалист, насмешник и лукавый мистификатор — на заседании президиума ЕАК прочел вслух только что написанное стихотво-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 3, лл. 58—59.

рение, вызвавшее протесты присутствующих. Смысл его — в отказе от языка и д и ш.

Следственный протокол не дал судье достаточно-го представления о существовании спора.

«ГОФШТЕЙН: — Смысл стихотворения такой, что мы пользовались этим еврейским языком, идиш, а в нем слишком много элементов из немецкого языка...

ЧЕПЦОВ: — Значит, смысл таков, что вы пользовались этим языком, а теперь отказываетесь от него?

[Тогда, в пору, о которой идет речь, продолжалась война против гитлеровской Германии; наличие в идиш н е м е ц к и х элементов могло только усилить неприязнь и самого судьи к этому языку. — А.Б.]

ГОФШТЕЙН: — Да. Когда-то, раньше, тоже были люди, которые называли этот язык жаргоном. Еврейская интеллигенция не говорила на этом языке, она старалась изучить русский язык. Но тут началась другая полоса, изменилась жизнь, и лучшие люди, революционно настроенные, оказались занятыми изучением языка идиш и благодаря щедротам Советской власти превратили его в литературу, какой не было еще на земном шаре. Разве я стал бы выискивать другие, лучшие слова, чтобы быть лучшим лириком среди евреев всего мира».

Как осторожен Гофштейн, как старается не оскорбить ни старую еврейскую интеллигенцию, пренебрегавшую языком идиш, ни сам этот язык, ни неслыханно обогатившуюся в XX веке литературу на идиш, обретшую выдающихся писателей и — простим ему самовозвеличение! — «лучшего лирика среди евреев всего мира». В эту минуту он жертва, он незащищен, никто из коллег, рядом с ним на скамье подсудимых, не оспорит его, и все понимают, что, говоря о лучшей на земном шаре литературе, он, образованнейший человек, имеет в виду еврейских писателей.

Почти четыре года, в десятках следственных кабинетов ему внушали мысль (точнее, вколачивали ее в него), что язык его поэзии — ничтожество и злоумышление, а ведь он умрет, он попросту умрет без



этого «квадратного письма», ему нечем будет дышать и незачем жить. Не его ли поэтическая душа исторгла несколько лет назад слова-клятву:

Любая пядь земли ждет пристального взгляда.  
И во владенье мне дано живое слово,  
Для песен я рожден, иного мне не надо<sup>1</sup>.

Судье не понять драму поэта, истинного, а не придуманного рефлексирующим интеллигентом испытания. Судью раздражает неопределенность: на каком языке пишет Гофштейн?

«ЧЕПЦОВ: — После того как вы выступили с таким программным стихотворением, вы перестали писать на еврейском языке?»

Бог мой! Как объяснить ему, что язык для поэта — это и воздух его, и дыхание; и не просто дыхание, но, может быть, дыхание единственное, дремотное, и, что бы ни прописал больному доктор, он будет дышать, как дышится, — в старости даже походки не переменишь по капризу, как ни старайся.

«ГОФШТЕЙН: — Что такое лирическое стихотворение? Это настроение, которым я жил недели две... Все знали, что на идиш не нужно было работать. Но работали...

ЧЕПЦОВ: — И вы были такого мнения, но продолжали работать?

ГОФШТЕЙН: — Продолжал<sup>2</sup>.

Невозможно и представить себе подобного диалога в любом другом судопроизводстве мира, он уникален по-своему. В «культурной» трансформации он равен истреблению, депортации: разверсты ямы, куда задумали сбросить и азбуку, и типографские шрифты, и книги на обреченном языке. В стране, которая спасла от уничтожения миллионы евреев Европы и на словах, в декларациях чтит лозунг братства народов, обещающая строгое, пожалуй, чрезмерное наказание за антисемитизм, оказался возможным такой дья-

---

<sup>1</sup> Д. Гофштейн. Избранное, «Советский писатель», 1958, с. 289.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 3, л. 61.

вольский следственный заговор, такой адский союз Инстанции и госбезопасности.

Случалось ли такое в истории просвещенных народов, чтобы выдающийся мастер слова, старый писатель перед лицом гибели, расстрела не молил о пощаде и не проклинал палачей, а, горюя, печалясь, просил о родном языке; горестно расставался не с жизнью, а с ним, с языком, готовый признать себя националистом, только бы чувствовать в себе и вокруг себя музыку родного языка? «...Суть моего неизжитого национализма состоит в том, — сказал Давид Бергельсон на суде в заключительной речи, — что я был чрезвычайно привязан к еврейскому языку, как к инструменту. Я работал на нем двадцать восемь лет, я его люблю, хотя он имеет много недостатков. Я знаю, что мне предстоит недолгая жизнь, но я его люблю, как любящий сын любит мать»<sup>1</sup>.

Яростный, длиною в три с половиной года натиск палачей не сулил пощады языку и национальной культуре, спасти надо было кровь, жизнь народа, и умудренный опытом веков Бергельсон трагически покорствуем: «Я знал, что в конце концов евреям и в Биробиджане предстоит переменить свою речь на русскую; русский язык — один из богатейших языков. Потом я знал, как советский человек я верил, что дорога Советского Союза — это есть дорога всего человечества. Я знал, что в конце концов в Советском Союзе все народы сольются в одно целое, в том числе и еврейский народ...» Звездная утопия, мечта лучших умов человечества не унижат его даже и в этом реквиеме по материнскому языку... «Но я считал — дело не в одном языке, а дело в укладе. Тяжело перейти с одного уклада на другой. Это требует очень длительного периода времени. Я хотел, чтобы евреи проделали переход с одного уклада на другой не в каком-либо большом городе, как Ленинград, Киев, Одесса, а в своем уголке. Рассматривается ли это как борьба против ассимиляции, пусть суд определит»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 93.

<sup>2</sup> Там же, лл. 94—95.

Работая над томами следствия, исследователь паразитирует, как буквально рябит в глазах от слова «национализм». Оно лепится ко всему, к месту и не к месту, порой до карикатурности не попадая, как будто арестованным не терпится выкрикнуть это слово. Прочитана лекция — националистическая. Написано стихотворение — националистическое. Беседа, диалог, литературный вечер, встреча со школьниками, уроки языка, изучение истории, студийные этюды, репертуар театра, настроение, книги, планы, замыслы, поступки и так далее — едва ли не к каждому существительному прилеплено это слово, таящее, по умыслу следствия, разрушительную силу. После нескольких недель жестоких допросов и бессонных, мучительных, вынимающих душу ночей притупляется не только бдительность арестованных, но и защитные силы организма.

Поначалу они шарахаются от этого слова, приученные бояться его. Они упрямятся, десятки допросов проходят впустую и не оформляются протоколами; отказы на Лубянке не годятся, здешние мастера должны выглядеть людьми, не знающими поражения. Можно подождать, пока глина разомнется, дать поработать шантажу, кулаку, резиновой палке, карцеру, добротным армейским сапогам. Надо, чтобы арестованный вполне ощутил себя бесправным рабом в т о р о й, т ю р е м н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и, где в отличие от лозунгов улицы и митингов его народ, его язык и его кровь не равны любому другому и потому все, что применительно к любому другому этносу, н а ц и о н а л ь н о, в еврейском бытовании — националистично. Если сам язык народа — заблуждение и грех, тормозящий «праздник ассимиляции», то попечение о таком языке и культуре, на нем основанной, дело не просто праздное, но и реакционное. Забота о мертвечине, цепляющейся за живую жизнь!

Идею ничтожности, второсортности языка, культуры, литературы, веры, самого существования евреев, как показало следствие и множество сопутствующих ему дел, Инстанция и Лубянка разделяли на всех своих этажах, с той только разницей, что иные из преследователей были серьезны, озабоченны, другие же полны яда и озлобления.

Даже главный судья, генерал-лейтенант Чепцов, кажущийся либералом рядом с Рюминым и Лихачевым, отводил еврейской культуре и религии некую сумеречную, подвальную нишу.

Уличив Гофштейна в нежелании распрощаться с еврейским языком и писать стихи на русском (не на иврите же, признанном на Лубянке языком сионизма!), Чепцов возвращается к одному из самых черных грехов поэта.

*«ЧЕПЦОВ: — Ваша связь с раввинами Москвы — Шлиффером и Києва — Шехтманом, ваши консультации по этим вопросам были продиктованы Михозлсом?»*

Все в первозданном тумане: не было консультаций, нет проступков, улик — разве что на партийном или профсоюзном собрании, еще до войны, можно было вкатить выговор за посещение церкви. Нет наказуемого по закону греха, есть — с и н а г о г а, не церковь, а синагога. Гофштейну брошен спасательный круг: виноват Михозлс, он продиктовал, он подчинил простодушного поэта своей воле.

Ответ Гофштейна на суде поразителен, как открытие, как взрыв, если вспомнить прежние, выбитые из него насильем показания.

*«ГОФШТЕЙН: — Я с Михозлсом никогда не беседовал».*

И правда — жили в разных городах. Пьес Гофштейн не писал. Из скромности и житейской мудрости держался в стороне от громкого, публичного, театрального существования Михозлса. Люди разные, выдающиеся каждый в своей области, они прожили жизнь, как говорится, на разных улицах. Общим был у них забытый и, что ни говори, отвергнутый однажды Бог, небо над головой, два родных языка, оба святы для каждого из них... Они не состояли в сговоре и не были близки. «Я с Михозлсом никогда не беседовал» — такова правда, тоже смахивающая на репризу бравого солдата Швейка, и судья пропустил ее мимо ушей.

*«ГОФШТЕЙН: — Я с Михозлсом никогда не беседовал... Однажды я получил приглашение от Ходченко, он член партии, писатель и вёгал в Києве делами православной церкви; получил приглашение явиться в*

клуб учителей на какой-то митинг. В президиуме был Бажан, руководил митингом Корнейчук, были еще два-три министра, и выступил патриарх киевский... Значит, это было нужно».

Судья не дает лукавцу спрятаться за церковные стены и православную веру: духовные ценности мира, даже и церковного, тоже поделены на категории, и надо честь знать... Синагога — особая статья.

«ЧЕПЦОВ: — Мы используем все возможности, которые идут на пользу дела. А здесь совсем другое, здесь Михозлс дает вам задание вести националистическую работу, а для этого связаться с попами. Это совершенно иное, это антисоветская деятельность...»

Как втолковать заблудшему поэту, что кулич и Пасха или Великий пост — это традиция, обычай, в худшем случае — пережиток прошлого, а маца и старый еврейский молитвенник — антисоветчина?

«ЧЕПЦОВ: — Зачем коммунисту, писателю, марксисту, передовому еврейскому интеллигенту связываться с попами, раввинами, мракобесами, консультировать их о проповеди, о маце, о молитвенниках, о кошерном мясе

«— Резник — религиозное лицо, — заявит он, — А что, при убое скота читались молитвы?

— Да.

— Значит, резник при этой операции совершает религиозные обряды?

— Да, безусловно

Таков правовой и историко-культурный уровень судьи. Какие задания вам давал Михозлс?

ГОФШТЕЙН: — Не давал»<sup>2</sup>.

Рушились версии продажи Крыма американцам, измены и шпионажа, и, хотя следствие уповало на силу голословных обвинений, искали все же чего-то хотя бы внешне правдоподобного. Так и пришли к «национализму», этой следственной панацее дела ЕАК.

---

<sup>1</sup> «Кошерное мясо» не раз возбуждает подозрение судьи. Допрашивая Чайку Островскую, он обнаружит, что это мясо можно получить от резника.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 3, л. 69.

Национализм. Еврейский национализм. Еврейский буржуазный национализм. Таковы главные обвинения — тут и следователи и суд чувствуют себя нестесненно, держатся развязно, не замечая трагикомизма происходящего и презрительной иронии, скрытой за вынужденной покорностью арестованных. За месяцы истязаний их приучили к этой второй тюремной действительности, к извращенному толкованию понятия «национализм» — оно оказывалось не опасно-уродливым перевоплощением здорового национального чувства, а самим этим чувством, обуявшим недобрый «малый» народец. Известна ленинская статья «О национальной гордости великороссов». Теоретически можно представить себе и статью под названием «О национальной гордости украинцев» или казахов, но в реальных обстоятельствах недавнего нашего существования — только теоретически. Публикация подобной статьи таила бы в себе смертельную опасность при вспышке очередной кампании борьбы с «местным буржуазным национализмом». Но чего уж и представить себе невозможно в тех обстоятельствах, так это статьи о национальной гордости евреев. В самом названии — вызов, преступная кичливость, опасное обособление народа, которому впервые в истории дарована возможность благоразумия в едином советском народе; историческая неблагодарность, порочная идеализация прошлого, сомнительный интерес к Библии, к мифам, религиозному мракобесию и так далее и тому подобное... Этот логический ряд выстраивается незатруднительно — любое движение души, любое обращение к национальному тотчас же окрашиваются в злое щие тона.

«Буржуазным национализмом» следствие нарекает любую попытку самооценки народа. Интерес к истории своего народа. Осмысление себя как нации. Заботу о национальной культуре. Исполнение классических пьес старого репертуара, живущих не только общечеловеческими мотивами и страстями, но и старым, отжившим или отживающим бытом, обычаями, как, впрочем, и в пьесах А.Н. Островского и даже Чехова. Поддержку народной школы. Совершенствование родного языка, национальной письменности.

Решительно все, всякое осмысленное движение еврейского интеллигента, все, что составляет не только право гражданина, но и его святую обязанность. Всякий луч света, преломленный через призму Лубянки, превращался в свою противоположность. Не сотни — тысячи раз за годы следствия раздавался этот гневный трубный глас, самые нормальные и добрые поступки нарекались национализмом. В этом «испуге за тюремной решеткой» на стороне одних — смертная печаль, страх перед насилем, молчаливое покаяние перед преданными святынями, всплески отчаяния, боль, боль, боль. Другие же сильны карающим глаголом, убежденностью, что они действуют в согласии с марксистско-ленинским учением по национальному вопросу.

Когда впереди маячит казнь, ты обвинен в предательстве, в шпионаже, в контрреволюционном заговоре, какой безделицей покажется тебе обвинение в избытке любви к своему народу, пусть и расточительной любви к его языку и вере. Бог с ними: как тут не уступить свирепому «антагонисту», непотребству его ругливых слов и жестоких «физических воздействий».

Мы просто обязаны всякую минуту размышлений о страдальцах Лубянки, о признаниях жертв по «делу ЕАК» помнить об этих реальностях, о пропасти, куда их сбросили, — только тогда мы сумеем вполне оценить их подвиг и не предадим его забвению.

Как часто арестованные, уступая насилию, вынуждены были, сцепив зубы, произнести предательское: «Да...» Да — националист. Да — националистическая пьеса. Книга. Стихотворение. Защищаясь, они тут же добавляли слова, которые изредка попадали и в протоколы допросов, но гораздо чаще раздавались в суде: «Но тогда это не считалось национализмом...» Я выписал многие десятки этих «тогда», и оказалось, что тогда — это и 1912, и 1918 годы, и годы гражданской войны, и 20-е годы, и более поздние времена, когда еще немыслимо было представить себе, что однажды в тюрьму бросят в с ю е в р е й с к у ю л и т е р а т у р у, цвет художественной интеллигенции. «Тогда» значит еще: по справедливости, истинно, на самом деле...

На суде академик Лина Штерн несколькими мазками невольной довершила свой портрет:

*«Я виновата только в том, что допустила, что меня могли подозревать. Жена Цезаря выше подозрений — должна быть выше подозрений... Я — часовой, который заснул на посту. Даже если бы меня спросили сегодня, являюсь ли я еврейской националисткой или нет, я не смогла бы ответить на этот вопрос. Это принимается как преступление, а на самом деле ничего преступного в этом нет. Почему позорно, когда говорят о евреях?»<sup>1</sup>*

Бергельсон допрашивался на суде первым, генерал Чепцов напомнил ему показания на следствии:

*«— «Никаких заданий я ни от кого не получал. Будучи националистически настроенным, я знал, что проводимые по инициативе еврейских националистов из еврейской секции ЦК ВКП(б) мероприятия по созданию еврейских школ, различных культурных учреждений и легальных еврейских организаций создают условия для развития еврейской культуры и ведения националистической работы среди еврейского населения». Правильны ли эти показания? — спросил судья.*

*— Да. Только слова «националистической работы» я осознал уже здесь, в тюрьме. В то время когда я увидел, что все субсидируется Советским правительством, как я мог усмотреть в этом национализм?»<sup>2</sup>.*

Поразительный по самоочевидности пример: после веков национального угнетения, «черты оседлости», запрета светских еврейских школ писатель счастлив переменам (следовательно — «националистически» настроен!). Люди в центральном партийном аппарате 20-х годов, занятые этой деятельностью (следовательно — «буржуазные националисты!»), дают «добро» на создание учреждений еврейской культуры (следовательно — для «националистической работы!»), и сам этот исторический процесс, которому радоваться бы, оборачивается мрачным заговором. В те далекие годы никому и в

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 10.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 1, л. 33.



голову не приходило связывать добрые перемены в судьбах еврейского народа с кознями националистов, но вторая действительность, тюремная, поменяла знаки, по-своему распорядилась прошлым.

Подсудимый избегает без крайней нужды гневить судью: Бог с ним, такое, видимо, пришло время, все-ильная власть не хочет, не терпит доброго, спокойного слова «национальное», а в случаях, когда другое слово — «националистическое» — не подставишь к имени существительному, например «националистическая культура», слова «национальная культура» берутся в кавычки. В кавычки берется многое, почти все, мир, кажется, обезумел, приправляясь кавычками: «семинары», «творческая командировка», «вечер поэзии», «литературные вечера», «еврейская грамматика» и так далее. Кавычки повсюду, а если не кавычки, то уничижительные добавления — «якобы», «под видом», «так называемые» и др., — чтобы стало понятно, что речь идет о маскировке подрывных действий п о д литературный вечер, п о д любую другую легальную творческую деятельность.

Но на многих тысячах страниц следственных дел, среди повторяющихся обвинений в национализме, ни намек на доказательство — ни одного выпада, пусть даже скрытого, замаскированного эзоповым языком, ни одной мысли националистического толка. А когда долгое и беспощадное насилие понуждает замордованного человека на самооговор, он скажет и такое, что поразит, приведет в отчаяние человека, знакомого с еврейской литературой и почитающего ее.

Так, Маркиш, гордый и независимый человек, выразивший и в драмах, и в прозе, и в совершенной поэтической форме поступь нового века, дух истинного интернационализма, готов — если верить протоколам допросов — отнести к националистической квазилитературе свои превосходные создания. Эпический роман в стихах «Братья» — за то, что в нем якобы «проступает националистическое мироощущение», и за «библейскую образность» некоторых строф и метафор. Пьесу «Семья Овадис» — за то, что она не обошлась без «показа старых еврейских национальных обычаев». А мудрую класси-

ческую трагедию «Кол Нидрей» — за то, что «...националистические чувства возбуждает у евреев избранное мною время действия пьесы — канун Сугного Дня».

Едва ли следователь Демин понял, что эти признания брошены ему презрительно, как духовному нищему, что в покорствующих словах Маркиша — непочтительность, снисхождение к исторической и этической безграмотности допытчика.

В самые тяжкие для Маркиша февральские дни 1949 года — когда волей Лихачева и Ионова он долго, с опасностью для его жизни загонялся в карцер, когда следователь Демин домогался от него каких-то признательных мизерий и недовольное начальство сменило следователя — за Маркиша принялся сам Рюмин.

В лице Маркиша перед следствием оказался один из самых непосильных для него противников: внутренние движения его души свободны, он хозяин своих печатных строк и страниц, он скажет о них, что пожелает, а при нужде, по собственному выбору, пожертвует ими в этой в т о р о й т ю р е м н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и — она властна над его физическим существованием, но бессильна что-либо изменить в судьбе его творений, в их оценке народом и временем. Он сам знает вес и значение созданного им, и не стоит думать о суждениях и приговорах невежд; он решительно отведет все обвинения в шпионаже и антисоветчине и будет плавать в море навязанного ему «национализма», о котором орут следователи. Свободу мысли и духа, внутренней жизни можно отстоять и в застенке на пороге уничтожения. А ведь именно он, Перец Маркиш, в числе немногих, кто в иные минуты пронзительно, леденяще провидит возможность казни. Он, Лозовский и Шимелиович. Для всех других в самые черные часы, даже когда они сами заговорят о смерти, реальность этой смерти была все же непредставима.

На суде, как и должно было случиться в долгом, так бесившем Рюмина судеговорении, что ни день, обнаруживались прорехи и несуразицы следствия. Отпадали и обвинения Маркиша в предательстве и шпионаже, в передаче за рубеж секретных сведе-

ний, в попытке завладения Крымом и так далее, и главный судья, все больше раздражаясь на Маркиша, как и на многих других подсудимых, повторял одну и ту же фразу:

*«Но вы же признались на следствии, что занимались националистической деятельностью?!»*

Иные на суде отринули и эту «малую вину», которая вколачивалась в их помраченное сознание. Только выстояв тяжкие, без сна недели на синих от кровоподтеков ступнях и пятках, отбиваясь от тягчайших обвинений, возможно понять, с каким облегчением может быть принято арестантом «пустяковое», будто и не уголовного ряда обвинение в националистическом образе мыслей. Да — люблю свой народ. Да — горжусь его страдальческой судьбой. Трепетно люблю звуки родной речи, писал и буду писать на идиш, ибо ни на каком другом писать уже не сумею. Да — сюжеты и образы Ветхого Завета никогда не тускнели для меня, в них первые летописные и мифологические страницы моей древней истории. Да — мне дорога еврейская национальная культура. Если по уродливому тюремному счету все это — национализм, тогда я националист, выходит, что так, и не надо меня калечить, я признаю это, я подпишу что надо, дайте только привыкнуть к этому перевернутому миру, и я перестану противиться слову «национализм» в протоколах. Хотите заново окрестить меня — патриота великой страны и патриота своего «маленького» народа? Дайте срок, дайте привыкнуть к новому имени, я ведь прожил на земле более полувека, прожил в любви к своей нации, не подозревая, что у этого чистого чувства есть другое, черное, предосудительное имя — **н а ц и о н а л и з м**.

Именно поэтому горестными, ускользящими от разума химерами звучат иные покаянные речи подсудимых.

*«Я признаю себя виновным в том, — сказал Лев Квитко 21 мая 1952 года, — что, будучи некоторое время после войны ответственным секретарем или руководителем еврейской секции Союза советских писателей, я не ставил вопрос о закрытии этой сек-*

ции, не ставил вопрос о способствовании ускорению процесса ассимиляции евреев»<sup>1</sup>.

Трагическое покаяние художника, полного творческих сил, в том, что не торопился в угоду мракобесию кончить жизнь... самоубийством!

Лев Квитко благодарно вспоминает встретившихся ему в молодости писателей старшего поколения — Дер Нистера, Бергельсона, Добрушина. Но вот беда: «...они были националистически настроены, — спохватывается Квитко, памятуя, что этого не избежать, и говорит, страдая от невольного оговора близких: — Правда, тогда такие люди не назывались националистами, а назывались и г и ш и с т а м и, т.е. они боролись за народную литературу на языке идиш, за народную культуру... Никто из них сионистом не был»<sup>2</sup>.

Подтверждение иллюзорности, условного характера того, что разумели арестованные под тюремным определением «национализм», отчетливо прозвучало в возгласе Льва Квитко на суде, когда он встал на защиту гражданской чести Маркиша.

«Если Маркиш националист, — заявил он, — значит, и я не менее его националист!» В этих словах отрицание национализма — и своего, и Маркиша, — предписанного им Лубянкой.

Приведу два эпизода первых дней судебного разбирательства, когда подсудимые поняли, что необходима осмотрительность, ибо и суд не склонен щадить их. Гофштейн, этот, по выражению Юзефовича, «живой, вечно бегаящий человек», эрудит, искусно надевавший на себя личину местечкового простака, делал все возможное, чтобы разрушить представление о нем как о защитнике древнееврейского языка. Конечно, он знает иврит, знает с детства, свободно говорит на иврите, побывал в Палестине, очень любит стихи Бялика, писанные на иврите, действительно старался помочь академикам Ольденбургу и Марру раздобыть литературу на иврите, однако к его жизни это не имеет отношения.

Главный судья не дает ему увернуться.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 124.

<sup>2</sup> Там же, л. 127.

«ЧЕПЦОВ: — Бергельсон говорит, что вы добивались внедрения гревнееврейского языка. Очевидно, вы имели такое задание.

ГОФШТЕЙН: — О защите гревнееврейского языка не может быть и речи. Пускай Бергельсон вспомнит, как он перевел свой роман на гревнееврейский язык...

Бергельсон подтверждает: такое с ним случилось, но очень давно, в 1912 году.

Судья в недоумении.

ЧЕПЦОВ: — Кто на гревнееврейском языке говорит и читает вообще?

Теперь надо успокоить судью: мир еще не рухнул, свтопреставления не случилось.

ГОФШТЕЙН: — Здесь нет такого человека, да и вообще, где есть такой человек?

ЧЕПЦОВ: — Какой же смысл тогда переводить на гревнееврейский язык?»

Здесь нет такого человека!..

Зускину на скамье подсудимых впору бы вспомнить в эту минуту себя в «Короле Лире» рядом с Михоэлсом и свою реплику из третьего акта: «Эта холодная ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших...»

Нет такого человека! Здесь-то как раз и собрались люди, за вычетом одного-двух, для которых иврит — язык младенчества и детства, народной синагогальной школы, язык Библии и молитв, язык великих песен Соломона; язык, в силу исторических причин отодвинувшийся для миллионов евреев в глубины времени. Здесь собрались те, кто не отдаст иврит на поругание, а, смолчав, отступит перед насилием, будет помнить, что иврит, зачисленный кем-то в мертвые языки, — жив!

В трудный для страны час наступления гитлеровских армий на всех фронтах, от Заполярья до Черного моря и Кавказа, шестидесятилетний Бергельсон был горд тем, что по поручению ЦК лучше других написал текст листовки — антифашистского призыва, обращенного ко всем евреям мира. Текст многократно передавался по радио — в оригинале и по-русски, — обошел мировую печать.

Кто мог подумать, что спустя несколько лет и эта листовка окажется среди обвинительных материалов на следствии, а затем и в судебном разбирательстве?

Судья Чепцов зачитал злонамеренное «Обращение» ради единственной в нем клятвы, начинающейся словами: «Я дитя еврейского народа!»

«Это же призыв к единству по признаку одной крови!» — возмутился главный судья.

Оказывается, по признаку одной крови — чеченской, корейской, ингушской, калмыцкой, немецкой, любой другой — в сталинской империи репрессии допустимы — депортация, акты судебного произвола вроде дела ЕАК, но во всех других случаях задействован исключительно классовый признак, механизм классовой борьбы, помогающий нагонять страх, формировать тьмы «врагов народа», разделять и властвовать.

«БЕРГЕЛЬСОН: — Но в Обращении говорится о единстве в борьбе с фашизмом.

ЧЕПЦОВ: — Вы считаете, что с фашизмом ведет борьбу только еврейский народ?»

БЕРГЕЛЬСОН: — Ведь это было обращение советских евреев-антифашистов к евреям всех стран во время войны... Было же такое выражение: «Братья евреи!» Я не вижу ничего плохого в этом выражении.

ЧЕПЦОВ: — Вот, например, Фефер в своем стихотворении «Я еврей» все время старается подчеркнуть, что он принадлежит к еврейскому народу, и непременно кричит: «Я еврей!..»

БЕРГЕЛЬСОН [проявляя поразительную для него неуступчивость. — А.Б.]: — В самом выражении «Я еврей» ничего преступного нет. Если я подхожу к человеку и говорю: «Я еврей», что же здесь плохого?

ЧЕПЦОВ: — Я говорю о стихотворении, являющемся, по заключению экспертизы, сионистским и националистическим, где Яков Свердлов сравнивается с Соломоном Мудрым и Маккавеями.

БЕРГЕЛЬСОН: — Яков Свердлов — это гордость еврейского народа, это один из прогрессивнейших евреев. Свердлову не было бы стыдно, если бы он знал, что его ставят на одну ступень с мудрым Соломоном...»<sup>1</sup>

Какие могли оставаться сомнения у суда: Бергельсон — ярый националист! Сравнить Свердлова с

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 79.

Маккавеями, с библейским Соломоном, сыном царя Давида и Вирсавии! Гордость партии объявить гордостью еврейского народа; любимца Ленина посчитать всего лишь «одним из прогрессивнейших евреев» — как язык поворачивается произнести такое! Вот как выходит наружу национализм, националистический счет событиям и людям; вопреки свободно принятому новому имени Свердлова напомнить всем, что он еврей; обособить его таким образом от великого братства, случайность рождения поставить выше всего! Они только и знают, что вести свой, еврейский, отдельный счет, подсчитывать свои потери, оплакивать свои жертвы...

Ничего предосудительного, кроме происхождения и «профессии», Чепцов, надо думать, за Соломоном Мудрым не числил, не подозревал, вероятно, о его многоженстве и расточительности. Низка и оскорбительна, на его взгляд, сама попытка сравнить большевика, выдающегося деятеля партии с персонажем Библии, этого отмененного революцией собрания еврейских побасенок.

## XVII

Старую интеллигенцию, не только еврейскую, судили уже три десятилетия: не Абакумов начал и не на нем кончилось мучительство.

Мыслящих людей, шагнувших в 1917 год не вполне сложившимися, ищущими, спустя время нетрудно было обвинить во всех смертных грехах. Зеленое древо истории, с буйством его переплетенных ветвей, со всей непредвиденностью живой жизни, обрубили и обтесали до гробовой прямизны. Из всех общественных сил прошлого безгрешными объявлены одни большевики. Уже во врагах числились и те, кто некогда составлял с большевиками одну социал-демократическую партию. Меньшевики, бундовцы, левые эсеры и прочие «ренегаты» революции объявлены злейшими ее врагами, а значит — врагами народа.

Для судеб еврейской интеллигенции все роковым образом усложнялось существованием в недавнем прошлом Бунда, революционной партии, то входив-

шей в РСДРП, то расходившейся по ряду программных и тактических вопросов, в том числе и в вопросе о «национально-культурной автономии». В 1918 году Ленин (как и Сталин, написавший именно тогда брошюру «Марксизм и национальный вопрос»), полагая высшим благом для евреев России ассимиляцию, утверждал, что «лозунг национальной культуры неверен и выражает лишь буржуазную ограниченность понимания национального вопроса». Греховной, буржуазной — а в его устах буржуазность — грех тягчайший, навсегда не прощенный — Ленин, таким образом, посчитал не только «национально-культурную автономию», с почти неизбежным временным размежеванием социал-демократических сил, но и национальную культуру, без которой попросту неммыслимо существование и развитие нации.

Подъем и расцвет национальной культуры есть неперемнное условие демократии, а тем более становления новых общественных отношений наций, входивших в Советский Союз. В августе 1913 года со страниц «Северной правды» Ленин гневно отринул шовинистический проект «национализации еврейской школы», предложенный попечителем одесского учебного округа, указав другой, желанный путь исторического развития: «В Европе евреи давно получили полное равноправие и все больше сливаются с тем народом, среди которого они живут».

Вновь — ассимиляция как неизбежность демократии, как цель и идеал для еврейства.

Одна из причин крайнего упрощения в суждениях о национальной культуре заключается в подчинении великих стратегических задач существования нации сиюминутным тактическим нуждам ведения «классовой борьбы». Все в том же, 1913 году на летнем совещании ЦК РСДРП была принята следующая резолюция: «Разделение по национальностям школьного дела в пределах одного государства, безусловно, вредно с точки зрения демократии вообще и интересов классовой борьбы пролетариата в особенности. Именно к такому разделению сводится принятый в России всеми буржуазными партиями еврейства и мешчанскими, оппортунистическими элементами разных наций план так называемой «культурно-нацио-



нальной» автономии или «создания учреждений, гарантирующих свободу национального развития».

Интересы нации без колебания приносятся в жертву «нуждам пролетариата» даже и тогда, когда Сталин ведет речь о «кавказских нациях», настаивая на том; чтобы все было жестко, диктаторски подчинено «интересам кавказского пролетариата», хотя и составляющего абсолютное меньшинство нации. Оговорившись однажды, что для «полного развития духовных дарований еврейского рабочего», как, впрочем, и татарского, необходима свобода создания еврейских школ и «пользования родным языком на собраниях и лекциях», Сталин упорно утверждает несуществование еврейской нации, более того, отсутствие у еврейства и в будущем надежд стать нацией.

На этот случай готовый согласиться даже с О. Бауэром, справедливо заметившим, что интенсивное развитие капитализма затрудняет для евреев сохранение себя как нации, Сталин торопится с резолюцией: «Короче: еврейская нация перестает существовать — стало быть, не для кого требовать национальной автономии. Евреи ассимилируются».

Поспешность подводит автора: перестать быть, существовать может только то, что существовало, было!

Напомнив, что неотвратимость ассимиляции евреев провозгласили еще Маркс в 40-х годах прошлого века и Каутский в 1903 году (специально для русских евреев), Сталин неожиданно переходит к цифровым выкладкам, определяя судьбы еврейской «нации» по единственному признаку: землепользования. Мол, из 5—6 миллионов русских евреев только 3—4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96 процентов заняты в торговле, промышленности, посредничестве, в городских учреждениях и ни в одной губернии не составляют большинства. «...Такое положение, — утверждает Сталин, — подрывает существование евреев как нации, ставит их на путь ассимиляции. Но это — процесс объективный. Субъективно, в головах евреев, он вызывает реакцию и ставит вопрос о гарантии прав национального меньшинства, гарантии от «ассимиляции»».

Злосчастные «головы евреев», несогласных, добивающихся истины, — никак им не понять того, что так очевидно и просто открылось Сталину в Вене в 1913 году: «...вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько к у р ь е з н ы й характер: предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно еще доказать». Культурная автономия, развивает свою мысль Сталин, «становится еще вредней, когда ее навязывают «нации», существование и будущность которой подлежит сомнению». Тут холодность и недоброжелательство, что называется, бьют в нос; уже и слово «нация» применительно к евреям берется в кавычки. Впрочем, он с издевкой пишет и о поляках и финнах, об их «мертворожденных» сеймах, неспособных повлиять на формирование наций, пишет, выказывая историческую недальновидность, свою «курьезность» в свете реальной истории ближайших десятилетий.

Я позволил себе небольшой экскурс в прошлое, ибо оно имело и имеет прямое отношение к «Судебному делу № 2354» — делу Еврейского антифашистского комитета. Больше того: драмы эмиграции, рассеяния, ассимиляции, двуязычия, всего того, чем так кроваво полнится дело ЕАК, сегодня приобрели глобальную распространенность, захватили существование многих наций.

Поистине курьезно, но следователи Абакумова прибегали, как мы убедились, и к помощи классиков марксизма-ленинизма. Добиваясь смирения арестованных, покорства их духа, следователи — воинствующие атеисты не могли полагаться на томик Нового Завета, но труды Ленина и Сталина, и прежде всего названные мною работы, должны были открыть преступникам всю тщету их усилий, их надежд на возрождение еврейской национальной культуры. Тальми сам испросил себе марксистской «живой воды». Предлагалась она и другим, благо времени для чтения у них хватало. После палочных тюремных уроков прошлое заточенных еврейских писателей, интеллигентов начинало казаться им греховным, отталкивающим, не заслуживающим снисхождения. Бедняки по рождению — только немногие из них знали в де-

тстве достаток, — они, однако, не вправе были похвасть пролетарским происхождением. Нужда, поиски надежного ремесла, знаний, возможности учиться рано срывали их с места, гнали от родительских гнезд в люди, подалеже от треклятой «черты оседлости», от земли унижения, от глухого, закрытого горизонта. Нетерпеливцы, с воодушевлением встретившие революцию, обещавшую им социальное и национальное раскрепощение; мудрецы и легковеры, мечтатели, скептики, фантазеры, кидавшиеся туда, где возникали газеты и журналы, типографии с запасом наборных еврейских литер. Честолюбцы, радовавшиеся первым книгам и еврейской аудитории, — каким отличным, исключительным, превосходным материалом оказались они для политических спекуляций озлобленного следствия! Шли годы — 1918-й, 1919-й, 1920-й, 1921-й, — менялись власти, создавались и рушились эфемерные литературные кружки, группы, писались скоротечные эстетические манифесты — литераторы всё полны веры и смятения, радостного признания перемен, надежд на свободу, но как часто они косноязычны, архаичны по языку, интеллигентски расплывчаты.

Через эту блаженную эйфорию — радостную, трепетную, тревожную, — через новую песню и еще не стихший старый плач, через призыв и смятение в те годы прошли поэты России и Украины. Как же это могло не отразиться на поэзии и на всей литературе еврейской?! На самом ее дыхании... Менялась власть — что принесет с собой новая, кто теперь окажется виновным в еврейских погромах? Бандиты, паразитирующие по обочинам новой, быстротечной власти, или она сама, уверенная в необходимости такой «национальной профилактики»?

Следователь Лубянки не допустит слабости, не даст арестованному углубляться в конкретику времени. На взгляд следователя, все просто: были ненавистный царский строй, самодержавие, власть буржуазии, были реакционные или социал-предательские политические партии, свершилась революция, она разрешила в с е вопросы, установила советскую власть, и никакой другой власти не было и быть не

могло вопреки клеветническому заявлению Льва Квитко, что у них в Умани власть менялась 18 раз.

Одна власть и одна партия: любой шаг в сторону от них — не против них, а только в сторону, в минутный страх, в потерянность, в творческий поиск, в бытовую нужду, ради детей и собственного физического выживания — это враждебность, антисоветчина. Пока набиралась и печаталась небольшая книжечка стихов на идиш, в Киеве успевала дважды, а то и трижды смениться власть: попробуй ответь, кто твои покровители, при ком изданы стихи — при Деникине, при Петлюре, чьи доблестные воины убили всю твою родню — при Центральной Раде, при гетмане или при немцах?

Три первых допроса Переца Маркиша следователь Демин посвятил «разоблачению» его мятежной молодости, его скитаниям по городам и странам, всячески добиваясь признания, что подследственный воспринял революцию «с мелкобуржуазных позиций». *«Ни в Польше, ни в Советском Союзе, — заявил Маркиш на следующий день после ареста, 28 января 1949 года, — я антисоветской работы не проводил, врагом Советской власти я никогда не был».* Маркиш мог бы в подтверждение своих слов сослаться на поэму «Волынь» 1918 года, на первый сборник стихов «Пороги» (1919), на изданные в Екатеринославе в 1919 году сборники «Шалость» и «Неприкаянный», процитировать стихотворение 1919 года «Вставай, заря!» — его кредо, его поэтическое приятие нового мира:

Вставай, заря, меня вести,  
Всех жаждущих пои!  
Нас ждут в высокой зависти  
Ровесники мои...  
На низком встал пороге я  
И вскинул парус свой...  
Прощайте, дни убогие,  
И — здравствуй, мир живой!

Маркиш мог бы прочесть вслух проклятия — тоже стихотворные, гневные — погромщикам и погромам, прокатившимся по Украине, выразить полноту внутренней жизни поэта — певца революции.

Но нет веры Перецу Маркишу, сыну учителя древнееврейского языка. Как над издыхающей жертвой, кружит над ним, над его прошлым следователь. Еще бы: в 13 лет он — певчий в хоральной синагоге Бердичева, впоследствии печатал стихи в газете «Кэмфер», органе какой-то убудочной партии «Форейнитте» — следователь и не слыхивал о такой! Печатался даже в бундовских газетах и, по собственному признанию, *«...смешался со всеми в пестрой толпе еврейских литераторов в Польше; был молод, в политике особенно не разбирался и печатал свои стихи там, где их принимали»*. Опрометчивое признание, что некоторые стихи молодых лет имели привкус «анархо-бунтарства», довершает в глазах следователя портрет еврейского поэта — антисоветчика, буржуазного националиста. Отныне все в его прошлом становится подозрительным и вредоносным: скитания по миру в тщетных поисках пристанища, посещения Лондона, Парижа, Палестины, Неаполя, Берлина и Вены — все приобретает недобрый смысл.

Не менее пестра и сложна жизнь других подследственных по делу ЕАК. Очень понятная, если захотеть разобраться, далекая, как правило, от политических, партийных страстей, эта жизнь в допросных протоколах преобразуется, наполняется обвинительными шорохами, а то и зловецим набатом. Жизнь чистая, нравственная оказывается вдруг каким-то клубком преступлений и измен. А в стране уже давно — с убийством Кирова — открыто и демонстративно торжествует «право», в котором нет срока давности. Любая давняя ошибка, любой проступок, объявленный государственным преступлением, а то и неудобное или «сомнительное» социальное происхождение могут быть сурово наказаны. Люди Абакумова допрашивают арестованных, понимая, что все они судимы уже почти три десятилетия — судом слепой толпы, судом голосующих рук, лозунгов, выносящих свой приговор. Судом порочащих человека досье, доноительства. Судом узаконенного извращения, перетолкования любой написанной тобой страницы или строфы. Изощренным судом самоговора, униженного стояния на ко-

лениях перед сослуживцами и коллегами, вынужденного стояния, именуемого самокритикой. Судом предчувствий, ночных страхов, постоянного унижения национального достоинства и чести.

Обратимся к делам арестованных по делу ЕАК — выдающегося поэта и драматурга Галкина и журналиста Люмкиса. По счастью, дело Галкина выделили с некоторыми другими в отдельное производство. Особое совещание еще 15 февраля 1950 года приговорило его к 10 годам лагерей — останься он в главном списке, ничто не спасло бы его от расстрела, ведь он был членом президиума ЕАК, тогда как казнённые Эмилия Теумин или Тальми были, как мы знаем, вообще не причастны к ЕАК.

27 мая 1953 года Самуил Галкин писал в заявлении из Внутренней тюрьмы МВД о том, что он был не в силах не подписывать лживые протоколы: *«...полное физическое и моральное изнеможение; бесперерывные бессонные ночи допросов; угрозы арестовать жену; площадная брань; угрозы спустить меня туда, где все все признают... «Пока ты нам нужен — не помрешь!» — говорил капитан Самарин. Его не интересовала суть дела, он заинтересован во что бы то ни стало, наперекор очевидности — очернить, оклеветать, уничтожить меня»*. Галкина особенно потрясло, что капитан Самарин убежденно отрицал самое возможное патриотизма в еврее: *«Какие же вы можете быть патриоты, если у вас всюду за рубежом родственники»*<sup>1</sup>.

Журналиста Люмкиса по всем ступеням ада провел старший следователь подполковник Афанасьев, заставляя подписывать лживые протоколы, но, когда Люмкис попросил его отметить в протоколе, что он участник Великой Отечественной войны и награжден орденами, подполковник сказал: *«Будь ты русским, а не евреем, то сдался бы в плен, а ты вынужден был воевать, ибо у немцев тебя ждала пуля»*.

Может показаться, что Афанасьев таким образом оскорбил русских, заподозрив их в готовности сдаваться немцам! Ничуть не бывало: он неуклюже,

---

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 10, лл. 127, 129.

не вполне владея родной речью, выразил убеждение в том, что если бы судьба поворожила ж и д у Люмкису и он не опасался бы н е и з б е ж н о г о уничтожения, то он непременно сдался бы в плен.

Никто не знает точной цифры задействованных в деле ЕАК следователей. Кто-то называет около 50, некоторые говорят о 38, мне в моих поисках довелось столкнуться с именами 27 следователей — не просто с мелькнувшими именами, а с активно действующими следователями. И среди этих двадцати семи не нашлось ни одного, полностью свободного от юдофобских предубеждений, от презрительной нелюбви даже к тем арестованным, чьи мужество и твердость на допросах должны были вызвать хотя бы уважение.

В постановлениях об аресте есть ссылки на статьи Уголовного кодекса РСФСР, но скоро обнаруживалось, что реальная деятельность арестованных не имела ничего общего с этими статьями УК. Не закон решал их участь, а Инстанция. ЦК постоянно и педантично наблюдал за усилиями службы госбезопасности; по холопской торопливости, по суете самого министра при оформлении некоторых бумаг и документов было очевидно, что они предназначались даже не прямому адресату, скажем Шкирятову или Маленкову, а Сталину, уже наблюдавшему за затянувшимся следствием не без признаков раздражения.

Прошло 35 лет с того времени, когда Сталин-теоретик, рассуждая о еврействе, взял в кавычки слово н а ц и я, начертал, что будущность этой нации «подлежит сомнению», представляя собой некий исторический «курьез». События времен революции и 20-х годов доказали, что движение многомиллионных масс — эти тектонические сбросы века и вулканические извержения — оказываются сильнее любых личностей. Революция не могла не привести к переменам во многих областях жизни, и в том числе и в жизни еврейского населения. Обещая ему национальное раскрепощение, она не могла не сделать серьезных шагов в этом направлении. До превращения Сталина в тирана и диктатора многие перемены носили благодетельный ха-

рактер, школы на еврейском языке вскоре охватили около 40 процентов всех учащихся евреев. Создавались еврейские издательства, редакции, театры, в местах компактного проживания евреев даже в народных судах слушания дел могли при необходимости проходить на еврейском языке.

В 1927 году на учредительном съезде ОЗЕТ Калинин еще мог без согласования приветствовать ростки еврейской государственности в СССР, тогда же затеялась и автономия в Биробиджане. «Великие переломы», как и великий террор, были еще впереди. Сталин только приближался к абсолютной личной власти. Иллюзия поддержанного государством подъема еврейской национальной культуры повлияла на еврейскую интеллигенцию всего мира. В 20-е и в начале 30-х годов в Советский Союз возвращаются многие из тех, кто помнил свою родину и хотел отдать ей знания и опыт, обретенные за рубежом. Почти все они стали жертвами террора 30-х годов, поплатившись за свой порыв.

К тому времени, о котором я веду речь, для следователей Лубянки вся премудрость «еврейского вопроса» свелась к простейшему: евреи ассимилируются, евреи **д о л ж н ы** ассимилироваться, ассимиляция евреев — **а б с о л ю т н о** е благо и для них самих, и для народов, среди которых они живут. А если ассимиляция — благо, то вредна и антипатриотична забота о национальной культуре. Если ассимиляция — благо, то зачем издавать еврейские газеты и звать зрителей в театры, где пляшут свадебный фрейлахс и о большом выигрыше мечтает бедный местечковый портной Шимеле Сорокер. Если ассимиляция — благо, зачем соблазнять молодежь сюжетами древней истории, героической фигурой Бар Кохбы, музыкой стихов Бялика или тех же Гофштейна, Маркиша, Галкина? Зачем длить исторический «курьез» или, если угодно, агонию?

В головах следователей послевоенного времени сложилась новая формула обвинения, еще не записанная отдельной статьей в УК, но оттого не менее устрашающая и действенная: новая юридическая нор-



ма — сопротивление ассимиляции, борьба против ассимиляции.

Этим заняты черные недели следствия и дни судебного обвинения: добиться более весомой жатвы, сбора иных, откровенно «злодейских» плодов было им не суждено.

8 мая, в первый день судебного слушания, на допросе Давида Бергельсона возник вопрос об ассимиляции как о некоей святыне национальной политики партии и советской власти. Стараясь объяснить долгожданному суду все как можно мягче и откровеннее, Бергельсон, как в тайном грехе, исповедовался в боли, которую испытывают еврейские писатели, неотвратимо теряя читателей. В его словах не протест, не дерзость, не покушение изменить ход вещей, но боль, боль — как с ней справиться?! *«Скажем, есть у тебя недовольство тем, что закрыли еврейские школы, — говорил Бергельсон. — Не говори об этом открыто... Был у нас писатель Годинер, он погиб на войне. В 1935—1936 годах, когда только намечалось сокращение контингента учеников еврейских школ, он открыто поставил вопрос: «Нам надо знать, что же с нами, советскими писателями, будет? Через несколько лет мы будем лишними?» Да... Нас очень волновало закрытие еврейских школ: это было открытое признание, что мы будем лишними. Но мы считали, что это не распоряжение ЦК ВКП(б)...»* Он торопится вывести себя из подозрения в несклонности. *«Я видел, что сами родители не отдают детей в еврейские школы. В еврейских школах уменьшилось количество учеников, но для меня лично это был вопрос еврейской культуры вообще...»*

Он исповедуется летом 1952 года, когда нет уже не только еврейских школ, но нет и ГОСЕТа в Москве; закрыты театры Киева, Одессы, Минска; сведено на нет многое из того, что кое-как дышало до войны, уцелев и в годы великого террора.

Чепцова не устраивает такая либерализация темы.

**ЧЕПЦОВА:** — *Вопрос ассимиляции вас лично беспокоил?*

**БЕРГЕЛЬСОН:** — *Я в ассимиляцию не то что не верил, а считал, что это очень длительный процесс,*

*а это значит — длительная агония, и она может быть страшнее смерти.*

**ЧЕПЦОВ:** — *Вы и сейчас (на суде!) ассимиляцию еврейского народа среди советского народа называете агонией?*

*Отдаленные раскаты политического грома: как можно не воспеть, не восславить благорастворение в лоне огромного великого народа!*

**БЕРГЕЛЬСОН:** — *Я говорю не о народе, а о культуре.*

**ЧЕПЦОВ:** — *Раз культура, значит, и народ.*

*Сбившись, кое-как продолжая, Бергельсон говорит о литературных вечерах, лекциях и докладах, проводившихся еврейской секцией Союза советских писателей.*

**«ЧЕПЦОВ:** — *Лекции, доклады были на еврейском языке?*

**БЕРГЕЛЬСОН:** — *Да, на еврейском языке.*

**ЧЕПЦОВ:** — *Что же вы тогда отрицаете? Разжигание националистических чувств?*

*Так преступлением объявляется публичный разговор на еврейском языке, и писатель, которого уже три десятилетия читают на его родном языке, спешит смягчить ситуацию.*

**БЕРГЕЛЬСОН:** — *Да, но во всем этом не было сговора...»<sup>1</sup>*

*Толкование всякой заботы о национальной культуре как противодействия ассимиляции, а значит, враждебной деятельности отчетливо выразилось на судебном допросе Фефера. Уличая его в национализме, Чепцов сказал:*

*« — Но ведь борьба против ассимиляции и составляет н е с у щ е с т в у ю щ у ю еврейскую проблему, которую пытался разрешить ЕАК. Это правильно?»*

**ФЕФЕР:** — *Да, верно... Но в тот период я часть того, что мы делали, не считал националистической работой. Я, например, не считал, что противодействие ассимиляции является националистической деятельностью.*

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, лл. 42, 43, 44.

**ЧЕПЦОВ:** — *Вы пришли в «Эйникайт», чтобы бороться против ассимиляции за культурную автономию евреев?*

**ФЕФЕР:** — *Нет, за рост еврейской культуры.*

**ЧЕПЦОВ:** — *Но это тоже националистическая задача.*

**ФЕФЕР:** — *Я тогда это не считал националистической задачей.*

**ЧЕПЦОВ:** — *А борьба против ассимиляции, что это такое? Значит, вы вели с самого начала а н т и с о в е т с к у ю деятельность.*

**ФЕФЕР:** — *Националистическую деятельность...*

**ЧЕПЦОВ:** — *Всякая националистическая деятельность есть антисоветская деятельность.*

Софистика в устах военного судьи — убойное оружие.

«Ассимиляция» превратилась в универсальный оселок, на котором удобно править ранящий, разящий инструмент судебного насилия. Сколько усилий ушло на то, чтобы заставить подсудимых подписывать протоколы с признанием в национализме! Уличить заключенного в борьбе против ассимиляции оказалось значительно проще. Если подсудимый продолжал писать книги, стихи или статьи на родном языке, он противостоял ассимиляции, и это давало право записать: «Вел антисоветскую работу по пропаганде идей обособленности еврейской нации».

На радостях, что враг разоблачен, в казенном тексте можно позволить себе назвать евреев н а ц и е й.

Измученный следствием, не сумевший обрести свободного дыхания даже на суде, Лев Квитко попрскнул Лозовского, «человека, который знал Ленина и его отношение к ассимиляции», в забвении ленинских уроков. Сам же он, Квитко, «более подробно познакомился со всем этим в тюрьме» и понимает, что если «ассимиляция происходит даже при буржуазном строе, так неужели этот процесс ассимиляции задержится при Советской власти, при с в о б о д е?!» (работы Ленина и Сталина по национальным проблемам, так повлиявшие на Леона Тальми, как видим, побывали не в одной тюремной камере!). Какая трагическая привилегия: из-

за тюремной решетки восславить таким образом «свободу», едва утерев с лица плевки палача, обретя слух, отнятый у тебя ударами пудовых кулаков, — восславить свободу, которая должна же где-то существовать! «Мы, писатели, у нас инструмент — язык, — кручинился трудной судьбой Квитко. — Вместе с ассимилированной частью еврейского населения не уйдешь, но ты можешь подготовить ее к ассимиляции... Бергельсон и Маркиш писали за Советскую власть, агитируя за все мероприятия новой жизни. Этим они подготавливали читающую публику к ассимиляции... Но еврейский писатель, который привязан к языку, не может так легко, как это делает масса, менять свой инструмент — язык; уйти от него вместе с массой невозможно».

Мольба о прощении, о снисхождении к писателям, з а л о ж н и к а м родного языка, — какая это трагедия!

Но председатель суда тверд.

«ЧЕПЦОВ: — А вы, Квитко, считаете, что комитет вел работу против ассимиляции?

КВИТКО: — Конечно, против ассимиляции»<sup>1</sup>.

В 1913 году пытавшийся теоретизировать Сталин с издевкой писал о тех, кто печется об «о т д е л ь н о м п р а в е еврейского языка, жаргона», то есть языка идиш. Стремясь к окончательной ассимиляции, к полному устранению языка идиш, сталинские функционеры практически домогаются н е м о т ы, еврейской немоты, во славу братства народов. Немота — как богатство, немота — как подвиг, как торжество духа и законопослушания! Наконец, немота — как избавление от еврейского буржуазного национализма.

На исходе жизни владыке полумира, всевластно-му Сталину, уже не понадобились цитаты из Маркса, ссылки на Каутского и Бауэра, ни к чему были теперь ирония и сарказм в адрес упрямых ревнителей еврейской культуры и языка. Теоретические потуги 1913 года ушли в пещерное прошлое, давно наступила пора повелевать. История вознамерилась сыг-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 2, л. 169.

рать с ним недобрую шутку: увековечить его репутацию спасителя европейских евреев, их благодетеля, отца родного, оставить за ним ампула доброго дядюшки-резонера, поручив богоподобную, героическую роль другому премьеру мировой сцены. Неважно, что этот другой, сделавшийся ненавистным после 22 июня 1941 года, убил себя и сошел с подмостков: герои такого масштаба уходят из жизни, но не из памяти человечества.

В канун войны Сталин, оказывается, уже не скрывал, что хотел бы в «еврейском вопросе» следовать примеру Гитлера. Всегда клявшийся в верности интернационализму, Сталин в беседе с гитлеровским министром Риббентропом откровенно изложил свои планы, касающиеся евреев. Вернувшись в Берлин, Риббентроп порадовал фюрера, уверенного, что «за спиной Сталина стоят евреи», известием о сталинской нелюбви к ним, о решимости покончить с их «засильем», прежде всего в рядах интеллигенции страны.

24 июля 1942 года за ужином в ставке германского Верховного командования «Вервольф» под Винницей Гитлер повторил слова Сталина и позволил Генри Пиккеру, юристу и стенографу, точно записать их: *«Сталин в беседе с Риббентропом также не скрывал, что ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно с о е й интеллигенции, чтобы полностью покончить с засильем в руководстве евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему нужны»*<sup>1</sup>.

Как все похоже, как родственно: сталинское — «полностью покончить» — и гитлеровское — «окончательное решение»! Даже злобное преследование «мастерами» Лубянки и писателями—«экспертами» библейских метафор и сравнений, простых упоминаний персонажей Библии совпадает с невежественными выпадами фюрера против великой книги человечества. В поддень 5 июня того же, 1942 года Гитлер осчастливил мир своим приговором Библии: *«Это просто несчастье, что Библия была переведена на немецкий язык и все это еврейское*

---

<sup>1</sup> «Знамя», 1993, № 2, с. 174.

шарлатанство и крючкотворство стало доступно народу»<sup>1</sup>.

Мог ли Сталин сомневаться в том, что после победоносной войны пробили час великого свершения и начинать надо с интеллигенции, ибо в р у к о в о д с т в е страны и не пахло засильем евреев, разве что для интернациональной вывески сохранялся в Политбюро Каганович, а где-то поблизости от верхов усердствовал готовый на все Мехлис.

Час пробили — «дело ЕАК» одновременно с развязанной кампанией борьбы против «безродных космополитов» набатом обозначили его наступление.

Квитко пытается на суде защитить Маркиша и Бергельсона, он говорит о них как о патриотах страны, не раз подчеркивает, сколь редкими гостями были в ЕАК Лина Штерн или Зускин; «*что касается Теумин, — настаивает он, — то она совсем никакого отношения к работе комитета не имела. То же самое могу сказать о Чайке Ватенберг*». И лишь одного не удастся ему избежать: капкана ассимиляции.

Вот его горемычное признание под конец долгого судебного допроса: «*Я не могу считать себя националистом. Ни мыслями, ни словом, ни действиями. Но, продолжая писать по-еврейски, мы н е в о л ь н о стали тормозом для процесса ассимиляции... Пользоваться языком, который массы оставили, который отжил свой век, который обособляет нас не только от всей большой жизни Советского Союза, но и от основной массы евреев, которые уже ассимилировались, пользоваться таким языком — это, по-моему, является своеобразным проявлением национализма. В остальном я не чувствую себя виновным*»<sup>2</sup>.

Ни в чем не виноватому Квитко, неповинному даже в сопротивлении ассимиляции, довелось выслушать смертный приговор и 12 августа 1952 года пасть от пули палача. В июле 1936 года Корней Чуковский записал в своем дневнике: «*Был в Киеве*

---

<sup>1</sup> Там же, с. 141.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 2, лл. 235, 236, 239.

у Квитко. Квитко — сеговатый, широкогрудый, ясный душою, спокойный и абсолютно здоровый человек». В мире нетерпимости и разрушения доброта и гармония — а их щедро излучал Квитко — подлежали уничтожению. Его — сироту, росшего в пужде, при бабушке Хае-Ревекке, его — талантливого самоучку, черт дернул писать по-еврейски, мешая благодетельному процессу ассимиляции.

Ясный душою Квитко...

Должен исправить свое заблуждение на страницах «Записок баловня судьбы». В связи с делом ЕАК и казнию выдающихся еврейских писателей я писал:

*«Горе и ошеломление охватили всех, кто знал этих нравственных и чистых людей: Зускина, большого ребенка Квитко, Бергельсона и других. Хочется верить, что именно ошеломление и надежда на то, что все минует, как дурной сон, продиктовали Борису Полевому малодушную ложь в Нью-Йорке при встрече с Говардом Фастом. Фаст, как к спасению от злобных антисоветских клевет, бросился к Полевому: «Правду ли говорят, что в Москве арестовали Квитко?» — «Нет! Нет! — закричал Полевой, кажется, закричал на самого себя. — Я с ним встретился на лестнице перед отъездом на аэродром...»*

Как он хотел не солгать, как мечтал встретиться с Квитко на лестнице хотя бы по возвращении в СССР! Как не смог не солгать в столь привычном для нас пароксизме защиты своей страны, Родины, Москвы, их чести.

И каким бездонным должно было стать презрение Говарда Фаста, когда он узнал, что Квитко арестован, а впоследствии и расстрелян!»<sup>1</sup>

Защитительный пафос этих строк — свидетельство моей слабости, стремления не поверить в полную безправственность человека. После публикации в журнале «Знамя» (1992, № 8) переписки Б. Полевого с Г. Фастом, после прочтения раболепных

---

<sup>1</sup> А. Б о р щ а г о в с к и й. Записки баловня судьбы. М., 1991, с. 116.

писем Полевого функционерам ЦК КПСС и униженного совместного редактирования ими текста большого, так и не отправленного письма в Нью-Йорк не остается никаких сомнений в продуманности лжи Полевого, в стремлении исказить картину изощренной и высочайше утвержденной ложью. Она длится и длится, с осени 1952 года и весь 1957-й, когда казненные по делу ЕАК уже посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления, но власти и общество никак не решаются сказать правду, склонить голову перед памятью павших.

Заметавшись между чиновниками ЦК КПСС, от П. Пospelова и Д. Шепилова до Б. Рюрикова, П. Тарасова и инструктора Е. Трущенко, Борис Полевой озабочен только одним: как половчее солгать, как увернуться от неудобных вопросов Фаста, как сохранить «гуманное» чело для международного употребления и угодить начальству.

В конвейер лжи включается и Юрий Жуков, наставник Д. Шепилова, а через него и Полевого в высшем искусстве лицемерия и изворотливости. Строки писем Фаста полны искренности, он в смятении — уже не только из-за потери Квитко и его товарищей, но и в предчувствии презрительного разрыва с человеком, казавшимся ему благородным и честным. *«И почему, Борис, — взывал Фаст в большом письме из Нью-Йорка от 25 марта 1957 года, — почему ты сказал нам здесь, в Нью-Йорке, что еврейский писатель Квитко жив и здоров, живет с тобой в одном доме, по соседству, когда он был казнен и его давно нет в живых? Почему? Зачем тебе нужно было лгать? Почему ты не мог уклониться от ответа и сказать нам, что ты не знаешь или не хочешь говорить об этом? Зачем ты лгал, лгал так страшно и намеренно?»*

На помощь потерявшемуся Полевому пришла целая служба, увечный «мозговой центр», не без непременно А. Чаковского и Ю. Жукова. Последний решительно советовал Полевому в ответном письме Говарду Фасту *«сказать, что американские пропагандисты, среди которых, кстати сказать, есть и закоренелые антисемиты, проливая крокодиловы слезы по поводу*



судьбы Пфесффера [так Юрий Жуков именует своего московского коллегу по Союзу писателей! — А.Б.], Квитко и других, утрата которых для всех нас была трагедией, делают вид, будто эти писатели явились жертвой только расовых преследований, умышленно умалчивая о том, что банда Берии истребляла отнюдь не только евреев, но и крупнейших деятелей всех национальностей. Их судьба, однако, Фаста, по-видимому, не трогает...»

Как отвратительны и как знакомы эти грошовые приемы демагогии: пролить слезу, не испытывая и минутной печали, спрятаться за ничего не говорящий оборот «...и других», не сказав, что была уничтожена (в совокупности всего дела ЕАК) в с я еврейская литература, все значительные ее представители; не сказать правды о расовом преследовании, спрятавшись за шарлатанскую формулу: «не только расовых преследований».

Чувство непроходящего стыда рождает большущее, так и не отправленное, задохшееся в согласованиях письмо Полевого, открывающееся лихой строкой: «Эх, Говарг!» Весь черновик в поправках и вымарках, лгать становится все труднее, никто уже не верит фальшивым румянам Полевого. Помеченное 17 мая 1957 года, письмо снабжено еще и постскриптумом: надо же как-то объяснить свою долгую, трусливую немоту.

*«P.S. Я несколько опоздал с ответом на Ваше письмо. Не приписывайте это, ради бога, свирепости «советской цензуры». Я только что вернулся из интереснейшей поездки по стране и получил возможность ознакомиться со своей почтой».*

Воистину: «Широка страна моя родная, много в ней морей, лесов и рек...»

Помог ли Полевой вдове Льва Квитко узнать, где, в какую яму ссыпан прах поэта?

Появлялось ли у него такое желание?

Мучила ли его совесть?

Покинем ненадолго зал заседаний Военной коллегии Верховного суда, отправимся на улицу Поварскую, 52, в Союз советских писателей, где, если верить Ю. Жукову, скорбят об утрате Квитко, мифического Пфесффера и других.

## XVIII

*«Их утрата для всех нас была трагедией», — со-  
ветует отписать в Нью-Йорк Юрий Жуков. Но тра-  
гедия не живет во вводных предложениях, вкраплен-  
ных в лицемерный, лживый текст, задача которого —  
отвести подозрение, «будто писатели явились жерт-  
вой расовых преследований». Испытанный демагоги-  
ческий прием: умалить, исказить природу любой тра-  
гедии ссылкой на иную, еще более масштабную и  
кровавую. Задыхливо бежать вперед, ни на чем не  
задерживаясь, не углубляясь в предмет, в промельке  
событий разучаясь скорбеть, сохраняя лишь в рече-  
вых стереотипах некое общее осуждение несколь-  
ких обер-палачей (вроде «банды Берии»).*

Как в этой связи не вспомнить письмо Солжени-  
цына IV Всесоюзному съезду советских писателей  
(1967), особенно второй раздел письма, предлагав-  
ший уставно сформулировать гарантии защиты, «ко-  
торые представляет Союз членам своим... чтобы не-  
возможным стало повторение беззаконий». *«Многие  
авторы, — писал Солженицын, — при жизни под-  
вергались в печати и с трибун оскорблениям и кле-  
вете, ответить на которые не получали физической  
возможности, более того — личным стеснениям и  
преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пас-  
тернак, Зощенко, Платонов, Александр Грин, Васи-  
лий Гроссман). Союз же писателей не только не пре-  
доставил им для ответа и оправдания страницы  
своих печатных изданий, не только не выступил сам  
в их защиту, — но руководство Союза неизменно  
проявляло себя первым среди гонителей. Имена, ко-  
торые составят украшение нашей поэзии XX века,  
оказались в списке исключенных из Союза либо даже  
не принятых в него! Тем более руководство Союза  
малодушно покидало в беде тех, чье преследование  
окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Ва-  
сильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Ба-  
бель, Табигзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень  
мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы уз-  
нали после XX съезда партии, что их было БОЛЕЕ  
ШЕСТИСОТ — ни в чем не виноватых писателей, ко-  
го Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судь-*

бе. Однако свиток этот еще глиняный, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды — Ежова — Берии — Абакумова»<sup>1</sup>.

Если арест Давида Гофштейна в Киеве в сентябре 1948 года вызвал благородную попытку Максима Рыльского, одного из руководителей Союза писателей Украины, выяснить у начальства, что приключилось с поэтом-гражданином, которого переводили на русский О.Колычев, М.Петровых, Н.Ушаков, С.Маршак, Л.Озеров и сам он, Рыльский, охотно переводил его на украинский, — то первые же аресты еврейских писателей в Москве вызвали односторонне карательные акции Союза писателей. И не только против отдельных личностей, но против самого существования еврейской литературы в стране. Это подтолкнуло создание уникальной ситуации, не случившейся ни в одной из советских республик.

Национальные литературы — как принято было именовать любую из литератур страны, кроме русской, — в конце 20-х и начале 30-х годов понесли огромный урон (и русская литература более других): достаточно взглянуть на список делегатов Первого съезда писателей, чтобы убедиться, как губительно было опустошение, нанесенное репрессиями. Едва ли не главным, определявшим тюремные и лагерные приговоры, было обвинение писателей в «буржуазном национализме». Но, убивая на Украине И.Кулика и М.Ирчана, М.Кулиша и О.Влызька, убивая лучших поэтов Грузии, у грузин и украинцев не могли отнять газет и журналов, словолитен и издательств. Кажется, что именно в репрессиях полномасштабно реализовался интернационализм: в арестах и казнях не было отказано ни одному народу и многие еврейские писатели пали тогда жертвами рядом со своими разноплеменными братьями.

В 1949 году Союз писателей, словно соревнуясь с Лубянкой, угождая Сталину, приступил к масштаб-

---

<sup>1</sup> Из личного архива автора. — Прим. ред.

ной ликвидации — организационной, издательской, творческой — еврейской литературы в стране. Слово вырублен лес, весь, подчистую и повсеместно. Никто не назовет сколько-нибудь значительного поэта, прозаика, драматурга, кто не был бы схвачен службой госбезопасности. Если гнездами антисоветчины и националистической «контры» объявлены в с е еврейские журналы, альманахи, газеты, театры и т.д., то как уцелеть литератору, пишущему на родном языке?

Вырублен лес, но, может быть, уцелел крепкий подросток и Союз писателей озаботится судьбой молодых, еще здоровых идейно?

Нелепые упования.

Срочные шаги по ликвидации еврейской культуры с января 1949 года шли скрытно и открыто, по всем мыслимым направлениям. Массовый характер приняли в последнюю неделю января аресты еврейских писателей и журналистов в Москве, Киеве, Минске, Одессе и других городах. Единицы доарестовывались весной и даже летом 1949 года. Одновременно 28 января газета «Правда» публикует, как мы знаем, редакционную статью «*Об одной антипатриотической группе театральных критиков*», однако и наличие в этой группе русского критика и драматурга Леонида Малюгина и армянина Григория Бояджиева, и все усилия Союза писателей и партийной печати не могли скрыть антисемитской направленности кампании борьбы с так называемым космополитизмом, с «беспачпортными бродягами в человечестве». Затравленные, отовсюду изгнанные, лишённые работы и возможности печататься, мы, объявленные космополитами, не знали о масштабах арестов, не связывали какой-то общностью наши судьбы. Строя «коллективистское» государство, мы создали общество предельно разобщенное, разорванное, объединенное не высокой духовностью и моралью, а автоматизмом голосования.

«Космополиты» нужны были ЦК, да и Абакумову тоже, не в тюрьме (для тюрьмы в газетных обвинениях «безродных» было куда больше оснований, чем для ареста Зускина или Лины Штерн!), а на свободе, на «витрине позора», на манер тех осужденных ки-

тайской «культурной революцией», кого водили на привязи по улицам Пекина или Шанхая. Борьба с «космополитами» воспитывала массы, по крайней мере должна была это делать. Преступник в тюремной камере изолирован от общества, до поры до времени с него не взять барыша и процентов; бывает, что преждевременные проклятия в его адрес (как и случилось с Синявским и Даниэлем) только настораживают общество.

Пламя антикосмополитической борьбы бушевало, опаляя, а то и сжигая тысячи судеб, упований, начатых дел, обещающих дарований. В начале февраля 1949 года Политбюро ЦК КПСС трижды — 3, 4 и 8 февраля — обсуждало вопрос об у п р а з д н е н и и еврейской литературы. 4 февраля 109-м пунктом протокола № 67 было поручено Маленкову, Шепилову, Фадееву и всему Оргбюро согласовать вопрос с секретарями ЦК КП(б) Украины Хрущевым и ЦК КП(б) Белоруссии Гусаровым для вынесения всеобъемлющего решения.

Справки о позиции Киева и Минска кратки:

*«1. ЦК КП(б)У (т.Хрущев) с предложением о роспуске объединения еврейских писателей в Киеве и с закрытием альманаха «Дер Штерн» согласен.*

*2. Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии т. Гусаров поддерживает предложение о роспуске объединения еврейских писателей в Минске».*

Окончательное решение ЦК КПСС было оформлено тем же 109-м пунктом протокола:

*«О роспуске объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на еврейском языке.*

*Принять предложение Правления Союза Советских писателей СССР (т. Фадеева):*

*а) О роспуске объединений еврейских писателей в Москве, Киеве и Минске;*

*б) О закрытии альманахов на еврейском языке «Геймланд» (Москва) и «Дер Штерн» (Киев).*

*Секретарь ЦК И. Сталин»<sup>1</sup>.*

Если учесть, что вопрос предварительно обсуждался еще 3 февраля (протокол № 415 секретариата

---

<sup>1</sup> Центр хранения и изучения документов новейшей истории, ф. 17, оп. 118, ед. хран. № 305.

ЦК), то надо думать, что письмо Фадеева Сталину было написано в конце января, сразу же после статьи «Правды» о критиках-космополитах.

*«Московское объединение еврейских писателей состоит из 45 писателей, — докладывал Сталину Александр Фадеев, — киевское из 26 писателей, минское — из 6 писателей. Основной организационный принцип, положенный в основу этих объединений, — принцип национальной солидарности — представляется ошибочным. Других литературных объединений, созданных на основе данного принципа, в Союзе писателей не существует».*

Обратимся к показанию Квитко на суде в мае 1952 года, оно невольное, без намеренной связи опровергает ложь Фадеева. *«Когда я пришел к Фадееву, — вспоминал Лев Квитко, руководивший до ареста объединением, — он сказал, что так как еврейская секция (тогда национальных секций, кроме еврейской, не было, а были секции поэзии, прозы, драматургии и т.д.) включает в себя все жанры — и поэзию, и прозу, и очерки и т.д., — то давайте назовем ее Объединением еврейских писателей при ССП, а ответственного секретаря назовем председателем»<sup>1</sup>.* Именно Фадеев придумал эту реорганизацию и был крестным отцом Объединения.

Подоплека этой новой фадеевской «разборки» для начальства ясна: еврейские писатели, мол, повторяют старые бундовские трюки, стремясь к обособленности, к формированию исключительно по национальному признаку («национальная солидарность»!). Фадеев отлично знал, как мало в московском Объединении еврейских писателей солидарности, в том числе и национальной, какие споры и несогласия буквально раздирают эту полусотню писателей (особенно при малости книжных и журнальных изданий); знал, что говорить в этой связи о «национальной солидарности» бесчестно, ибо в основу этого объединения положен язык, и только язык, знал и то, что в ряде регионов страны существовали иноязычные секции и объединения, в том числе и немецкие; что

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 2. л. 32.

в республиках почти повсеместно существовали секции или объединения русских писателей и принципом их организации также был язык, а не «национальная солидарность». Искусный демагог, он хотел с первых же фраз показать сепаратистскую обреченность еврейских литераторов, которым история не пошла впрок.

*«В последнее время, — продолжал Фадеев, — деятельность объединений приобрела националистический характер. Объединения не имеют перспективы для роста писательских кадров. Произведения писателей — участников объединений не находят широкого читателя».*

Глава всего писательского клана страны и одновременно член ЦК партии, он не может обойти и литературной стороны дела, творческого падежня альманахов, предоставляющих «...место произведениям националистического характера».

В чем же состоят эти тяжкие националистические грехи, понуждающие бить тревогу, информировать ЦК?

*«Писательница Стельмах в рассказе «Дедушкины дети» рассказывает о старой еврейской интеллигенции, эвакуированной на Урал с Украины, при этом показу пережитков прошлого в сознании и поведении изображаемых людей писательница уделяет значительно большее внимание, нежели раскрытию ростков нового в их переживаниях и поступках; в рассказе резко выступают черты местечковой ограниченности».*

*Писатель Дер Нистер<sup>1</sup> в очерке «С переселенцами в Биробиджан» развивает мысли сионистского характера; он говорит о Биробиджане: «Да будет снова построен дом Израиля» и далее: «Как хорошо, что в СССР уже появились маленькие, смелые Давиды, которые должны все более активно вооружаться гордостью и достоинством Давида, его любовью к своему народу...чтобы никакие Голиафы им больше не были страшны»».*

---

<sup>1</sup> Дер Нистер — классик еврейской литературы, автор знаменитого романа «Семья Машбер», энтузиаст создания Биробиджана, умер в лагере в 1950 году.

Знал ли неусыпный борец за мир, постоянный оратор международных форумов интеллигенции, что «дом Израиля» — еврейская государственность, в данном случае — еврейская автономия, которую так бесстрашно сулил евреям в 1927 году всесоюзный староста Калинин; знал ли он, что тот, кто зовет евреев в Биробиджан, пожалуй, недруг сионистов? Помнил ли Фадеев, что Сталин при крайней нужде тоже заговаривал и об Антее, и о святом Александре Невском, что противопоставление в очерке Давида Голиафу дано в антифашистском контексте? Сама Библия, особенно Ветхий Завет, представлялась и нашему лидеру, верховному литературному вождю, книгой вредной, порочащей тех, кто помнит о ней и — не приведи Господь — цитирует.

*«Националистические тенденции, — читаем далее в обращении Фадеева к Сталину, — проявляются также в поэтических произведениях, напечатанных в альманахах «Геймланд» и «Дер Штерн». В стихотворении Маркиша «Кавказ» радостному сиянию кавказской природы противостоят скорбные переживания автора: «У подножья гор, в твоём каменном оцепенении, мне, заброшенному сюда моим горем, надо бы сидеть в трауре по уничтоженному, стертому в страданиях тысячелетию».*

Кто подсунул Фадееву эту фальшивку, переложив в косноязычную лживую прозу вдохновенные поэтические строфы «Кавказа», поэмы, а не стихотворения, поэмы, сложенной из 33 восьмистиший? Какой угодливый трус посмел подобным образом истолковать этот мощный гимн народам страны, могучему, неприступному Кавказу, о каменную грудь которого разбились орды гитлеровцев? *«Сюда враги не добрались, — говорит старик-горец, — мы их от спеси отучили»*, и, вторя ему, автор восклицает: *«В пещере старой умирай, ты, шлем стальной и крест железный!»*, *«Наш гимн военных трудных дней летел к предгорьям неустанно, от подмосковных рубежей и до Мамаева кургана»*. И как гордому человеку в этот час торжества, в захватывающем мире гор, где *«гора любая — отчий дом»*, в мире, что *«...с плеч моих снимает вмиг воспоминаний тяжких бремя и вновь мне возвращает их...»*, как поэту не вспомнить отчей Во-



лыни и мертвого после фашистского нашествия родного местечка. *«Усопшие моей земли приснились мне в горах Кавказа, — говорит поэт, — чтобы справил тризну я сперва по ним. Чтоб не забыл в дороге».*

Надо истребить в себе честь и совесть, чтобы, не проверив текста поэмы (хотя бы и в подстрочном переводе), написанной в 1948 году, так оболгать ее, причислить к националистическим произведениям это благородное, классическое по силе и чистоте выражение общности народов страны. В трезвости, при неумершем чувстве ответственности — не перед начальством, а перед литературой и самой историей — такого доноса не подпишешь.

*«В стихотворении Гофштейна «Золотая осень», — информирует ЦК Фадеев, — автор восторгается «горогими квадратными надписями на вокзале» (т.е. вывесками на еврейском языке). В стихотворении Гофштейна «Письмо к зарубежному другу» пророк Иезекииль является носителем утешения для терроризированного фашистами еврейского населения и провозвестником новой жизни; автор пишет: «Слышу этот голос, и глубоко в душе становится уютно». Поэт Веледницкий в стихотворении «У горы Арарат» заявляет, что гора мила ему, так как она упоминается в Библии».*

Что спрашивать с «забойщиков» Абакумова, если первый (по номенклатуре!) писатель страны готов в одночасье у целого народа, у нации отнять ее легенды и ее историю, если под подозрение взят даже Иезекииль, вдохновивший Рафаэля и других великих художников и поэтов мира. Поистине, в докладную записку Фадеева, в этот жандармский рапорт входишь с предчувствием будущей грязи, злобы, соединенной с невежеством. Даже то, что скудные по листажу, сиротские альманахи «Геймланд» и «Дер Штерн» в разделе очерков «публикуют главным образом» материалы, посвященные деятелям евреям, Героям Социалистического Труда, летчице Гельман, боксеру Механику, дирижеру Рахлину и т.д., представляется Фадееву достойным осуждения.

Сталин от самих писателей получил основание для упразднения еврейской литературы. Госбезопасность справилась бы с задачей и без Фадеева, но так акция

казалась несомнею, казалась не актом произвола, а государственной необходимостью, державным актом, учитывающим все, даже и финансовую убыточность еврейских альманахов. Репрессии в отношении всего еврейского писательского корпуса были, таким образом, освящены творческим союзом. Если это не «культурный геноцид» в масштабах страны, тогда и само слово г е н о ц и д лишено смысла.

Вслед за письмом Фадеева Сталину — секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову направляется подробная информация о закрытом партийном собрании в Союзе писателей 9—10 февраля. *«На собрании вполне законно ставился вопрос об ответственности объединения еврейских писателей за то, что в его рядах орудовали нусиновы, феферы, маркиши, квитко, галкины. На собрании был уличен космополит Альтман в том, что он с лакейской услужливостью занимался распространением абонементов Еврейского театра среди писателей Москвы, Киева и других городов»*<sup>1</sup>

Так драматически обернулось для завлита ГОСЕТа Альтмана его шутовское предложение жителю Киева, известному своей скупостью драматургу-миллионеру, приобрести московский абонемент. На собрании был приведен крайне показательный факт, свидетельствующий о стремлении еврейских националистов всячески популяризовать мировую еврейскую литературу. *«В распространенном в последнее время «Словнике» нового издания Большой Советской Энциклопедии самым тщательным образом собраны все, даже десятистепенные еврейские писатели, сюда включены многие буржуазные еврейские писатели США, Англии и других стран»*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> И этот выпад против Альтмана Йоганна Львовича — акция Фадеева. 21 сентября 1949 года он написал в ЦК на имя Сталина, Маленкова, Суслова, Попова и Шкирятова о необходимости «очиститься» от перерожденцев и исключить из партии Б.Дайреджисва и И.Альтмана. Среди аргументов за изгнание Альтмана из рядов партии было и следующее: *«Товарищ Корнейчук информировал меня о том, что Альтман частным путем распространял абонементы Еврейского театра, т.е. активно поддерживал этот искусственный метод помощи театру путем «частной благотворительности».*

<sup>2</sup> Центр хранения и изучения..., ф. 17, оп. 132, ед. хр. 229.

Напомню только, что в числе «буржуазных» и «десятистепенных» был и Айзек Башевис Зингер, будущий лауреат Нобелевской премии.

Долго было загадкой, кто подготавливал для Фадеева эту невежественную служебную записку в ЦК. В материалах дела ЕАК мне встретился протокол допроса свидетеля Ойслендера Наума Евсеевича, критика, вызванного в ГУГБ еще в довоенную пору, 5 ноября 1939 года. Допрашивался Ойслендер в связи с его заявлением-доносом в бюро Объединения еврейских писателей, в котором он обвинял бюро в «антиобщественной деятельности». Документ, хранившийся в архиве госбезопасности, был извлечен для расследования дела ЕАК. Рядом, в следственном томе XXXI, расположились более поздние доносы, клеветнические показания свидетеля Кондакова Н.И., следом шел допрос свидетеля Александра Ильича Безыменского.

Майор Погребной допрашивал его 20 февраля 1952 года, когда усилиями Рюмина, Гришаева и Коняхина возобновившееся следствие быстро двигалось к завершению. На столе перед майором Погребным лежала докладная записка Безыменского в Секретариат Союза писателей.

*« — Известно, что в 1949 году, — сказал Погребной, — вы возглавили комиссию по обследованию деятельности бывшей еврейской секции Союза Советских писателей. По чьему заданию вы это делали? »*

**БЕЗЫМЕНСКИЙ:** — *По указанию генерального секретаря СПП. В процессе проверки комиссия изучила ряд вышедших после войны книг еврейских писателей, а также альманахи «Геймланд» (Москва) и «Дер Штерн», издававшийся в городе Киеве. В результате этого изучения, а также из бесед с рядом писателей комиссия пришла к заключению, что многие писатели из еврейской секции ССП скатились на позиции буржуазного национализма и оголтелого космополитизма и свою работу главным образом направили на пропаганду так называемого единства еврейского народа во всех странах мира без различия классов... У них было стремление всеми силами отгородить еврейскую советскую литературу от литературы русского и других народов и их культуры, борьба против бла-*

годетельного влияния русской культуры на еврейских советских писателей. Руководители еврейской секции ССП были л ю т ы м и в р а г а м и в с е х с о в е т с к и х н а р о д о в, и о с о б е н н о р у с с к о г о н а р о д а<sup>1</sup>.

Далее следовали все те примеры, которые уже знакомы нам по письму Фадеева Сталину. Загадка открылась: «комиссия» Безыменского, которую, в сущности, составлял он один (и кто-то из переводчиков, по случаю незнания Безыменским еврейского языка), питала Фадеева «доказательствами» националистического падения еврейских писателей. Не приводя никаких примеров, Безыменский казнил старика Нистера за то, что тот «...при описании переселенцев в Биробиджане оперировал только библейскими образами и сравнениями»; поэта Ошеровича, который якобы изображал «гитлеровские зверства таким образом, что будто бы только евреи были объектами этих зверств»<sup>2</sup>; Бергельсона, который, «...как мне известно со слов Э. Гордона, яростно ругал его за то, что он учился у Шолохова, так как это якобы искажает строй еврейской фразы, подрывает «извечные традиции еврейской литературы»»; за то, что «отвергли поэму З. Телесина, разоблачавшую капиталистический ад Америки»; за то, что «ни один из них не участвовал в Отечественной войне; а если «участвовал», то лишь как дезертир»; за «подлую диверсионную деятельность...».

Выживая у собеседников их сомнения, старые обиды, случайно сорвавшиеся досадливые слова, Безыменский переплавляет их в полновесную клевету, в политические и уголовные обвинения, в черные оговоры. Пройдя высшие рапповские классы демагогии и доносов, он обвиняет вчерашних коллег, а то и друзей во всех смертных грехах. Чем усерднее он вчера заключал в объятия Маркиша или Квитко, Фефера или Галкина — всегда громогласный, настырный, любитель публичных лобызаний, — тем больше яда нужно вылить сегодня. Житомирский еврей 1898 года рож-

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXI, лл. 127—128.

<sup>2</sup> Там же, лл. 133—134.

дения, эпиграммист и остролов, член правления СП, сладкоречивый тамада — как он жесток, когда заботится о своем политическом реноме, как хочет заставить людей забыть, что только месяц назад он не находил достаточно высоких, хвалебных слов на юбилейном вечере Льва Квитко!

Сдавая Фадееву заданный ему «урок», Безыменский уже знал, что многие еврейские писатели арестованы, но ни у него, ни у члена ЦК Фадеева даже не возникло желания попытаться выяснить существо дела. Служба, и только служба. Страх и служба. Угодничество, корысть и служба, необратимая растленность ума и совести. В своих «Записках баловня судьбы» я оценил самоубийство Фадеева как мужественный акт самопокарания, покаяния, едва ли не высшего из всех возможных. Но я ошибся: из предсмертного, обращенного в ЦК письма Фадеева стало ясно, что он ушел в обиду на новых, сменивших Сталина правителей, не оценивших вполне ни его службы, ни его таланта. Не на коленях перед сотнями загубленных при его молчаливом участии писателей — жертв репрессий, умер он, а в суетной позе обиженного вельможи и непонятого выдающегося художника.

Равные в политическом цинизме, испытанные воители РАППа — Фадеев и Безыменский понимали, что власти покушаются не на «ряд писателей», не на «некоторых», «отдельных» писателей, что приходит конец еврейской литературе в масштабе страны.

Важная подробность: даже те немногие еврейские литераторы, кто опрометчиво пообещал сотрудничество в комиссии, отшатнулись от Безыменского, не подписали выводы комиссии, вызвав его негодование. К основному документу он приложил свое письмо «В Секретариат СП СССР», обвиняя в нем членов комиссии в либерализме и отсутствии политического чутья. Он, мол, трудился и мучился, не зная языка, сталкивая разные мнения и добиваясь истины, пытаюсь, как он писал, *«заострить внимание комиссии на известном мне высказывании тов. Фадеева о том, что "не может быть, чтобы в еврейской советской литературе не обнаружилось вредных и опасных тенденций, чтобы не было в них проявлений буржу-*

азного национализма, национальной ограниченности и т.д."». «Пришлось, — жаловался Безыменский секретариату, — читать членам комиссии пространные лекции о том, что самый строй художественных образов может служить средством вражеской пропаганды»<sup>1</sup>.

На подобное не хватило фантазии и «эстетической» подготовки у следователей госбезопасности, вот они и решали проблему еще радикальнее: если упразднить я з ы к, отпадут все остальные заботы.

В начале следствия верноподданнические обвинительные вопли руководителей Союза писателей не очень занимали службу Абакумова. Интерес к свидетельствам Безыменского, Ойслендера и других возник на втором этапе следствия: слишком ничтожен казался даже и фиктивный улов по части шпионажа и измены Родине. Улик не оказалось, в цене поднялось все, что уличило бы подсудимых в буржуазно-националистической деятельности, а их книги — в идейной порочности.

В январе 1952 года Союз писателей вновь пришел на выручку Лубянке, выделив четырех литераторов для проведения литературной экспертизы архива ЕАК и газеты «Эйникайт», сборников прозы и поэзии, очерков, всего, что на грузовиках вывезли с Кропоткинской, 10.

Четыре эксперта: Щербина В. Р. — член Союза писателей, редактор «Правды» по отделу литературы и искусства, кандидат (впоследствии — доктор) филологических наук; Лукин Ю. Б. — член Союза писателей, заместитель заведующего отделом литературы и искусства «Правды»; Владыкин Г. И. — член Союза писателей, председатель иностранной комиссии СП СССР, кандидат филологических наук; Евгенов С. В. — член Союза писателей, заместитель секретаря правления СП СССР, член редколлегии журнала «Дружба народов».

По закону экспертиза должна быть независимой не только от обвиняемых, но и от чиновников следствия, всегда заинтересованных в определенных вы-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXI, лл. 139—140.

водах экспертов. Обслуживать их материалами полагалось полковнику Гришаеву, но он не обслуживал их, а руководил ими. Результаты экспертизы объявлялись каждому из обвиняемых и играли гнетущую роль в последние месяцы их жизни.

История этой экспертизы — одна из самых позорных страниц в деле ЕАК.

## XIX

Следствие и суд над руководителями ЕАК — пример преследования, агрессивного непризнания за народом национальных прав, а значит, и обязанностей перед человечеством. Все поставлено под сомнение, точнее, вне закона, действительного в отношении любой другой нации мира. Забудь прошлое, не мечтай о будущем своего народа, назначение которого — раствориться в других народах, и будущего — нет.

Взволнованный зрелищем большого зала в Черновцах, наполненного бессарабскими евреями, ты, еврейский поэт, громко воскликнул: «Жив народ еврейский!» Кто надоумил тебя бросать в толпу провокационный националистический лозунг? Ты пишешь своим «квадратным письмом» рассказы и стихи, а не будь тебя с твоими соблазнами, евреи — выходцы из Польши, Галиции, Бессарабии, Буковины — скорее научились бы русскому. Ты твердишь им о еврейской культуре и языке и задерживаешь их на пути к счастливой общей жизни. На кого работают твои статьи и очерки о евреях — ученых, героях войны и труда, все твои подсчеты и проценты, напоминания о еврейском происхождении героев твоих публикаций?

Под подозрение взята даже статистика, обычно такая требовательная у нас в определении национального состава всякой общности. Невозможным становится любое научное исследование конкретной темы, связанной с евреями: в самой постановке вопроса видится злонамеренное выделение себя и отгораживание от других. Ты в лабиринте, в капкане, из которого нет выхода. Один из свидетелей по делу ЕАК, угождая госбезопасности, дал фантастическое обоснование того, почему любые похвалы евреям в дни войны и в дни мира опасны: «В период войны они ли-

ли воду на мельницу немецко-фашистской пропаганды, вопившей, как известно, о «еврейском засилье» в Советском Союзе, а теперь, в послевоенные годы, играют на руку вдохновителям буржуазного национализма на Западе»<sup>1</sup>. Умри неслышно в темной ночной подворотне — вот достойный тебя удел...

Одержимый «национализмом», скорбя, ты называешь число жертв Вильнюсского или Минского гетто, число погибших в первые два дня Бабьего Яра. Зачем ты сохранил в памяти эти, а не любые другие цифры?! Зачем приводишь — хотя и по делу, к слову! — эти, а не все другие цифры по Киеву, по Украине, по стране, чтобы размах гитлеровских злодеяний предстал во всей полноте?! Чтобы всегда, непременно, по любому случаю возникала вся тысячеверстная панорама разбоя и стало бы очевидно, что, скажем, польский или белорусский народы потеряли больше. Говори всегда и непременно обо всех, тогда стерпится и отдельная строка о евреях... Озирая неприступные граниты Кавказа, гордясь подвигом горцев и подвигом страны, от Москвы до Мамаева кургана, ты, еврейский поэт, скорбишь об уничтоженном родном местечке на Вольни. Почему о нем, а не о десятках тысяч сожженных украинских деревень, не о разрушенном Курске или Сталинграде? Ты говоришь, душа взрыдала, это ее боль и неизбывное страдание о погибших близких. Стань выше, выйди из затхлого, себялюбивого мирка! Не кивай на газету с гордым лозунгом через всю полосу: «Живи, Украина!» — враг изгнан с последней пяди святой украинской земли, и нация ликует, ликуют все жители Украины, а вместе с ними и братья евреи. А кому адресован торжествующий возглас поэта: «Жив народ еврейский!»? Кому брошен этот воинственный клич? Юдофобу слышится в этих простых словах, в торжестве тех, кого нацисты обрекали полному уничтожению — и немало преуспели в этом, — в этой окрепшей надежде, что жив! жив! и будет жить, — юдофобу чудится в этих трех словах злорадство и угроза.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXVIII, л. 27.



В числе тяжких преступлений ЕАК фигурировало нью-йоркское 1946 года издание «Черной Книги» о нацистских преступлениях против еврейского народа — совместный труд Всемирного Еврейского Конгресса, Американского комитета еврейских писателей, художников и ученых, Еврейского национального совета Палестины и при участии ЕАК<sup>1</sup>. Три года «Черная Книга» — эта и вторая, подготовленная к печати ЕАК и посвященная теме гитлеровского геноцида против еврейского населения Советского Союза, фигурировали на допросах и в обвинительном заключении как доказательства агрессивного национализма. Только в конце февраля 1952 года следствие озаботилось формальным проведением экспертизы по «Черной Книге». Подполковник Гришаев задал экспертам — Вере Дмитриевне Старицыной (цензору Главлита) и Елене Сергеевне Романовой (Союз писателей) — один вопрос: «Является ли «Черная Книга» по своему содержанию националистической?» Подготовив их психологически, припугнув ложью о признании обвиняемых во всех злодеяниях, сказав, что «Черная Книга» якобы была обнаружена среди преступных документов, что она издана ЕАК «совместно с заграничными реакционными еврейскими организациями», Гришаев уже через три дня получил нужный ему ответ.

В числе главных «реакционеров», кому мир обязан изданием этой книги, следует назвать Альберта Эйнштейна.

Напомним, предмет «Черной Книги» не преступления гитлеровцев в Европе вообще, а уничтожение евреев Европейского континента, практическое осуществление плана «окончательного решения еврейского вопроса». Логика, научность подхода к делу требовали сосредоточения на предмете исследования — весь другой материал, а его в «Черной Книге» немало, связанный с главной темой, использован как попутный, как дополнение и усиление обличительной мысли авторов книги. Именно так и поступили они, как и авторы другой большой книги, подготовленной в

---

<sup>1</sup> См.: The Black Book. The Nazi Crime Against the Jewish People. Published by The Jewish Black Book Committee. N.Y., 1946.

России при участии Вас.Гроссмана и И.Эренбурга, неизменно подчеркивая всеевропейский размах злодеяний Гитлера и во вступительных статьях к разделам книги, и в предисловии к ней. Настойчиво, любовно собирались для этих книг и сведения о тех жителях Европы и Советского Союза, кто, рискуя жизнью, прятал и спасал евреев от нацистов.

Но те, кто вообще не желал появления «Черной Книги», кто не допустил ее издания в СССР, кто полагал, что трагические судьбы еврейства заслуживают разве что подстрочных примечаний петитом в солидном марксистском томе о... разгроме третьего рейха, т.е. пропустив через пальцы «Черную Книгу», как шулер колоду карт, мигом обнаружили в ней национализм.

В чем же он? Что изрекли по этому поводу дамы-эксперты?

Национализм «Черной Книги», оказывается, «...в нарочитом и многократно подчеркиваемом обособлении евреев в отдельную и в известной мере противопоставляемую другим народам категорию. При этом в книге полностью оставляют в стороне вопросы классовой, социальной и политической принадлежности тех, кто составлял эту категорию».

Правоведы Лубянки и их консультанты буквально исходят желчью при упоминании в «Черной Книге» о шести миллионах убитых в Европе евреев, беря под сомнение и саму эту цифру, невольно торя дорожку тем реваншистам и фальсификаторам, кто вообще отрицает злодеяния Гитлера, реальность душегубок и печей Освенцима.

*«Неоднократно они возвращаются к цифре в 6 миллионов человек, — гневается эксперты Лубянки, не щадя составителей «Черной Книги», — которыми, по их мнению, исчислялись жертвы среди евреев, преднамеренно замалчивая при этом общую численность жертв гитлеризма... Ограничиваясь исключительно подробнейшим рассмотрением законов, декретов и всяческих ограничений, направленных против евреев, и ни словом не упоминают о чудовищных злодеяниях гитлеровцев в отношении других народов»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXV, лл. 30, 33.

Не смей рассуждать о десятках тысяч согнанных ко рвам Бабьего Яра женщин, стариков и детей, не изучив их «классовой, социальной и политической принадлежности»; не тверди о шести миллионах, не пересчитав лично покойников; не донимай человечество антиеврейскими нацистскими законами, не называя сотен других приказов и инструкций! И это подписано именем Романовой Е. С. — женщины с печальными еврейскими (не цыганскими ли?) глазами, Еленой Сергеевной Романовой, многолетней сотрудницей Союза писателей, ответственным секретарем Иностранной комиссии ССП, консультантом по американской литературе! Подписана фальшивка, ее изготовление потребовало и откровенной фальсификации. В «Черной Книге» есть мысль о том, что величайшее событие — военный разгром гитлеризма не принес еще, пока не наказаны все главные преступники, полного удовлетворения; в подтасованном переводе она звучит следующим образом: «Но 1945 год не принес и и к а к о й радости евреям мира».

По мере того как война отходит в область прошлого, — писали авторы «Черной Книги» в главе «Возмездие», — факты глумления нацистов над евреями тускнеют в нашей памяти, как детали какого-то кошмара. Но их нельзя забывать. Кровь наших братьев вызывает к нам из-под земли. Горе человечеству, если шесть миллионов человек могут быть замучены и хладнокровно убиты, а оно сможет забыть о них». Любой из следователей по делу ЕАК зафиксировал «национализм» и в этих словах, и в том, что «братьями» названы евреи, без одновременного указания на то, что и все другие трудящиеся мира являются их братьями; любой найдет повод обвинить подследственного в «преувеличении вклада евреев в мировую цивилизацию», в попытках изобразить евреев «как ведущую силу в движении сопротивления гитлеризму»<sup>1</sup>. В статье известного писателя и переводчика испанской поэзии Овадия Савича на странице 452 «Черной Книги» приведена клятва евреев-партизан Белоруссии: «Как сын еврейского на-

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 3, 33, 35.

*рода, клянусь всегда помнить о страданиях, причиненных немцами моему народу».*

Характеризуя восстание в Варшавском гетто, авторы «Черной Книги» осмелились написать, что это была борьба «за честь и славу всего еврейского народа», трактуя, мол, этот народ как некую целостность, без классовой и социальной дифференциации, и, хуже того, в главе «Заговор» с *«подозрительной, чрезмерной подробностью излагают расистские теории Гитлера»*, «цитируют бреговые замыслы Гитлера и его пособников о порабощении мира и искоренении коммунизма, предоставляя авторам этих планов самую широкую трибуну»<sup>1</sup>. Едва авторы «Черной Книги» попытались расширить круг проблем и связали злокозненный «еврейский вопрос» с глобальными чудовищными преступлениями нацистов, они тут же, на взгляд следствия, впали в грех почище национализма: оказались «пропагандистами» нацистских теорий и планов. Мое поколение, еще по 30-м годам, хорошо помнит, как безжалостно каралось «предоставление трибуны» врагу!

В 1964 году, вскоре после отстранения Хрущева, в Политиздате должен был выйти сборник моих эссе «Безумству храбрых». В одном из них в перечне героев недавнего прошлого я упомянул Анну Франк. Подписанную уже к печати верстку книжки задержал заместитель главного редактора, некто Харламов, в недавнем прошлом заметная фигура режима, смещенный в связи с падением Никиты Хрущева. Он приказал изъять из текста имя Анны Франк. «Пусть заменит ее каким-нибудь вьетнамцем!» — сказал он заведующему редакцией. Каким — неважно. Не так уж важно, что вьетнамцем, можно и кубинцем, монголом, словаком, кем ни попадя, — главное, убрать Анну Франк. «Нашел героиню! — глумился он, узнав от заведующего редакцией о моем несогласии на купюру. — Пересидела на чердаке, тряслась от страха!..»

Был у меня и другой договор с издательством, на книгу, в которой издательство было заинтересовано, я в тот же день раздобыл деньги и пришел в изда-

---

<sup>1</sup> Там же, л. 36.

тельство, написав, что разрываю и этот договор, возвращаю аванс и категорически возражаю против выпуска «Безумству храбрых» без имени Анны Франк. Спустя время моего «цензора» простили и повысили, нашли для него новое достойное место. А сборник эссе вышел, сохранив дорогое миллионам людей имя Анны Франк. Но какая же яростная нелюбовь, какое предубеждение должны были сотрясать все существо чиновника, который стал гонителем Анны Франк спустя два десятилетия после ее гибели, приняв от расистов эстафету ее преследования.

Я намеренно мало пишу о «Черной Книге», занявшей так много места в протоколах допросов и очных ставок: чувство брезгливости, а порой и чувство юмора не позволяют всерьез спорить с явными нелепостями и дешевой демагогией. Но брошенным в тюремные камеры не до юмора, большинство из них не причастно ни к нью-йоркской «Черной Книге», ни к изданию, которое готовилось у нас. Тем не менее «Черная Книга» могильной плитой ложится на всех без исключения, ведь у следствия нет намерения устанавливать к о н к р е т н у ю вину каждого — обвиняют скопом, скопом судят, скопом же ведут к уничтожению.

Аргументы те же: кто позволил заполнить сотни страниц летописью еврейской боли и страданий, о потерях других народов говорить попутно, не подчеркивая на каждой странице и всякий раз, что д р у г и е потери страшнее и опустошительнее, чем гитлеровский геноцид еврейского населения страны? Не для того ли в «Черной Книге» исследуются антиеврейские декреты и законы Гитлера, чтобы таким образом выделить евреев, изобразить их главным врагом нацизма, а отсюда, как заключили на Лубянке, только шаг *«до выделения евреев как ведущей силы в движении сопротивления гитлеризму»*<sup>1</sup>?

Нелепость, демагогия, но она действует, становится исповеданием веры следовательских бригад Комарова, Лихачева и Гришаева, поднимает их вульгарное юдофобство до некоего подобия социальной, философской веры. Так и полунинтеллигентным экспертам

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXV, л. 35.

легче было вынести свой приговор «Черной Книге»: *«Книга в целом по своему содержанию является националистической и, следовательно, глубоко порочной в идейном отношении»*<sup>1</sup>.

Не забудем, что «Черная Книга» была осуждена Инстанцией (Щербаковым и Александровым) и Лубянкой как составная часть «еврейского заговора» в то время, когда еще лилась кровь на фронтах и не остыли пепелища на месте сожженных городов, сел и местечек, когда ссорить мертвых разной крови, еще не похоронив их, могли только подонки, равно безразличные к страданиям людей всех национальностей. Подонки, только еще входившие во вкус депортации малых народов. Тюремщики, не находившие особой беды ни в гитлеровских декретах, ни в фактах злодейств, собранных в «Черной Книге». Финишная черта войны, принеся торжество советскому народу, а с тем триумф Сталину и гибель Гитлеру, как ни парадоксально, вывела политику и идеологию того и другого на близкие рубежи.

Предчувствуя беду, но еще не вполне осознавая ее масштаб, сломленные истязаниями подследственные привыкли к мельканию слова «национализм» в протоколах допросов. Но скоро наступило отрезвление, большинство арестованных отказалось от признания в национализме. Даже Давид Бергельсон, человек несколько старомодный, ошеломленный той жизнью, с которой столкнулся, переехав в Советский Союз в середине 30-х годов, облек свое признание в национализме в форму, которая снимала с отдельной личности эту вину как криминальную, наказуемую. Привожу его вступительные слова на судебном допросе 8 мая 1952 года, в первый день судебного допроса, привожу без правки, со всеми возможными шероховатостями: едва ли судебное заседание записывали парламентские стенографистки.

*«Я должен сказать, что еврейская религия неотрывно связана с национализмом. Она отличается от других религий и поэтому не могла распространиться на другие народы и связана только с еврейским наро-*

---

<sup>1</sup> Там же, л. 11.

дом. У нас, у евреев, страшно много молитв, и если собрать все эти молитвы, а они имеются на каждый день: и на праздники, и на заутрени, и отдельно для кладбища, то я думаю, что они займут на судейском столе столько места, сколько занимает это дело об антифашистском комитете. [Напомню, что перед судьями лежало 42 объемистых, в сотни страниц, следственных тома. — А.Б.]. И молитв, где человек молится за себя, считанное число, а во всех других евреи молятся за народ и за потерянную страну.

Я говорю это потому, что нельзя быть религиозным, то есть синагогальным, петь у кантора и не заражаться национализмом, нельзя сказать, что человек, который в детстве молился, особенно у кантора, свободен от национализма»<sup>1</sup>.

Перед судьями разворачивалась неторопливая, поразительная по душевной высоте и искренности исповедь гражданина и художника, но едва ли судейский генеральский «триумvirат» мог подняться на эту высоту вслед за мыслью Бергельсона. Не мог и не хотел. В размышлениях обвиняемого, в его попытке взглянуть на все пережитое, по его выражению, «через лупу», не прощая себе ошибок и заблуждений, судьи расслышали только несколько долгожданных слов о «человеке, посвящем национализм в крови». Бергельсон опрометчиво — для атмосферы судилища — назвал «национализмом в крови» многовековую мечту народа о своей, некогда потерянной земле, о родине, о земле обетованной. Чувство естественное и здоровое, которого не убоится ни ирландец, затосковавший по исторической родине, ни эмигрант-армянин, ни татарин, сталинским разбоем отторгнутый от Крыма; в евреях это чувство болезненно обострено сознанием навсегда потерянной земли, тысячелетиями не личной, а именно национальной бездомности.

Фантастическая сцена разворачивалась на глазах у судей и обвиняемых: главный судья учил судей политграмоте, настаивал на том, что он, Бергельсон, «вообще не может быть литератором, если нахо-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, л. 2.

дится вне политики, не отображает какое-то политическое течение.

— Я никакого политического течения не отображал», — сказал Бергельсон.

— Этого не бывает в природе! — воскликнул Чепцов.

Он требовал пламенной любви к советской власти с первого же дня ее существования, а обвиняемый, с опасностью для жизни, держался правды, только правды.

— В моем паспорте, — объяснял Бергельсон, — до революции было написано восемь слов, которых не было ни в одном паспорте людей других национальностей в России. Это слова: «Для предъявления в месте, где евреям жить позволяется». Это значит, что жить мне разрешается, как еврею, только в черте оседлости. Даже у цыган, а их было гораздо меньше, чем евреев, в паспорте не было этого вписано. Поэтому, уехав в Варшаву, я не мог себя считать изменщиком Родины...

ЧЕПЦОВ: — Как же вы не поняли, что все ограничения, которые вы терпели при царском режиме, и все неудобства, связанные с различными оккупациями [«несудобствами» главный судья называет массовые еврейские погромы 1918—1920 годов. — А.Б.], отпали при Советской власти.

Давид Бергельсон не хочет и в малом кривить душой.

БЕРГЕЛЬСОН: — Я хочу сказать, что у меня не успела окрепнуть любовь к родине... — Он имеет в виду отъезд в Варшаву в 1920 году.

ЧЕПЦОВ: — Надо было верить, что все мучения позади и жизнь пойдет вперед, а то ведь что получается: у всякого, независимо от национальности, если он претерпел в жизни, не может быть любви к родине?

БЕРГЕЛЬСОН: — У них могла быть любовь к родине. Родина, как я понимаю, это страна, это место, где ты родился, вырос к а к р а в н ы й, у них не было отпечатки, что все другие — люди, а ты — не человек<sup>1</sup>.

Суд, смысл и назначение которого — в пр е с л е д о в а н и и крови, в осуждении тех, кто не торопится к национальному небытию, вдвойне жа-

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 1, лл. 21—22.



лок и ничтожен претензией выступать пропагандистом братства народов. Но Сталин, расправившийся уже не с одним народом страны, нацелившийся на выполнение завещанной ему германским нацизмом задачи «окончательного решения еврейского вопроса», не отказался от привычного набора лозунгов о равенстве и братстве. Гитлер не скрывал ненависти, а Сталин обманывал страну и мир, обманывал так искусно, что миллионы людей еще и сегодня не свободны от гипноза его слов. Страна, во главе которой он так долго стоял, вопреки развязанному им террору, вопреки всем жертвам, в силу здоровых начал, заложенных в народе и человеке, рождала, вырабатывала те ферменты братства, те начала духовной общности и единения, которые шли поверх и мимо сатанинских усилий политического режима.

Именно в силу этого так трагичны судьбы обвиняемых по делу ЕАК. Истинные братья русских и украинцев, казахов и белорусов и других, объявлены их ненавистниками и врагами. Распятые между ассимиляцией как естественным процессом, известным всему миру, и «ассимиляцией» — злым произволом, насилием.

Ты буржуазный националист уже потому, что сказал с трибуны, что если в конце 1942 года наша армия насчитывала 15 евреев — Героев Советского Союза, то к лету 1944-го их число превысило 100 человек, а это значит — четвертое место после многомиллионных наций русских, украинцев и белорусов. Ты буржуазный националист только оттого, что, опровергая клевету о народе, «пересиживающем» войну в Ташкенте, о еврейских писателях, бежавших, мол в Уфу, приводишь цифры и факты, напоминаешь, что из 100 с небольшим еврейских писателей страны 62 ушли с первых дней Отечественной войны добровольцами на фронт, и 24 из них, каждый третий, пали смертью храбрых. Даже если ты в волнении забыл добавить, что и значительная часть других разноязыких писателей страны, павших на фронте, по рождению, по крови, которая так занимает Инстанцию, тоже евреи, — если ты не все успел сказать в защиту этой н е - н а ц и и — ты все равно буржуазный националист. Когда-то Леонид Леонов в споре с ретивыми пропагандистами незамедлительного всеобщего рая и «бесплатного хлеба» не без яда заметил: «Вы рассуждаете так, будто метро

уже проложено под всей Россией!» Так и мы полагали, что всепобеждающая идея братства народов уже торжествует повсеместно.

Пробуждение было горьким.

В тексте статьи Переца Маркиша (в ее русском переводе), опубликованной 28 июня 1942 года в газете «Эйникайт», слова «еврейские красноармейцы» резко отчеркнуты красным карандашом столько раз, сколько они повторяются на ее страницах. Жирная, осудительная черта и для первого раза — вопросительный знак: какая наглая националистическая претензия! Намеренное оскорбление святого слова «красноармеец» фарсовым, пародийным прилагательным — «еврейский».

В другой статье, памяти погибшего на фронте филолога Фальковича, неумолимые судебные эксперты с брезгливостью святош отметили красным карандашом противоестественное, на их взгляд, соединение слов: «еврейская грамматика». «Вы бы еще таблицу умножения себе присвоили!» — сказал следовательно ученому-филологу Нусинову.

В июле 1944 года Бергельсон напечатал в «Эйникайт» статью «Генерал Яков Крейзер» об одном из славных и популярных в те дни героев войны. Размышляя о немецких штабных офицерах по другую сторону участка фронта, Бергельсон писал: *«Они знают, что он еврей и что кроме великого сч е т а, который он им предъявляет за свою Советскую страну, он предъявляет им и счет за свой народ»*<sup>1</sup>.

Написано с величайшей деликатностью, подчеркнуто, что счет «за свой народ» — только частица «великого сч е т а», что Яков Крейзер сражается «за свою Советскую страну», сделано, кажется, все мыслимое, чтобы не заслужить упреков, однако же статья Бергельсона многократно фигурирует в деле как пример воинственного национализма.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXIV, л. 257.

## XX

Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Как ты мог головы не сберечь?  
— Захотел я свободы и права,  
Вот и скинули голову с плеч.

Соплеменник мой, отрок казненный,  
Почему ты в земле не почил?  
— Сколько пало! В земле миллионы,  
И уже не хватает могил.

*«Обезглавленный соотечественник Вергилия»<sup>1</sup>.*

С горечью думаю о родных и близких жертв «дела ЕАК», кто, добившись возможности познакомиться с одним из допросных томов, погружается в протоколы, где почти всё — ложь, вынужденные, насильственные страницы признаний и тюремные надругательства. Не зная, что любому «признательному протоколу» порой предшествовали десятки жестоких, невыгодных для обвинителей допросов. Допросов, оставивших следы не на казенной бумаге, а на лице, на спине, пятках, зубах, на барабанных перепонках. Родственник потрясен: ему открываются невысказанные признания, утрата достоинства и чести. Материалы, которые наполнили бы душу гордостью за близкого человека, свидетельства силы духа и обретенного мужества не попадутся ему на глаза — они в других томах, которых он не увидит. Надо пройти весь долгий путь от тома к тому, прочитать многотомную эпопею двухмесячного судебного разбирательства, чтобы личности подсудимых проявились вполне.

И какое освобождение вступает в душу вопреки трагизму случившегося! Какой благодарной нежностью наполняется душа, когда близко познаешь бытие этих людей на протяжении последних трех с половиной лет, убеждаешься в их духовной силе, в не умирающей и на краю пропасти человечности!

---

<sup>1</sup> П. М а р к и ш. Стихотворения и поэмы. БПС., «Советский писатель», 1969, с. 149.

Чайка Островская-Ватенберг, осилив страх, уже на суде каялась в том, что подписала признательный протокол от 20 июня 1949 года: «У меня начались галлюцинации, и я этот протокол подписала не читая... В то время следствие вел подполковник Цветаев, оно было настолько тяжелым, что я подписывала протоколы, которые считала полными лжи... Дорога в карцер была мне достаточно знакома. У меня не было другого выхода, и я была вынуждена подписывать такие протоколы»<sup>1</sup>.

Я уже упоминал о характеристике, которую дал Гофштейну один из подследственных: «Живой, вечно бегаящий человек». Но и Гофштейна, непоседливого, суетливого, мне легче представить себе в тюремной камере, чем неистового, будто нарочно отыскивающего в жизни трудные дороги и незаурядных противников — Перца Маркиша. В памяти жили его прекрасные стихи, соединившие лирику с высокой гражданственностью, с мыслью, всегда стремящейся объять целый мир, принадлежащий ему, не отринувшему торопливо местечко, не предавшему его в угоду моде, но и сделавшегося своим, близким в степях Украины, горах Кавказа, на берегах Амура, в Мадриде, Валенсии — повсюду, где трудились и сражались его современники. Как ему, «агитатору и горлану», исповедующему идеи равенства и социальной справедливости, признать вдруг, что он всего лишь жалкий националист, актерствующий лицемер и злопыхатель?!

В США вместо него, волею ЦК и Лубянки, предпочли отправить с Михозлсом верного «комиссара», хотя приглашен был именно Маркиш. С ЕАК у Перца Маркиша дружба не сложилась и не могла сложиться из-за постоянных на него доносов «феферистов». Следствию нечего было «повесить» на Маркиша в связи с ЕАК, кроме туманных обвинений в национализме, благо и Фефер и Эпштейн находили национализм едва ли не в каждой строфе Перца Маркиша, особенно в его поэмах — этих эпических социальных панорамах.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 6, л. 122.

Главным мотивом обвинений Маркиша неожиданно оказалось стихотворение военного времени «Бойцу-еврею». Литературная экспертиза нарекла его откровенно враждебным и демонстративно националистическим, утверждая, что *«несколько строк, посвященных Советскому Союзу, служат лишь маскировкой для махрово националистической пропаганды, которой целиком проникнуто стихотворение Маркиша»*<sup>1</sup>. Эксперты приводят и «улики», немногие строфы исторической ретроспекции, поэтическое обращение к прошлому, ибо фашизм посягал и на жизнь, и на честь народов, и на святыни их истории.

*«Твой каждый залп мне сердце веселит сильнее, чем все псалмы царя Давида...»* — в этой поэтической метафоре, если отречься от вольной природы любой метафоры, скорее умаление Библии, нежели преклонение перед ней. Но вот и осанна Библии: *«Столетия сами двинулись в разведку; с своей винтовкою не разлучись, еврей, как с Библией твою не разлучались предки...»*

Как посмел поэт, рисуя эпическую картину антифашистской войны, напутствуя в бой воина-еврея, соблазнять его «националистической» Библией? Зачем вообще он углубляется в века, в тысячелетия, вещая: *«Оттачивал в веках ты гордый разум свой...»*? Любый другой поэт, обращая памятью к былому, воодушевляя единокровного бойца, найдет исторический пример — в «Калевале», у Шота Руставели, в русских былинах, в германском эпосе, в исландских сагах. Но Маркишу безопаснее помолчать, не думать об истории, иначе он непременно забредет в Библию, во времена Бар Кохбы, а то еще угодит в силки... Бунда. Решились ведь следователи окрестить «бундовской» чистую как слеза, можно сказать, образцовую по своему времени историко-революционную пьесу Кушнирова «Гирш Леккерт».

Но прислушаемся к тем строкам стихотворения Маркиша, которые эксперты и следствие по делу ЕАК оценили как подлую идеологическую маскировку:

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXIII, л. 76.

В тебе — изгнаннике веков — отозвались  
Все двадцать пять сверкавших солнцем весен.  
И разъяренным львом ты ринулся на бой,  
Высокую себе отвоевав награду:  
Ты утвердил бойца призванье под Москвой,  
Ты оправдал его в защите Сталинграда!  
Удел воительства приняв на рамена,  
Шел русский брат твой, шли казахи и грузины,  
Узбек, и белорус, и воин Украины...  
Одна у братьев мать, и Родина — одна.  
Ты, умирая, свой благословляешь меч,  
И землю русскую целуешь по-сыновьи,  
Костями готовый за Россию лечь  
И напоить ее поля своею кровью.

Это патетическое, убежденное, несколько велеречивое, как и многие гражданские стихи Маркиша, произведение свято и одновременно хрестоматийно. Оно воспевает многонациональный ратный союз народов, поднявшихся на защиту Родины. Не увидеть этого мог только ослепленный предвзятостью цензор, эксперт-толкователь, которого трясет от одного упоминания Библии.

Живому уму и проницательности Маркиша достаточно было оголтелого обвинения этих строф в национализме, чтобы понять, чего от него ждет следствие и чем можно отбиться от костоломства.

В протоколах допросов и очных ставок не принято писать ремарки: только «диалоги» и «монологи», вопросы и ответы, нередко искаженные произволом следователя. Но сила слова, его трепет и таинственное напряжение, его подтекст то и дело пробиваются сквозь плотную штриховку казенности и тюремные стандарты. Упорства Маркиша хватило на то, чтобы отвести от себя обвинение в том, что он играл сколько-нибудь заметную роль в руководстве ЕАК: в следственных материалах фигурировали резкие заявления Маркиша в президиум комитета, его непримиримые конфликты с Фефером и Шахно Эпштейном. Он не написал ни одной статьи, которая дала бы — пусть внешний, искусственный — повод обвинить его в пересылке секретных материалов за рубеж. Ко всему прочему он был закоренелым, ироничным противником «крымского проекта» и дважды в обнаруженных бумагах называл

Заволжье как более перспективную землю для создания автономии.

Оставалось творчество.

Оставался язык идиш.

Оставался — «национализм», которого денно и ночью домогались от него, и, чем тупее был следовательно, тем истощнее, проломистее требовал он подписи под листом протокола.

Если бы не пуля в финале, не кровь, не реально сбывающийся г е н о ц и д еврейской культуры, можно было бы и порадоваться отваге подследственного. Маркиш помнил известные слова К.А. Тимирязева — я услышал их от него в то утро, когда Маркиш сказал мне об аресте Фефера: «Костер задушил голос Бруно, исторг отречение Галилея, вынудил малодушие Декарта...»

Теперь к о с т е р исторг признание в «национализме» у арестованных, и только одна из всех — Лина Штерн, — уступив следствию, все же убежденно отнесла вменяемый ей национализм не к грехам и проступкам, а к своим достоинствам.

*«С 1939 года по 1943-й я был председателем еврейской секции Союза писателей, — показал на допросе Маркиш, — и должен признать, что никакой борьбы с националистическими проявлениями в еврейской литературе я не вел». Трудно бороться с тем, чего не было! Где они в предвоенные годы, после великого террора 1937—1939 годов, смельчаки, охотники побаловаться игрой в буржуазный национализм?!..*

*«Да, я высказал желание, чтобы для борьбы с немецкими фашистами были сформированы и отдельные еврейские воинские части...»* Что ж в этом греховного или преступного: в войнах не единожды случалось такое — национальные формирования, да хотя бы в Испании всего лишь за несколько лет перед этим.

Подполковник Рюмин, принявшись за Маркиша после следователя Демина, предъявил арестованному фальсифицированные показания бывшего директора кабинета еврейской культуры при Академии наук СССР Спивака от 11 мая 1949 года: «Маркиш воз-

вратился из Польши в 1926 году рьяным буржуазным националистом и включился в националистическую работу среди еврейского населения»<sup>1</sup>.

«Спивак ошибается», — возразил Маркиш. Так и вижу его гневно сузившиеся глаза, крутые, заходившие желваки горделивого лица: зачем так услужливо лжет этот всегда льстивший ему, суетный, осторожный филолог? Кто-кто, а Спивак, глава еврейского ученого кабинета, знал стихи Маркиша, написанные в Варшаве до возвращения в Россию, стихи, прославлявшие революцию. И, закипая, Маркиш добавляет: «Спивак — выходец из сионистской партии и до последних дней оставался ярым врагом Советской власти».

Рюмин доволен: именно так, сталкивая, стравливая арестованных, можно добиться если не истины — никому она в этих стенах не нужна, — то запальчивых показаний. Но и Маркишу Рюмин не дает ускользнуть, отделаться пустяками. Не зря ведь у подполковника Рюмина есть литературный консультант — не из числа экспертов, до них еще черед не дошел, — а доброхот-советчик, всегда — и на воле, и в заточении — настаивавший на национализме Маркиша. Рюмин уже знает, что об этой «националистической банде» писали, оказывается, и в Большой Советской Энциклопедии, в статье «Еврейская литература». Он зачитывает сроки, заранее внесенные в протокол: «Вне... пролетарского литературного движения находятся поэты... Перец Маркиш как выразитель национал-радикальной идеологии...»<sup>2</sup>. Мифическим «национал-радикализмом» его преследовала рапповская критика, вульгарные социологи, торопившиеся похоронить прошлое народа, его быт, веру, его легенды, объявить народ стопроцентно пролетаризированным, готовым шагнуть в коммунизм, а главное — отменить навсегда местечко, будто его и не существовало.

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXX, лл. 192—193.

<sup>2</sup> БСЭ. Т. 24. М., 1932, с. 136.



*«После таких улик, — торжествовал Рюмин, — надо полагать, вы сами, и до конца, раскроете свое антисоветское нутро?»*

Этого он не сделает: ни разу, ни под каким прессом. С неожиданной для Рюмина легкостью он начинает признаваться в «националистических настроениях». Зрелый художник, знающий истинную цену написанного им, он буквально швыряет под лубянский сапог пьесу за пьесой, книгу за книгой, стихи старые и новые — он неистощим в «самокритике». Если его заставили участвовать в кровавой буффонаде, в чудовищном поругании прожитой жизни, то он сам выберет себе подходящую роль и выдержит ее до того дня, когда судебное публичное заседание позволит ему сказать правду. Маркиш размашисто, будто с издевкой, «раздаривает» свое творчество, сыплет признаниями — только бы не опуститься, не заговорить с Рюминым всерьез о литературе. Кажется, что Маркиш хвастается неизжитыми «националистическими мотивами и настроениями», тайно радуется возможности пройти по всему ф р о н т у книг, пьес, поэм, проститься с ними, еще и еще раз приникнуть к прожитой жизни, к чистым ее источникам...

Рассказ «Товарищи кустари»? Неправда, что это, как сформулировал Рюмин, *«злая клевета на жизнь и быт еврейских трудящихся при Советской власти»*. *«В рассказе, — гнет свое Маркиш, — есть националистическая к р а с к а, где описывалась мною синагога, которую кустари местечка превращают в клуб. Синагога была изображена в грустных тонах, как жертва новых социальных преобразований»*. Виноват! В стране, где расстреливали ни в чем не повинных православных священников, негоже печалиться о судьбе захудалой синагоги.

Пьеса «Семья Овадис»? Советская пьеса, разве что и в ней есть невольные националистические *«п р о я в л е н и я, выразившиеся в показе старых еврейских обычаев»*. И другая пьеса — «Кол Нидрей», вышедшая в свет в 1940 году; я уже говорил о ней, можно сказать, что *«это пьеса под националистическим н а з в а н и е м, так как избранное мною время действия — канун Судного Дня...»*

Так он движется от вехи к вехе, всюду находя слабые признаки то ли «национальной ограниченности», то ли «националистических настроений»: он словно наложил на себя епитимью, торопится покаяться, только бы руки палачей не тронули его добра, в любви и муках рожденного.

В защитном лукавстве, в эйфории «самокритики» он не щадит и стихотворение «Бойцу-еврею», находя, что, хоть оно и «написано на благородную тему — тему борьбы с фашистами», оно тоже чересчур «обращено к мысли о Библии, к религиозным мифам и т.п.».

Эти щедрые самоотречения хорошо смотрелись бы на цеховом писательском собрании, в глазах собратьев, обрадованных падением вчерашнего кумира, но едва ли они могут вскормить уголовное преследование. А от постыдного, уничижительного «Заключения» экспертов от Союза писателей Маркиш отгородился формальной справкой: «*О других своих произведениях, в которых имеются националистические мотивы в виде идеализации прошлого, употребления библейских метафор и т.п., я дал показания в 1949 году*»<sup>1</sup>.

Он больше не боится каверзных вопросов любого из следователей Лубянки. Маркишу — и не ему одному — давно открылось, что всей этой своре изначально чужд и враждебен огромный мир истории и современности, который составляет смысл и суть его творчества и жизни. Они не в силах вникнуть в содержание поэм или пьес, постичь естественную противоречивость развития любого общественного явления, они лишь приучены к молниеносному следствию, к суду, не знающему снисхождения, который не потребует от следствия ничего, кроме признания обвиняемым его вины.

На суде Маркиш преобразился. Перед судьями стоял строгий человек, отметававший клевету, требующий не снисхождения и милости, а справедливости.

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XV, л. 292.

*«Я прекрасно знаю, что воровство начинается не со взлома несгораемого шкафа, — сказал Маркиш. — Национализм не начинается с открытой пропаганды расового превосходства, он начинается с бездумного выпячивания своего личного превосходства, — вот тот «пяточок», с которого начинается националистическое «воровство».*

*У меня этого «пяточка» не было.*

*Вся моя жизнь, мое литературное творчество и деятельность есть борьба с отсталостью в литературе. Меня называли бунтарем...»<sup>1</sup>.*

*В Маркише поражает не сломленное годами насилия чувство достоинства, та сила благородной личности, которая вызывала особое раздражение ничтожеств, желание унижить, причинить непереносимую физическую боль. «Рюмин уже в 1950 году, — напомнил Маркиш суду, бросая вызов всесильному в дни суда Рюмину, заместителю министра МГБ, — сказал мне, что я могу уже обдумывать новую книгу, и я был страшно удивлен, увидев в обвинительном заключении свою фамилию в числе руководителей ЕАК, тогда как я был костью в их горле».*

*Канули в грязь лживых протоколов былые его признания в «националистических настроениях» — он больше не каялся, а опровергал, в том числе и тех оппонентов из числа подсудимых, кто хотел бы видеть в нем националиста, — Бергельсона, отметившего «национальную жестикуляцию» Маркиша («Моя жестикуляция еще не преследуется уголовным кодексом: разве это национализм?!»); Шимелиовича, признавшегося, что «сам он не знает Маркиша как националиста, но Брегман как-то сказал ему, что от Маркиша п а х н е т национализмом»; Зускина, который говорил, что «в пьесах Маркиша, в которых он (Зускин) играл, национализма нет, но те пьесы, которые не были приняты к постановке, в о з м о ж н о, имели какие-то националистические т е н д е н ц и и». Оставался лишь один бескомпромиссный обвинитель Маркиша, его нравственный антипод — Ицик Фефер. На суде Маркиш царственно пренебрег его*

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7, л. 129.

клеветами. *«Я не говорю о Фефере, — завершил он свою самозащиту. — Его показания настолько не нуждаются в комментариях, что я не хочу на них останавливаться»*<sup>1</sup>.

Маркиш непримиримо заметил, что некоторые из обвиняемых ставят себе в заслугу отчуждение от еврейского языка, хвастаются незнанием языка их детьми, опускаются до национального нигилизма.

*«Мне стыдно слышать подобные вещи, — сказал он. — Можно подумать, что у нас в Советском Союзе еврейский язык находится под запретом. Вопрос не в том, можно ли писать на еврейском языке, и не в том, можно ли писать о местечковых евреях. Вопрос в том, как писать».* Высказав предположение, что язык идиш, возможно, в исторической перспективе и уйдет в прошлое, в историю, он пропел хвалу этому языку, так много значившему в существовании и самосохранении нации: *«Этот язык, как чернорабочий, поработал на массы, дал им песни, плач. Дал народу всё в его тяжкие годы, когда он жил в оторванной от России черте оседлости»*<sup>2</sup>.

Оценим ораторское мастерство Маркиша: *«Можно подумать, что у нас в Советском Союзе еврейский язык находится под запретом».* У арестованных по делу ЕАК не было полного представления о масштабах преследования и запрещения еврейской культуры, и прежде всего языка, однако они увидели, что не десятки — сотни интеллигентов, литераторов, журналистов брошены в тюрьмы, что за решеткой все — и авторы, и издатели, и редакторы, и переводчики; литературный язык умирает на Лубянке, в Бутырках, в Лефортове.

Позиция Маркиша на суде неуязвима: он не сомневается, что на фронте величественного здания советской культуры и самой государственности во весь ее исполинский размах все те же лозунги дружбы и братства. Не изданы и не будут изданы ко всеобщему сведению указы о запрещении какого-либо

---

<sup>1</sup> Там же, л. 61.

<sup>2</sup> Там же, л. 62.

из языков. Проще тихо задушить язык малого народа, отвернуться от его агонии, сгноить тех, кто мешает стиранию «культурных граней». Проще смертно преследовать, чем будоражить мир указами о запрете. Сталин и его клика поощряли лакейские акты отказа иных советских наций (а то и зависимых государств, как, скажем, Монголия) от собственной азбуки, куда более древней, чем латинский алфавит или кириллица. Отказывались, конечно, не народы, не нации, а угодливые, искавшие наград и поощрений временщики — это их княжеские подношения государю. Народы, чье богатейшее культурное наследие оставалось в рукописных книгах, в пергаментях, в допечатных летописях, оказались отторгнутыми от собственной истории, их современный язык обрекался дистилляции, обескровливанию. Даже рядовой читатель ощущал тот разрыв между привычным звуковым рядом и искусственным для него шрифтом.

Перец Маркиш действовал безошибочно.

## XXI

Арестованный в год своего семидесятилетия, Солломон Лозовский не питал иллюзий относительно будущего и не раз напоминал другим обвиняемым, какой роковой может быть расплата за уступки следствию.

Жизненный и политический опыт Лозовского, члена партии с 1901 года, хорошо знавшего Сталина, Лозовского — недавнего заместителя Молотова по Наркоминделу, известного деятеля международного коммунистического и профсоюзного движения, его природный ум позволяли осмыслить трагизм затеянного Сталиным дела. Лозовский не актерствовал, говоря в последнем слове, что *«...не просит никаких скидок»*. *«Мне нужна полная реабилитация или смерть... — сказал он. — Если суд признает меня в чем-либо виновным, то прошу войти с ходатайством в правительство о замене мне наказания расстрелом. Но если когда-либо выяснится, что я был невиновен, то прошу посмертно восстановить меня в ря-*

гах партии и опубликовать в газетах сообщение о моей реабилитации»<sup>1</sup>.

Уже нет партии, которая захотела бы восстановить в своих рядах Соломона Лозовского, его упование на будущий акт партийной справедливости многие встретят сегодня со скептической ухмылкой, однако само его обращение к будущему исполнено чистоты и благородства. Он немало ошибался в жизни, и на нем, по масштабу его дел, лежит часть вины за беззакония, творившиеся в стране, но, как и многие, он искренне верил, что служит народу и не запятнанным в его собственных глазах идеалам коммунизма. На краю бездны, зная чудовищную мстительность Сталина, он уже в кабинете Шкирятова, сдавая партийный билет в руки цекистского Аракчсева, понял, что вступил на дорогу гибели и пройдет ее до конца. Лозовский не пытался спасти себя оговорами других: предчувствуя близкую смерть, он испытывал потребность повиниться перед двумя женщинами, о которых под пытками сказал неправду. *«По показаниям Фефера, — читаем в протоколе судебного допроса Лозовского, — проходят человек 100, фамилии которых мне неизвестны и которых он все время оговаривает, но о себе он не говорит ни слова. Если привести здесь метафору Льва Николаевича Толстого, то можно сказать так, что обвиняемый является числителем, а оговариваемые им — знаменателем. Чем больше увеличивается число оговариваемых, тем меньше, ничтожнее гробь»*<sup>2</sup>.

Отдадим должное мужеству Лозовского: для него не была секретом позиция Сталина как активного вдохновителя антисемитизма. Но на процессе он срывал также со следствия и суда маску «интернационализма». Знал, что чтение судебных бумаг, «дайджестов» из них Сталину доставляло чуть ли не чувственное наслаждение; понимал, что Сталин вновь загорится ненавистью к ничтожному еврею

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 134.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 3, л. 252.

из села Даниловка под Запорожьем, возмнившему себя личностью, но держался своей твердой позиции. Из партии он уже исключался дважды — в 1914 и 1917 годах. Теперь его исключают из жизни...

Обращаясь к тем годам, когда он возглавлял Гослитиздат, Лозовский сказал: *«Я издавал армянский, башкирский и другие эпосы. Почему, когда ко мне приходят писатели-евреи по вопросу об издании своих книг, в этом усматривается национализм? Это нелогично.*

*Почему считают: если на вечер Шолом-Алейхема пришел Лозовский, значит, он еврейский националист?»<sup>1</sup>*

Главного судью начинают тревожить вопросы Лозовского, он пытается поставить подсудимого на место:

*«ЧЕПЦОВ: — «Вам предъявлено конкретное обвинение. В формулировке обвинения сказано: «Занимался шпионажем и был руководителем еврейского националистического подполья в СССР»».*

Лозовского такая «конкретность» поражает: формулировка самая общая, ничто не доказано, не приведен ни один факт передачи кому бы то ни было секретных сведений. *«Как можно в обвинительном заключении писать о материалах шпионского характера и не включить эти материалы в 42 тома следствия?! Что это, особый, советский, метод следствия — обвинить человека в шпионаже, а потом скрыть от него и от суда материал, за который его надо казнить?»<sup>2</sup>* «Я спрашиваю, — настаивал Лозовский, — почему на материалах, которые носят так называемый ш п и о н с к и й характер [на статьях и очерках из архива газеты «Эйникайт». — А.Б.], нет дат? Почему и как эти даты исчезли, тогда как в действительности они имеются на каждой статье, на каждом листке? Кто, за чем и почему это сделал?»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 4, л. 35.

<sup>2</sup> Там же, л. 127.

<sup>3</sup> Там же, л. 232.

Лозовский отвергает лживые показания заместителя Фефера Хейфеца, заявив во всеуслышание, что «Хейфец — старый работник МГБ». И суд не опротестовал этого заявления и не исключил его из стенограммы. Но куда более резким был выпад Лозовского не против бывшего своего подчиненного, а в адрес высокого цекистского чина Александрова, под чье идейное руководство в 1946 году перешел ЕАК. *«Я считаю Александрова человеком нечистоплотным. Я 40 месяцев нахожусь в тюрьме и не знаю, что делается на свете. Я не знаю, кем стал Г.Ф. Александров за это время, но уверен, что рано или поздно он будет исключен из партии. Такой человек в партии быть не может, партия таких людей не терпит»*<sup>1</sup>.

Пророческие, вскоре сбывшиеся слова, хотя партия терпела и не таких, как Александров. Она только в 1953 году освободилась от Берии, более из страха перед ним и в отместку за все минувшие страхи, чем из омерзения перед безнравственной, злодейской личностью. Большевистский «спартанец» Лозовский, назвав Александрова прежде всего «нечистоплотным», точно оценил его: его эгоизм, себялюбие, похотливость. Такие люди убивались с политической авансцены только тогда, когда слишком уж замарывались в бытовой грязи.

Лозовский, возвращаясь к главной теме, настойчиво и последовательно разоблачает антисемитскую подоплеку дела ЕАК. Уже и Чепцову нелегко сопротивляться напору и логике Лозовского. Подсудимый не дает повода оборвать его:

*«... В конце 1941 года в разговоре со Щербаковым по ВЧ у нас возникла мысль о создании нескольких антифашистских комитетов. [В эту пору — в 1941—1946 годах — Лозовский еще и заместитель наркома иностранных дел. — А.Б.] Мы создали сразу несколько антифашистских комитетов: славянский, еврейский, женский, молодежный, антифашистский комитет ученых. Уже по одному названию видно, что это не классовые организации для пропаганды только среди*

---

<sup>1</sup> Там же, л. 231.



*рабочих, а это такие организации, которые должны обращаться ко всем, кто хочет и может что-либо сделать для борьбы с фашизмом... Почему меня обвиняют, что я создал Еврейский антифашистский комитет, а не все пять комитетов? Почему встреча с каким-то Розенбергом хуже, чем встреча с Миколайчиком? Почему славянский комитет по моему разрешению мог принимать Андерса? Он что, друг Советского Союза?»<sup>1</sup>.*

*«...Почему, если это правда, что какие-то евреи называли меня «отцом», это должно преследоваться законом? В Киргизии меня часто называли «аксакалом», а в Китае — «старым китайцем» потому, что я много занимался Китаем. Разве меня посчитают киргизским или китайским националистом?»<sup>2</sup>.*

*«...За время моего пребывания в Совинформбюро я принял трудно сказать сколько сот журналистов. Приходили китайцы, японцы, американцы, англичане и т.д., но выходит, что как только приехал еврей из США, тут я и поскользнулся. Это же курам на смех! Не говоря уже о том, что, когда приехал Новик, комитет уже не имел ко мне никакого отношения. К тому же деньги на прием Новика, 40 тысяч, дал Суслов. Что же, он тоже еврейский националист? Трудно и подумать»<sup>3</sup>.*

*«...Возникает вопрос — почему мы позволяли на советские деньги посылать за рубеж статьи Имама Ходжи, который, основываясь на Коране, проповедовал борьбу против фашизма? Это было нужно, и мы это делали»<sup>4</sup>.*

Чепцов снова напоминает Лозовскому о его конкретной вине:

*«Вы несете ответственность за ЕАК, а деятельность ЕАК признана националистической».*

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 4, лл. 49—50.

<sup>2</sup> Там же, л. 79.

<sup>3</sup> Там же, л. 211.

<sup>4</sup> Судебное дело, т. 4, л. 237.

Лозовский возражает. Ни следствие, ни суд не доказали этого обвинения. Если он, по смерти Щербакова, возглавил Совинформбюро, ЕАК вскорости был переподчинен отделу внешней политики ЦК ВКП(б), а «Черная Книга», при всех ее недостатках, «сыграла большую роль во время Нюрнбергского процесса. Разве это национализм?»<sup>1</sup>.

Лозовского печалят малодушные слова Бергельсона, так одурманенного на следствии лживой «официальной установкой», что любой о т д е л ь н ы й разговор о евреях, еврейской культуре, еврейских потерях от рук нацистов и т.д. — национализм чистой воды, что и в судебном заседании он все еще не отваживался громогласно отвергнуть эту ересь. Используя нерешительность Бергельсона, судья заводит речь о брошюре «Немецким матерям», ярком документе контрпропаганды, — обращении к матерям Германии от имени еврейских матерей, познавших ужасы депортации и геноцида.

« — Вы считаете эту брошюру националистической? — спросил он у Бергельсона — автора брошюры, и тот, жизнью приученный искать вину в себе, покорно ответил:

— Я считаю ее националистической потому, что в ней говорится о происшедшем уравнивании прав евреев в СССР наряду с правами других народов, но не иллюстрируется право других народов. А материал, в котором говорится только об одних евреях, считается националистическим...

ЧЕПЦОВ: — Кем считается?

БЕРГЕЛЬСОН: — По заключению литературной экспертизы, мои некоторые статьи считаются националистическими потому, что там говорится только о евреях»<sup>2</sup>.

В словах Бергельсона, если вслушаться, нет согласия с дикой позицией, исключающей возможность исследования избранного автором предмета, осмысления его как самодостаточной реальности, но нет и

---

<sup>1</sup> Там же, л. 246.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 4, л. 91.

спора, нет протеста: силы Бергельсона на исходе. Внешне соглашаясь с судьей, он отсылает вопрос «экспертам», следователям, всем, кто так жестоко взял над ним власть и грозит ему уничтожением. Судей же устраивает и эта двусмысленная покорность. *«Если еврейская литература мешает евреям ассимилироваться, — говорит Бергельсон, — а у Лозовского есть интерес к этой литературе, из этого можно сделать вывод о его национализме»*<sup>1</sup>.

Лозовский не прощает и такой малодушной уступки. *«Для того чтобы писать в еврейскую газету, — говорит он, — надо писать по-еврейски. Но когда Бергельсон вдруг говорит, раз пишут по-еврейски, значит, это национализм, то выходит, что т у т с у г я т е в р е й с к и й я з ы к. Это уму непостижимо»*.

Он снова и снова обращается к практике Совинформбюро и ЕАК, отмечая обвинения в национализме; напоминает о радиомитинге на еврейском языке, проведенном для пропаганды на США по указанию секретариата ЦК, и о том, что все ораторы были проинструктированы в ЦК, *«каждая речь, ее текст, читалась мной, Александровым и Щербаковым»*, а в ходе следствия только и слышишь, что о каком-то *«националистическом митинге»*, организованном Лозовским.

*«Что, академик Капица мне подчинен?.. — спрашивал он у суда. — Писатель Эренбург мне подчинен?.. Эренбург сказал на митинге, бросая это в лицо фашизму, что имя его матери — Ханна. И вдруг пошли толки, что это, мол, возвращение к еврейству. Мою мать тоже звали Ханна, что же, я должен стыдиться этого? Почему это объявляется национализмом?»*<sup>2</sup>.

Имя матери Лозовский назвал не случайно: позади долгая жизнь, горестные наблюдения за тем, как все сильнее забирает Сталина антисемитское помрачение. Позади и очная ставка Лозовского с Полиной

---

<sup>1</sup> Там же, л. 39.

<sup>2</sup> Там же, л. 47.

Молотовой (Жемчужиной), угнетавшая его очная ставка, неподписанный протокол которой пролежал в сейфе у Абакумова до самого ареста министра.

Можно был опустить такую подробность, как имя матери — его и Эренбурга. Но он его произнесет — Ханна, произнесет как покаяние, как последний поклон ее памяти. За десятилетия жизни в адовом кругу он столько раз шел на компромиссы, глушил свое «еврейство», что на суде, в канун самого страшного, обязан сказать и повторить дважды: Ханна! Ханна!..

Он настаивает на праве и обязанности литераторов, пишущих по-еврейски и для еврейских изданий, пропагандировать — в интересах страны, а не для удовлетворения национального самолюбия — трудовые и военные подвиги советских евреев. *«Американских евреев, — сказал он, — поражало, что в СССР командир подводной лодки — еврей (Герой Советского Союза Фисанович). Значит, врет желтая «Форвертс», кричащая, что в Советском Союзе преследуют евреев».*

Лозовский внешне спокойно, обстоятельно говорил о том, что ни «Эйникайт», ни еврейские альманахи, насколько ему известно, не замыкались на еврейской тематике — она просто стояла в центре их внимания, и это естественно, так же естественно, как и то, что украинские или казахские издания занимаются прежде всего буднями и праздниками своих республик, их людьми и культурой. Именно так можно внести свою лепту в общее дело страны — кто же лучше еврейских писателей и журналистов знает жизнь евреев?

Не в силах опрокинуть позицию Лозовского, генерал-лейтенант Чепцов напомнил ему «обобщенный протокол» от 3 марта 1949 года:

— А зачем же вы подписали?

Лозовский повторил, что дрогнул только однажды, под кулаками полковника Комарова, вгонявшего его в шок смертным боем, многочасовыми ночными допросами, унижениями, откровенно расистскими инвективами в адрес евреев как народа, называя его не только грязным, но и абсолютно преступным, «негодной сволочью», поставившей своей целью «истребле-

ние всех русских». Мир померк. Он понял, что его преследуют не как шпиона и даже не в качестве еврейского националиста, а как человека, рожденного женщиной-еврейкой, и он обязан сохранить себя, дожить до суда, чтобы на суде сказать правду. Когда-нибудь она пробьется к людям.

## XXII

С именем Фефера связаны два популярных в молве эпизода: один так и не нашел документального подтверждения, второй достоверный, но преображенный толкованием Самуила Галкина, человека отходчивой души.

В первом действует Поль Робсон. Приехав в Москву, знаменитый певец, встревоженный слухами об аресте писателей, хочет повидаться с Ициком Фефером, с которым подружился в Америке. Лубянка лихорадочно готовит Фефера к встрече с Робсоном в гостинице «Москва». Поэт измучен, с трудом подбирают костюм, который скрыл бы страшную худобу, дают свежую рубаху с высоким воротником, чтобы не открылись следы побоев, над ним хлопочет... театральный гример. Встреча странная, натянутая, связанная, но Фефер явился, Фефер на свободе — это главное, и все обошлось бы, если бы не резкое движение руки, оголившее запястье, следы насилия, оставленные наручниками...

Была ли такая встреча? Быть может, была, и Фефер покорно сыграл роль «свободного человека» — едва ли кто-нибудь вообще посмел бы отказаться от защиты «родной и справедливейшей» Советской власти. Но наручников не было. Не было следов насилия — Фефера не били. Стоило ему заколебаться, ужаснувшись, что зашел слишком далеко в сотворении дела ЕАК — по выражению Лозовского, не «дела», а «романа», — ему начинали угрожать, и страх, в котором он признался на следствии (и подтвердил потом на суде), парализовал его, заставляя продолжать оговоры. Если он и исхудал, то не от скудости тюремного пайка — все время следствия он содержался в привилегированных условиях; истязать его могли только муки совести.

Второй эпизод вполне достоверный — очная ставка Фефера и Галкина. О ней рассказал уцелевший, но вернувшийся из лагеря с разрушенным здоровьем Самуил Галкин. Михаил Матусовский записал его рассказ и опубликовал в журнале «Знамя». Я привел эту страницу в «Записках баловня судьбы» и повторяю ее здесь.

*«Чтобы сломить сопротивление Галкина... следователь устроил ему очную ставку с Фефером. «Гражданин Фефер, — спокойно спросил следователь, заранее уверенный в ответе, — вы подтверждаете показания, данные вами на прошлом допросе, что вы и бывший ваш друг Самуил Галкин были связаны с контрреволюционной организацией «Джойнт»? И Фефер, опустив голову, глядя куда-то в пол, вернее даже, никуда не глядя, глухо ответил: «Да». — «Не стесняйтесь, не стесняйтесь, говорите громче. Вы подтверждаете, что заключенный получал деньги от вышеназванной организации и сообщал через вас сведения секретного характера?» Фефер снова, не поднимая глаз, пробормотал еле слышно: «Да...» — «Ну вот видишь, а ты не верил. А теперь сам лишил себя добровольного признания вины. Можете увести Фефера!»*

Сознавая, что это, может быть, в последний раз в его жизни, Галкин решился взглянуть на своего друга. Он увидел такого несчастного и жалкого, такого растоптанного и уничтоженного человека, что даже не мог презирать его, хотя и хорошо понимал, что одним словом «да» тот преопределил всю его дальнейшую судьбу. Истощенный и запуганный, с черными пятнами у глаз и кровоподтеками на восковой лысине, он был уже совсем другим человеком, только отдаленно похожим на Фефера, только носившим его имя. И тут Галкин, заранее прощая все, что он сделал и сделает ему еще, снимая с него вину, пошел и поцеловал Фефера. Какими собачьими, виноватыми, только на миг ожившими глазами взглянул тот на друга! Они были сейчас выше всего, выше неправедного суда, выше власти, готовой расправиться с ними в любую минуту, выше самой жизни, которой они нисколько, уже нисколько не дорожили...

Очевидно, Фефера били, предположил я, тогда еще не имея доступа к следственному делу. Били по черному, истязали, как могут истязать только «своего», уже за ненадобностью!.. По мере того как перед Фефером открывалась кровавая бездна следствия и его собственная роль в этом следствии, возникали дни отчаяния, мольбы, смертных криков, смятенных отказов от вчерашних показаний, выколоченных из него, открывалась та истина, что его ведут напрямик к расстрелу. Возникали убийственные побуждения совести, попытки солгать, запутать мастеров своего дела, обмануть, отречься от самого себя. Всего и не предусмотреть, не увидеть на расстоянии, не предугадать в той потрясающей, может быть, самой потрясающей драме: ведь гругих защищала собственная совесть, честность, утраченная честь — у Фефера не было и этого убежища.

Перец Маркиш не поцеловал бы его и полумертвого...

Самуил Галкин поцеловал, и поцеловал бы, даже зная о долгой «внештатной» службе Фефера-«Зорина». У него хватило бы света и доброты на целое человечество.

А мы будем теряться в догадках, пока не получим доступа к томам следственного и судебного дел ЕАК<sup>1</sup>.

Теперь я знаю: к осени 1949 года дело Галкина, в числе ряда других, было выделено в отдельное слушанье и очная ставка с Фефером состоялась перед завершением этого «дочернего», уже имеющего другой номер дела. Поскольку участником этой очной ставки был Фефер, протокол ее приложен к одному из следственных томов дела ЕАК (том XXXI). Возможно, Галкин уже знал, что его самого вывели из самого пекла, и сожалел о тех, кто оставался в эпицентре государственного беззакония.

Поразительно, как беда и смертный страх меняют некоторые соотношения, и мы уже готовы назвать

---

<sup>1</sup> А. Б о р щ а г о в с к и й. Записки баловня судьбы, с. 131—132.

друзьями тех, кто не только не дружил, а в главном даже противостоял друг другу.

Очная ставка Фефера и Галкина состоялась 3 сентября 1949 года. Передо мной краткий ее протокол, отчасти повторяющий запись Матусовского: односложное, глухое повторение Фефером нескольких его показаний о Галкине с января по март 1949 года и вялая, подавленная самозащита Галкина. Ни слова о поцелуе: такой поступок, скорее всего, не мог не озадачить следователя, не укрепить его в подозрении, что у них, у евреев, все не как у людей и надо держать себя с ними построже.

Иные из моих предположений оказались ошибочными. Фефер еще очень нужен был и следствию, и суду до начала июля 1952 года, когда он потребовал закрытого судебного заседания. Фефера не били, не били ни разу со дня ареста, это подтверждено многими участниками следствия, от младших чинов до главных действующих лиц, таких, как Лихачев или Комаров. Все его показания 1949 года — только продолжение и разработка прежних добровольных донесений Фефера как агента-осведомителя, скрывавшегося под именем Зорин.

Предательство Фефера так непредставимо для многих, кто его знал, что мы обязаны отдавать себе в нем полный отчет, говорить только о том, что абсолютно подтверждается документами, его признаниями и вызывающими доверие свидетельствами третьих лиц.

Это важно еще и потому, что речь идет не только о загадке конкретной судьбы, но и о скрытых, подспудных силах того времени, которые так властно и вполне в духе эпохи сформировали «феномен» Фефера. Мы невольно приблизимся к тем слепым, запальчивым разрушителям еврейской культуры, кто, поощряемый партией и марксистско-ленинским толкованием национального вопроса, подстегивал, грубо подталкивал само время, смыкаясь в своих гонениях и с «теоретиками» Инстанции, и с практиками Лубянки. Отчаяние Зускина, Квитко, Бергельсона, Маркиша и других было так велико еще и потому, что они всегда чувствовали за спиной дыхание преследователей: голоса доносов и оговоров, грозящий им кулак



«истинно пролетарских» писателей. Это часто отнимало последние силы у самых честных и талантливых, кого третировали как «попутчиков», сомнительных людей, кому никак не выдавали «справки» о том, что они полноправные советские писатели.

В ноябре 1929 года Перец Маркиш писал за океан своему другу еврейскому писателю Иосифу Опатошу: *«А вообще мы не знаем, на каком мы свете. В атмосфере, когда люди пытаются выглядеть «ужасно» пролетарскими и стопроцентно «кошерными», так много фальши, малодушия, нерешительности, колебаний, что стало трудно работать»*<sup>1</sup>. Фефер едва ли не первый и главный среди стопроцентно, «ужасно» пролетарских поэтов и идеологов еврейской культуры. Вульгаризация и пагубные упрощения, которые несла всей советской литературе и культуре «авербаховщина» и рапповщина в целом, применительно к культуре еврейской усиливались реальной опасностью быть обвиненной в злостном буржуазном национализме.

*«Изломанных, разбитых, угнетенных и пригнанных людей, которые стояли в центре еврейской дооктябрьской литературы, — говорил Фефер в августе 1934 года на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, — в советской литературе больше нет. Эти г о р б а т ы е люди исчезли из нашей жизни и больше не вернутся...»* Он говорил о новых именах в еврейской поэзии и прозе, характерная черта которых — «бодрость и оптимизм», радовался тому, что *«старых, привычных образов вы не найдете ни у одного из наших советских еврейских прозаиков»*, ибо дети вчерашнего «человека воздуха» стали шахтерами, металлантами, колхозниками, писателями — строителями социализма. *«Буржуазные писатели, — продолжал Фефер, — очень мало писали о родине; и Бялик и Фруг, заливший своими слезами всю еврейскую литературу, много писали о разрушенном Иерусалиме и о потерянной родной земле, но это была буржуазная*

---

<sup>1</sup> J. H o b e r m a n. Bridge of Light: Jiddish Film Between two Worlds. N.Y., «Pantheon», 1991, p. 141.

ложь, потому что Палестина никогда не была родиной еврейских трудящихся масс». «Советский Союз поднял всех нас, еврейских писателей, из заброшенных уголков и местечек, навсегда похоронил проклятый «еврейский вопрос», навсегда сжег, уничтожил черту оседлости — низость и подлость царского режима»<sup>1</sup>.

Я не брошу в Фефера камнем за слова любви к породившей его земле, к советской родине, — с теми же словами поднимались на трибуны — эту и другие — еврейские писатели, и те, кто будет истреблен спустя три года, в дни большого террора, и десятки других, к оговору и уничтожению которых приложит руку и Фефер. Все они, буквально все, объявленные на съезде писателей провозвестниками новой, раскрепощенной еврейской литературы, будут обвинены им в буржуазном национализме. Не брошу камнем и за то, что он не увидел возможности возрождения еврейской государственности в Палестине, — трудно было проникнуться даже мечтой об этом в государстве, настолько энергично решавшем «еврейский вопрос», что и простые симпатии к еврейской Палестине и к древнееврейскому языку оказывались преступлением.

Двадцатые годы прошли в эйфории; разрушены узилища «черты оседлости», ничто не препятствует развитию личности вчерашнего человека «процентной нормы». Закрыты синагоги, но варварски разрушены и православные храмы, религиозные святыни других наций. Комсомолия поет: «Долой, долой монахов, раввинов и попов, мы на небо полезем, прогоним в с е х богов!..» При свержнутом, разрушенном авторитете веры процесс ассимиляции ускорился необыкновенно. Сотни тысяч людей, вставая в новую жизнь, в новый, нивелированный быт, устраивают свои судьбы и будущее детей, а народ как целостность убывает, его культурная

---

<sup>1</sup> Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., «Советский писатель», 1990, с. 166, 167.

жизнь, исключая экзотику, подходит к черте исчезновения.

Вина Фефера — в непреклонности, с которой он и его единомышленники ополчались на к о р н и национальной культуры, на те ее бывшие создания, которых нельзя изгонять из духовной жизни, толкая народ в пустыню духа, отнимая у него историю. Вина в том, что в своей социалистической заносчивости они третировали мировую еврейскую литературу, шельмуя писателей кличками «буржуазный», «реакционный», «местечковый» и так далее только потому, что те живут в условиях другой социальной системы.

Фефер встречал в штыки не только спектакли ГОСЕТа по классическим пьесам еврейского репертуара, но и первые серьезные попытки в области кинематографа: «Блуждающие звезды», «Сквозь слезы», «Беня Крик» и другие. «Жизнь еврейских рабочих и работниц, — писал он в журнале «Кино», — их борьба против богачей и «благотетелей», борьба против еврейской буржуазии и большая роль, которую они сыграли по всем революционном движении, до и после Октября, пока никак не воплощены в кино. Больше, чем когда-либо прежде, на литературных вечерах приходится теперь выслушивать претензии:

*Рабочие спрашивают: «Почему вы пишете только о «Еврейском счастье»? О «Бене Крике»? О «Блуждающих звездах»? Почему вы не пишете о нас?!»*

*Они спрашивают: «Разве Беня Крик интереснее нас?»*

*Рабочий класс хочет в новом искусстве видеть себя, свою борьбу и жизнь.*

*Рабочий класс прав.*

Не случайно в следственном томе XI («Документы, изобличающие в арестованных еврейских националистов и их сообщников в проведении националистической пропаганды в Советском Союзе и за границей») обнаружился текст выступления многолетнего единомышленника Фефера, критика Н. Ойслендера, на собрании еврейских писателей

в Москве буквально накануне первых арестов по делу ЕАК.

Только что в Союзе писателей, на пленуме по драматургии, дан старт преследованию театральных критиков, стремительно разросшемуся в массовую кампанию борьбы против «безродных космополитов». Фадеев уже знает об аресте Гофштейна и о грозных тучах над литераторами-евреями — он уже принимает меры, чтобы не быть застигнутым врасплох. Гофштейн, этапированный из Киева, уже три дня на Лубянке. Абакумов подпитывается «разоблачительными» материалами Фефера так обильно, что ему не понадобятся протоколы будущих допросов для составления докладной записки в Политбюро, на имя Сталина, Молотова и других по «еврейскому вопросу». «Литературоведческое» выступление Ойслендера фигурирует в деле ЕАК в качестве обвинительного материала против судимых писателей.

Для начала Ойслендер ссылается на положительный пример новизны и законопослушания, на повесть Рывкина «В котельном цеху». *«В повести изображен старый еврей, ремесленник из бессарабского местечка, — комментирует короткое повествование Ойслендер. — В годы эвакуации он попал в Среднюю Азию, на стройку. Все в нем приходит в брожение, в этом старике. На наших глазах происходит перевоспитание человека как одно из характерных явлений. Рывкин при этом отмечает распад старой лексики, отмирание слов, которые были связаны с синагогальной сферой. Как-то старик заметил, что он забыл одно такое слово, оно атрофировалось, исчезло без следа. Старик сначала было испугался, но вдруг перед его глазами встала картина горящего местечка, сожженного гитлеровцами, и он воочию увидел, как в этом огне сгорело и то слово, которое он забыл. Рывкин живо передает состояние старика, и мы видим, как в нем, в старике, рождается как бы даже гордость по поводу того, что он избавился от такого слова»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XI, л. 53.

Ойслендер радуется происшедшему, видя в этом «путь, по которому шла в эти годы наша масса».

Какая примитивная, притянутая за уши конструкция! Какая непочтительность к старику, якобы готовому радоваться «очистительному» огню оккупантов, рисующая старого ремесленника бездумным отступником от «старой лексики», от родного пепелища и родных могил. Этот сконструированный старик радуется: пусть без следа исчезают старые слова, а с ними атрофируются и сыновние чувства, привязанность к родному дому. Он как бы и гордится тем, «что избавился от такого слова».

Ложь еще и в том, что беда, пожарище, злодейство, которые, как известно, обостряют ностальгические чувства, дают толчок к сопротивлению ассимиляции, рождают противодействие насилию, трактуются Ойслендером как утешающее средство, как ворота, распахнувшиеся в новую жизнь.

Что же в еврейской литературе противостоит «светлому образу» забывчивого старика?

*«Тягостно впечатление, когда мы в новой поэме Маркиша «Война» читаем главу «Кол Нигрей». В этой главе рассказана история человека, подобно тому, какой изображен у Рывкина. Но рассказана она почти что в обратном порядке. Герой Маркиша — старик. В прошлом он был поставщиком амвонов для синагог, в советские годы он стал обычным столяром. В биографии этого старика, в его психологии все неестественно. А именно: те наслоения от синагогальной среды, которые отложились в его психологии в прошлом, не убывают. Они остаются теми же, а иной раз даже нарастают. Что это может означать? И откуда то умиление, с которым Маркиш об этом рассказывает?»<sup>1</sup>*

А ведь незадолго до этого А. Фадеев, пригласив в Союз писателей Маркиша, объявил ему, что на него «написан донос в ЦК», что он обвинен «в сионизме и еврейском буржуазном национализме, про-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XI, л. 54.

явившемся в поэме «Война». Фадеев добавил, что «донос подписан X и Y — людьми, с мнением которых в ЦК считаются»<sup>1</sup>. Поразительно, но именно эти главы «Войны», на которые прежде всего пало подозрение доносчиков и критика Ойслендера, — «Разговор с сатаной» и «Кол Нидрей» — до сих пор так и не публиковались в русском переводе! «Феферисты» действовали согласованно, и трудно было установить — такова трагедия тех лет, — где кончается литературная критика и начинается дальновидный политический донос.

Нашлось и злополучное слово, то, что атрофировалось в старике — бессарабском ремесленнике, вступившем на путь перевоспитания. Оказалось, это Гаман, или — иначе — Аман, имя злодея библейских времен, царского визиря, предтечи Гитлера в задуманном им геноциде, поголовном истреблении еврейского народа. Вполне справедливая историческая параллель, тем более естественная в метафорической, образной речи поэта.

Но только не по идейному катехизису Фефера — Ойслендера!

*«В стихах Квитко военных лет, — звучит обвинительный голос Ойслендера, — Гитлер то и дело фигурирует как Омон (Гаман). Это именно то слово, которое герой Рывкина потерял. Квитко нашел его и носитя с ним. Герой Рывкина заменил это слово другим, рожденным советской действительностью»<sup>2</sup>.*

Если не Гитлер и не его библейский предтеча, то каким же словом, «рожденным советской действительностью», можно их заменить?

Атакует Самуил Галкин за пьесу «Геттоград», на взгляд Ойслендера — неблагоприятную попытку изобразить «некоего хасида» героем антигитлеровского восстания, «носителем массового героизма». Разоблачаются другие авторы, у которых «проявление наци-

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом эпизоде см.: Э. М а р к и ш. Столь долгое возвращение..., с. 171—172.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XI, с. 55.

ональной ограниченности выражается в освящении еврейского быта», и так далее.

Забудь прошлое народа, Библию... Если ты не в силах проклясть ее, постарайся, чтобы библейские сравнения и метафоры «атрофировались» в тебе, распрощайся со «старой лексикой», попривыкни к такой н о в и з н е, тогда тебе легче будет отказать и от своего языка. Не случайно следователи выбирали в архиве «Эйникайт» письма иных читателей, настаивающих на том, чтобы идиш как можно интенсивнее пополнялся словами из богатого и прекрасного русского языка, до полного и благостного слияния с безбрежным его океаном. Зачем-то и эти письма включались в круг обвинительного следствия.

Как долго сотрудничал Фефер с органами госбезопасности?

Сначала он назвал суду 1946 год, а спустя несколько дней изменил дату: *«С органами госбезопасности МГБ я начал сотрудничать в 1944 году... (по предложению Эпштейна, который после получения от меня согласия передал меня на связь Бочкову)»*<sup>1</sup>. В собственноручном заявлении в Военную коллегия Верховного суда СССР на имя председателя суда от 9 июля 1952 года он писал: *«В дополнение к моим показаниям от 6 июля с/г считаю нужным сообщить следующее: когда сотрудники Госбезопасности Иванов и Марчуков обратились ко мне в 1947 году с просьбой встретиться с чемпионом США по шахматам Решевским (находившимся в Москве) с целью выяснения ряда вопросов, интересующих органы Госбезопасности, они рекомендовали мне привлечь и Михозлса. Не помню почему, но мне пришлось выполнить это задание одному. Но этот факт опять-таки говорит об определенном доверии к Михозлсу».*

Даже заметавшись, провокатор все еще несет службу оговора Михозлса, теперь полунамеками, подменой слов, хитроумными оборотами вроде «ре-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 8, л. 69.

комендовали привлечь» или недовольством тем, что ему пришлось **в ы п о л н я т ь з а д а н и е о д н о м у**. Если Феферу тогда и впрямь предложили привлечь для встречи с Решевским Михозэlsa, то совсем по другой причине: не в силу доверия органов к Михозэlsу, а ввиду начавшейся активной слежки за ним, ввиду **н е д о в е р и я**, в надежде, что в дружеской беседе с верующим, истово религиозным Решевским Михозэls скажет что-нибудь такое, что окажется бесполезным Лубянке. Госбезопасность в 1947 году, за несколько месяцев до ликвидации Михозэlsa, куда больше заинтересована в «разработке» Михозэlsa, чем в наблюдении за шахматным фанатиком из США.

Прочитав все до единого листы 42 следственных томов, 8 томов судебных заседаний, многие тома «Документов...», «Материалов...», тома «Проверки...», начавшейся в 1953 году, а затем генеральной проверки 1955 года, утверждаю, что они не бросают и малейшей тени на Соломона Михозэlsa и вся критика в его адрес, все случавшиеся в крайних состояниях арестованных проклятия на начальном этапе следствия — прямой и точно рассчитанный результат провокации Фефера на тему «продажи Крыма», многого согласия — Михозэlsa и его — на шпионаж. Не сразу сбросили с себя люди, потрясенные признаниями Фефера, ужас перед открывшимися им преступлениями, не сразу поняли, что преступления эти — фальшивки, провокация и Михозэls так же чист перед людьми и страной, как и они сами. Наступит момент, когда и Фефер попытается откреститься и от «шпионажа», и от «крымского проекта», но — поздно, ничего изменить невозможно, впереди — расстрельная тьма.

Фефер исправно нес свою службу. Дома у него, на обеде в честь Гольдберга, объявленного им впоследствии шпионом, *«под видом моего старого друга, инженера Бермана, присутствовал ответственный работник Госбезопасности Серебрянский... После смерти Эпштейна, — продолжал свою судебную исповедь Фефер, дополняя сведения, сообщенные суду*



на закрытом заседании, — Бочков и Марчуков неоднократно обращались ко мне, и я выполнял их задания. Так что мое сотрудничество в органах Госбезопасности началось не в 1946 году, как я указывал, а в 1944-м. Кроме сообщений о настроениях различных лиц, с которыми я встречался, о вызывавших подозрение посетителях ЕАК, я передавал сотрудникам МГБ письма и документы, представлявшие интерес для органов Госбезопасности.

В частности, я передал им копии ряда документов, фигурирующих в экспертизе по национализму (письмо жмеринских евреев, просивших о поездке в Палестину, письмо Бергиды, обращение какой-то националистической группы в ЕАК и др.). Увеличилось число посетителей и писем в ЕАК от различных лиц, пожелавших выехать в Палестину для участия в боях против арабских армий. Мы сообщили об этом руководителю Отдела внешней политики Баранову, он предложил нам составлять списки этих посетителей с указанием личных адресов с целью выявления националистических элементов, враждебных элементов вообще, что мы и сделали. Это была реальная помощь партии и органам в выявлении националистов»<sup>1</sup>.

Оборву цитату. Фефер говорит «мы», имея в виду себя и Хейфеца, многолетнего сотрудника госбезопасности, с которым Фефер познакомился летом 1943 года в США. В своих показаниях Фефер, пытаясь отстоять личный престиж, говорит о Хейфеце неуважительно, свысока, якобы не доверяя ему именно как кадровому офицеру госбезопасности, человеку случайному и малоинтересному, навязанному ЕАК неведомо какой силой, при несогласии самого Фефера. Это обман: Хейфец был прислан заместителем к старому своему знакомцу Феферу и принял на себя всю тяжесть технической работы, действуя в согласии с шефом.

На допросе у следователя Кузьмина 4 декабря 1951 года Фефер сделал следующее странное признание: «В наш преступный сговор с Михозлсом и

---

<sup>1</sup> Материалы, т. 10, лл. 253—254.

*другими еврейскими националистами о борьбе против национальной политики ВКП(б) я Хейфеца не посвящал. Это объясняется тем, что я не доверял Григорию Марковичу Хейфецу, поскольку он работал в органах Государственной безопасности и, придя на работу в комитет, во всеуслышание заявил, что прислан для укрепления политической линии комитета».*

Если это вынужденное заявление сделано для создания некоего «алиби» для гебиста, на время прикомандированного к ЕАК, то успеха оно не имело: карательная с т и х и я унесла и Хейфеца, дело его было выделено в отдельное слушание; как и добрая сотня других, завершилось оно приговором к 25 годам ИТЛ.

*«Летом 1948 года, — продолжал Фефер, — Хейфец почти единолично принимал многочисленных посетителей, приходивших в комитет в связи с событиями в Палестине. Помимо бесед с евреями, изъявлявшими желание поехать в Палестину сражаться с арабами, Хейфец составлял списки так называемых добровольцев».*

Посетив Кропоткинскую, 10, выслушав услужливого чекиста в цивильном, потенциальный доброволец оставлял испрошенное у него заявление с указанием адреса и ждал вызова из ЕАК. *«Приходили десятки евреев, — показывал Фефер полковнику Лихачеву на допросе 26 марта 1949 года, — и просили содействовать им в выезде в Палестину для защиты своей древней родины. Мы создавали впечатление у желающих добровольно выехать «на фронт» в Палестину, что это не исключается, то есть фактически поощряли эту тенденцию путем занесения в списки добровольцев, обещая им поставить этот вопрос перед правительством, что нами и было сделано».*

Последние слова — привычная ложь. Эти списки, скажу — ссыльные, кандалные списки, шли не в правительство, не с запросом, как поступить дальше, они отсылались в ЦК и на Лубянку. Люди, в волнении ждавшие ответа от ЕАК, дожидались

лишь ночных неразговорчивых посетителей, обыска, суда «тройки» и дальней дороги.

Сотни евреев из Жмеринки и ближайших местечек — всего их было около 600 человек — летом 1948 года в обращении в ЕАК заявили, «...что своей родиной считают новое еврейское государство Израиль и просят президиум ЕАК организовать помощь этому государству путем сбора средств и посылки туда людей для подкрепления еврейской армии, борющейся против арабов»<sup>1</sup>.

17 и 18 мая Хейфец по поручению Фефера отправил в Инстанцию на имя руководителя Отдела внешней политики ЦК ВКП(б) Л.С. Баранова два письма, вновь и вновь сообщая, что «в связи с событиями в Палестине в Еврейский антифашистский комитет по телефону и лично поступают заявления об отправке в Палестину в качестве добровольцев для участия в борьбе с агрессором и фашистами». Прилагались списки студентов и преподавателей московских институтов: юридического, химического, химического машиностроения, техникума иностранных языков, списки инженеров Стальпроекта, Министерства вооружений, заявления офицеров Советской Армии. «80 студентов Московского юридического института, — писал в ЕАК некто Борис Левин, возглавивший группу, — готовы к немедленному выезду в Палестину»<sup>2</sup>. «Я не националист, — писал в ЕАК капитан в отставке, участник Отечественной войны, — и считаю, что борьба в Палестине — это продолжение борьбы с фашистами»<sup>3</sup>..

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXX, л. 251.

<sup>2</sup> Следственное дело, т. XXXVII, л. 233.

<sup>3</sup> Там же.

## XXIII

Итак, не 1946 и не 1944 год, а 1943-й, когда Фефер являлся к советскому резиденту в США генералу Зарубину, отчитывался перед ним и исполнял его поручения.

Выскажу предположение: все началось гораздо раньше.

В годы «великого террора» 30-х годов волна арестов унесла немало еврейских писателей наряду с русскими, украинскими, белорусскими, грузинскими, татарскими и всеми другими без исключения. Опустошение рядов еврейских писателей больше всего коснулось, наряду с Москвой, Киева и особенно Минска. Это было грозное предупреждение, навсегда поселившее страх перед органами госбезопасности, а долгий страх исподволь отнимает силы.

17 октября 1937 года Анатолий Федорович Пятяк, заместитель секретаря Союза писателей Украины, арестованный в Киеве, показал на допросе:

*«ВОПРОС: — На предварительных допросах вы показали о причастности к контрреволюционной деятельности Ивана Ле (Мойся) и Фефера. Расскажите подробно об их антисоветской деятельности.»*

Последовал обстоятельный донос на Ивана Ле — Пятяк уверен, что Ле арестован, — а следом и на Фефера:

*— В марте месяце 1936 года Кулик, информируя меня о составе антисоветской националистической организации, в числе других ее участников назвал и еврейского писателя Фефера, заявив, что хотя Фефер — троцкист, но это не мешает ему принимать участие в работе националистической организации. Фефер был в очень близких отношениях с Куликом. Фефер написал ряд стихотворений, восхваляющих врагов — Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Рыкова... В прошлом Фефер был одним из руководителей бундовской организации в Шполе»<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXX, л. 4.

Дружба с Куликом, если Патяк не лжет хотя бы в этом, делает честь Феферу. Иван Кулик — человек острого, иронического ума, поэт недюжинного таланта, жертва ежовских застенков, один из светлых умов украинской интеллигенции. Троцкому немало восторженных пиитов в начале революции возносили хвалу в стихах, считая его вторым, после Ленина, мятежным «архитектором» революции.

В 1937 году Фефер — жертва смертельно опасного доноса. Можно не сомневаться, что он вызывался тогда в нагорную часть Киева — Липки, здание ОГПУ-НКВД, и где-то хранится протокол его допроса. Быть может, он находится в личном деле Фефера, но в следственное дело ЕАК не перенесен ввиду особого характера сложившихся тогда же или несколько позднее отношений между Фефером и госбезопасностью. Но в томе XI «Материалов по делу ЕАК» оказалась копия заметки из украинской газеты «Вісті» от 24 ноября, то есть спустя месяц после допроса Патяка. Заметка называется «Оздоровить еврейскую секцию СП Украины». *«В руководстве секции до сих пор находится Фефер и его подхалимы, — негодует анонимный автор. — Ведь Фефер активно проводил троцкистско-авербаховские лозунги в советской литературе, особенно на Украине, м е д о т о ч и л проклятому фашисту иуде Троцкому, дружил с врагами... Партийное собрание секции учло искреннее признание своих ошибок тов. Фефером и утвердило решение партийного комитета: вынести Феферу строгий выговор с предупреждением»*<sup>1</sup>.

При неперемной увязке действий органов госбезопасности и всех других советских структур, не исключая и творческих союзов (через спецчасти, спецотделы и руководителей, состоящих в партийной номенклатуре), партийная организация СП Украины могла расщедриться на такое «либеральное», пустяковое по тем временам наказание, только получив на это соизволение свыше, в том числе и от «органов». Троцкизм, Бунд, участие в контрреволюционной организации Ивана Кулика, национализм — в одном букете, хуже не придумаешь.

---

<sup>1</sup> Материалы..., т. 11, л. 322.

Но — пронесло, обошлось, и можно бы только радоваться, если бы не а з е ф о в с к о е будущее Фефера.

Борьба с «сионизмом» — постоянная забота, головная боль госбезопасности. 18 июня 1941 года, за четыре дня до начала Отечественной войны, ответственного секретаря журнала «Дер Штерн» Аксельрода Зелика Моисеевича допрашивали в Минске капитан Крупенин, начальник Первого отдела Третьего управления НКГБ Белоруссии и начальник следственной части НКГБ БССР старший лейтенант Калямин. Аксельрод напоминает о разоблачениях и арестах 1936—1937 годов: *«Первым был арестован Дунец, а затем, несколько позднее, Харик, Дамесик, Тэйф и др. Они... вели борьбу против ликвидации еврейских школ и реорганизации их в школы белорусские и русские»*. Аксельрод признается в смертном грехе: *«Как участники националистической организации я и Тэйф писали стихи, в которых сквозило упадочничество и пессимизм»* — и напоминает еще об одном участнике антисоветской организации, жителе Украины: *«Фефер Ицик — председатель антисоветской националистической организации в Киеве, бундовец, в настоящее время член Президиума Союза писателей Украины, проживает в Киеве...»*<sup>1</sup>.

Говорят: рукописи не горят. Увы, горят, и сгорают бесследно. Но, кажется, не горят и не сгорали рукописи, творимые перьями госбезопасности! Протокол допроса Аксельрода, составленный 18 июня 1941 года в Минске — в городе, который пал с непредставимой быстротой, — уцелел и был вкуче с тысячами других протоколов «эвакуирован», а затем с тою же неукоснительностью возвращен после войны в архив госбезопасности в Минске.

Почему оказалась копия этого протокола в Москве на Лубянке, в деле ЕАК?

Возможно, Фефер пока страдательная сторона, жертва оговора. К этому можно бы и не возвращаться, если бы не возникающее подозрение, что сбор «компромата» на Фефера нужен для давления на не-

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXVII, л. 17, 22.

го, чтобы повязать его страхами и заставить работать на МГБ (ОГПУ, ГУГБ, НКВД...).

Как непросто было бы ему, ч и с т о м у еще тогда Фефери, отвечать следователю госбезопасности на вопросы о Бунде в Шполе, который с годами фальсификаций превратился из крыла российской социал-демократии в чудовище конгрреволюции; о нескольких поэтических строфах, посвященных Троцкому; о поездке в Европу в 1928 году, в «так называемую творческую командировку» в Берлин; о вызове им в Берлин того самого Ойслендера и «разоблаченного Либерберга — для укрепления зарубежных связей»; о неизжитом «местечковом комплексе», в котором он публично уже винулся! Тут криминала хватило бы на два расстрела.

Но и в те времена, которых мы не вправе поставить Фефери в вину, его нравственность подвергалась испытанию и изнутри — испытанию карьеристским чувством, страстью командовать и поучать, переоценкой, по его собственному признанию 1937 года, «себя и своего творчества».

Необходимо коснуться этой стороны д р а м ы Фефера, чтобы понять, как могло случиться, что человек, спускаясь вниз и вниз, в ад предательства, мог самому себе казаться уверенно поднимающимся вверх, к успеху и к высотам некой новой «социалистической нравственности».

Разве не предавал своих сограждан и даже друзей Александр Фадеев, используя дарованную ему власть, власть якобы выборную? Разве не участвовал он в репрессиях, порой автоматически, в соответствии с партийным чином (член ЦК), визируя бумаги о состоявшихся или предстоящих арестах писателей? Разве логика страшных событий, наезженная колея соучастия в преступлениях государства не пробуждали в нем «карательной инициативы», искушения использовать свою власть для расправы с неудобными, с инакомыслящими, пусть и в области литературы?

В непомерности претензий, в ожидании воздаяния за талант не от неподкупного времени, а от властей предержавших, от державы, от конкретных властителей, уже заложено зерно аморальности, самой возможности поступиться совестью. Прожив сталинские десятилетия, мы знаем, как мало мог изменить про-

тест Фадеева трагические судьбы писателей, как почти непредставим подобный протест. И все же он должен был быть, хотя бы и в тех донкихотских формах, в каких порой все же проявлялся в эти десятилетия. Правда отнюдь не среди функционеров. Вопль, стон, самоосуждение, проклятие такой жизни со временем обнаруживались в дневниках, письмах, но только в том случае, если эта боль действительно была в человеке и рвала ему сердце.

Но была и **д о л ж н о с т ь**, «высокие гражданские обязанности», «партийный долг», уверенность в своей художественной значительности, если не величии. Вот и Ицик Фефер тешил себя иллюзией литературной исключительности, своего мирового поэтического главенства — разумеется, в еврейской поэзии — рядом с «отсталыми» Бяликом и Фругом, «залившими слезами» всю еврейскую поэзию! Фефер на следствии и даже на суде, в присутствии таких поэтов, как Маркиш или Гофштейн, все твердил о 30 своих поэтических книгах. Кажущаяся ему огромность личного вклада в сокровищницу еврейской поэзии должна была как-то заслонить, закрыть неприглядность, уродство судьбы, черноту поступков, объяснить нелюбовь к нему почти всех известных еврейских писателей, «з а в и с т ь» таких поэтов, как Маркиш, Галкин или Квитко. Даже в уже цитированном мною его письменном обращении от 9 июля 1952 года в Военную коллегию Верховного суда СССР он хочет уравновесить страшные, опустошительные признания значительностью своих поэтических успехов. *«Мои песни, — утверждает он, надеясь, что это задержит карающую руку, — распеваются еврейскими трудящимися во всех странах, и я являюсь первым пролетарским поэтом в СССР»*<sup>1</sup>. И в последнем слове на суде Фефер говорит о значительности своего поэтического вклада. *«В течение 30 лет я имел счастье воспевать героический труд советского народа и больше писал о России и Украине, в чем меня некоторые даже обвиняли»*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Дополнительные документы, т. 7, л. 254.

<sup>2</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 128.



Фефер привыкает ко лжи, она кажется ему неприменным условием бытия и собственного его существования. Клеймя старых еврейских писателей, тех, кому было уже за пятьдесят, за то, что они не сражались на фронте, о себе он сообщает коротко: «Я эвакуировался из Киева в Уфу». Но почти два месяца (ровно 50 дней) он был среди нас на Юго-Западном фронте, в одном из подразделений Политуправления, куда входили фронтовая газета «Красная Армия», радиовещание, ансамбли, театр Киевского Особого военного округа и т.д. Он был откомандирован или списан в тыл в трудные дни, незадолго до сдачи Киева, в дни предпринятого немцами окружения наших частей на левобережье Днестра. Нам объявили причину его отъезда: выпадение прямой кишки — диагноз, не вызвавший ни у кого сомнения.

Фефер отбыл в Уфу к семье. В материалах дела ЕАК однажды промелькнуло другое объяснение демобилизации Фефера: острый аппендицит, но сам Фефер предпочел считать, что этих пятидесяти дней, драматических дней, навсегда врезавшихся в нашу память, попросту не было, а был отъезд из Киева в Уфу.

Предположение о давнем сотрудничестве Ицика Фефера с органами госбезопасности в свете и этих событий не кажется преувеличенным: он мог до войны быть «не востребованным» службами ГБ, но осенью 1941 года, с созданием ЕАК, уже представлял интерес для этой службы. Он оказался идеальным консультантом по писательским персоналиям: знал не очень многочисленные книги прозы и поэзии на идиш, знал людей, причем тем пристальным, завистливым знанием, которое искусно выбирает все, что может быть поставлено в вину при искаженном взгляде на прошлое народа, на его местечковый быт, веру, обряды. Согласившись с тем, что счастливое будущее евреев Советского Союза — в их растворении, что ассимиляция как естественный процесс, знакомый не только евреям рассеяния, массовых миграционных процессов, может и должна проводиться жестко и направленно самим государством, с подавлением всяких признаков национального, Фефер сделался преследователем не только Библии, но и народного быта, его поэтических обря-

дов, всех живых красок его прошлого. Решительно все стало считаться у «феферистов» национализмом: от самого наименования «хасид» до свадебного танца «фрейлахс». Ассимиляция, как свободное дыхание, скреплявшая союзными узами народы, дарившая поэзию смешанных браков, к которым человечество всегда будет тянуться по законам естества и Божьему соизволению, в истолковании Ойслендера и Фефера превратилась в казарменно-обязательное исполнение «предначертаний партии». Законопослушный еврейский поэт и драматург не смеет писать о вожде восставших против римлян иудеев Бар Кохбе, мечтавшем о еврейском государстве и создавшем его на недолгое время. Зачем будоражить зрителя? Зачем упоминать имя побежденного Амана? Великий Рембрандт имел право увлечься фигурами Амана, Эсфири и Артаксеркса. Целую картинную галерею заняли бы полотна на тему жертвоприношения Авраама. В глубины тысячелетия уходит трагедия Судного Дня — человечеству доступна эта сокровищница образов, сюжетов, идей. Запретной ее сделали только для еврейских писателей!

*«Что это за большевики, — воскликнул в сердцах генерал-лейтенант Чепцов, допрашивая на суде Лозовского, — которые утверждают, что у нас еврейская проблема не решена?!»* Всякий раз, когда Чепцов впадал в такое недоумение, это говорил не лицемер, а слепец, сбитый с толку постулатами сталинской пропаганды и постыдным прислужничеством «феферистов».

Куда бы ни проник скальпель а н а т о м а, склонившегося над бездыханным телом ЕАК, он падает в Ицика Фефера. Все пронизано и все начинено им: маленький честолюбец, всю жизнь страдавший от непризнания собратьев по перу — во всяком случае, писательской элиты, — мечтавший шагать во главе колонны еврейских писателей страны, пусть даже ценой того, что колонна сократится вдвое и многим будет не позволено шагать в рядах «чистых», что упадет наземь строевой лес и останется искалеченный подлесок. Живой, подвижный провинциальный поэт, при погромщиках скрывавшийся в Киеве под кличкой Кац, в годы НЭПа обзаведется новым псевдонимом, более благозвучным и подходящим для

деятеля профсоюза работников искусств. Тогда в Киве он станет Зориным, сохранит это имя на старых удостоверениях и справках, в своей памяти, а спустя годы предложит этот псевдоним госбезопасности. Только при ком: Меркулове? Берии? Абакумове?

Не прибавляя к биографии Фефера ничего от себя, я в то же время не могу отделаться от ощущения, что сама история сотворила этот абсолютно классический сюжет предательства — сюжет настолько современный, что трудно удержаться от искушения приняться за психологический роман.

Фефер идет на предательство, как на подвиг: он демонстративно берет для низкой роли осведомителя имя времен своей молодости, своего первого большого жизненного успеха. Тысячи киевлян знали молодого, губастого, лысеющего поэта, острого на язык полемиста, человека находчивого ума и располагающей улыбки. Получается, что на Лубянку он идет, не особенно таясь, не конспирируясь: разгадать кличку Зорин под силу слишком многим. Он будет докладывать начальству п р а в д у, только правду, ничего, кроме правды, а правда ведь не нанесет вреда невинным, напротив, она может помочь, оградить от провокаций и наветов. Его призвали как честного, правоверного коммуниста, другие здесь, в орлином гнезде Дзержинского, не нужны: сообщая правду, он останется все тем же незапятнанным Зориным 20-х годов. А что, как он окажется первым в истории человечества тайным агентом-спасителем, ангелом-хранителем своих товарищей и коллег!? Как хорошо бы спустя время открыть карты, показать, как бесстрашно прошел он по краю бездны...

Чем это обернулось, мы знаем. Смерть, смерть и опустошение, передача в беспощадные руки списков тех, кто, движимый иллюзиями, романтическим порывом, жаждой сражаться против британских колонизаторов, обратился в ЕАК за советом и помощью. ЦК ВКП(б) получал первые экземпляры списков, и если Сталин снисходил до ознакомления с ними, то нетрудно вообразить, какую ярость вызывали в нем столбцы еврейских фамилий и то, что среди рвущихся в добровольцы много участников войны, много молодых, особенно студентов.

Именно потому, что преступление Фефера не ложится в привычные уголовные рамки и тесно связано с политикой, с волной антисемитизма, захватившего и низы, а еще в большей мере — верхи, мы, в связи с делом ЕАК, о б р е ч е н ы Феферу, исследованию этой личности.

Я мог бы долго приводить ненасильственно данные им показания на всех сколько-нибудь значительных еврейских писателей и деятелей культуры, настойчивое причисление их к «националистам», «бундовцам», «сионистам», «антисоветчикам» (хотя бы в прошлом!). Особенно яростные инвективы его — в адрес поэтических соперников — Маркиша, Галкина, Гофштейна и Квитко. Мог бы напомнить его попытки приписать национализм многим литераторам, писавшим на русском, таким, как Эренбург или Маршак, Маргарита Алигер или Леонид Первомайский, — националиста он готов был признать в каждом, кто по рождению, по крови еврей, парадоксально совпадая в этом с философией комаровых и рюминых, с их взглядом на еврейский народ. Причислив к националистам даже старшего следователя прокуратуры СССР Льва Шейнина, Фефер обличает его попытку создать в драме образ «...якобы невинно пострадавшего Бейлиса». Стоило знаменитому скрипачу Иегуди Менухину выступить по радио с критикой постановления ЦК ВКП(б) о музыке, выступить в защиту Прокофьева и Шостаковича, как Фефер, чуткий барометр «партийности» в искусстве, печатает статью «По чьим нотам играет Иегуди Менухин». Он неутомим в стремлении опрокинуть устоявшиеся авторитеты, показать, что за «личинами» знаменитостей стоят недоброжелатели советского строя, скрытые националисты.

В новом мундире заместителя министра МГБ Рюмин требовал, чтобы суд над руководителями ЕАК вершился скоропалительно, ограничиваясь давними, давно опротестованными признательными протоколами: ведь об отказе от своих прежних показаний заявили все арестованные. Однако это не докладывалось ЦК, все протесты скрывались, упрятанные в сейфах Рюмина и Гришаева. Судебное дело, на взгляд Рюмина и министра Игнатьева, шло преступно медленно, позволяя

подсудимым подтвердить свои новые показания вескими доказательствами, перекрестными допросами, ссылками на документы. Рюмин тайно добывал копии стенограмм судебных заседаний, бил в набат, шантажировал подсудимых, пользуясь тем, что судебные заседания проходили в здании МГБ.

Для Фефера процесс превратился в долгую публичную казнь. Сначала он убедился, что ненавидим всеми, но странным образом преданные им стали терять к нему интерес, словно решив, что он достоин только презрения. Он почувствовал, что и судьи не расположены к нему, что, сделав так много для успеха следствия, он и сам может ждать сурового приговора. Неужели судьи не подозревают о его о с о б о й роли? Неужели ничто ему не зачтется? Может ли быть, чтобы высокие юридические чины Военной коллегии не знали маленьких тайн Лубянки?

Закончились многодневные допросы, подсудимым позволено сделать дополнения к судебному следствию — их последнее слово впереди. Дополнение, с которым первым выступил Фефер, явилось, в сущности, отрицанием всех его прошлых признаний. В продолжительной речи он старался снять с себя обвинения в шпионаже и измене Родине. Как бывший редактор «Эйникайт», а затем деловой руководитель ЕАК, он отрицал факт создания особой корреспондентской сети для снабжения американцев и всего буржуазного Запада секретными сведениями об СССР. Отказался от давнего своего обвинения Соломона Михозлса в руководстве журналистами «Эйникайт» и инструктаже их с целью активизации шпионской работы. *«Ни одна статья, — утверждал он теперь, — не была отослана без разрешения Главлита или контрольной редакции ЦК ВКП(б)»*<sup>1</sup>. С неожиданной резкостью напал он на «ложные и недобросовестные» выводы экспертизы, касающиеся как политики, так и чисто литературных вопросов. *«Эксперты, — по словам Фефера, — подошли к делу тенденциозно»*. Подробно и совсем по-другому, чем прежде, была изложена поездка

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 49.

в США: исчезли сговор с реакционерами Америки (даже не упоминался «крымский проект»), обязательство верой и правдой служить заокеанским хозяевам — все то, о чем прежде подробно и добровольно показывал следствию Фефер. Теперь он говорил о том, как славно потрудились они с Михозлсом в *«интересах страны и победы над фашизмом»*, как *«были использованы в этих интересах все без исключения встречи его и Михозлса во время их поездки 1948 года»*. Напомнил, что их вызывал в Вашингтон Громыко и объявил, что ими *«проведена большая работа, которая вызвала огромную симпатию к СССР»*<sup>1</sup>. Фефер проникся вдруг несчастной судьбой Эмилии Теумин, оговоренной им же, и, сжалившись над ней, заявил, что отрицает *«какие-либо разговоры с Теумин, направленные против Советского правительства. Мы с Теумин почти незнакомы»*, — признавался он.

Поздно! Непоправимо поздно. «Бомба» не взорвалась, подсудимые не умилились речью Фефера, не покаянной по тону, а деловой, собранной — будто все недоброе о журналистах, к этому времени уже расстрелянных Персове или Мириам Железновой-Айзенштадт, о Михозлсе и множестве других сочинил не он, а кто-то другой.

Суду было уже не до откровений Фефера. Его давние показания, хотя и опровергаемые в ходе суда подсудимыми, легли в фундамент всего обвинения, и было бы безрассудно, на взгляд Лубянки, разрушать это основание.

Фефер обнаружил, что его речь не услышана. Не оспорена, просто не услышана, ибо время миновало, суд шел к концу, и за Фефером закрепились преступления, в которых он признался 13 января 1949 года и подтверждал неизменно год за годом.

Он не услышан, он — шпион, руководитель антисоветского националистического подполья. Здесь не прочтешь вслух поминального панегирика Михозлсу, в о р г а н и з м следствия и суда вживлены другие, злобные оценки выдающегося художника сцены: «матерый националист», «маленький националистический вождь

---

<sup>1</sup> Там же, л. 55.

еврейского народа», «борец против ассимиляции», «ненавистник партии», превративший «еврейский театр в антисоветскую трибуну», «в орудие нашей враждебной работы». *«Михоэлс не раз говорил мне, что еврейский театр — это наша повседневная трибуна для националистической пропаганды»*, — показал Фефер майору Кузьмину 18 декабря 1950 года. Ложь трех с половиной лет ни стереть было; ни вывести, как случайное пятно.

Фефер заметался. Надо дать знать судьям-генералам, кто он. Процесс показал, что Лубянка хранит свои тайны глухо. Суд и Лубянка не «дружат», и не сразу поймешь, хорошо это для него или плохо, дает надежду или отнимает ее. Хотя заседания проходят на Лубянке, Чепцов и его генералы не знают всей правды, не учитывают, что Фефер говорил по долгу службы то, чего требовал от него Абакумов, а следом и Лихачев, и Комаров, и Рюмин, и более всего — Инстанция. Он не смел послушаться, он боялся, у него не было другого выхода...

Фефер настойчиво попросил закрытого заседания суда, и 6 июля, удалив всех других подсудимых, суд слушал его.

*«Я хочу сообщить суду, — начал он, — что еще в 1946 году я по просьбе представителей органов МГБ сообщал им, время от времени, о настроениях еврейских писателей и других граждан. [Сколько их было, этих «других граждан», загубленных, пропавших в лагерях и на поселении! — А.Б.] Свои сообщения я подписывал своим литературным псевдонимом — Зорин».*

Опускаю известные читателю слова Фефера о его связи, по прибытии в США, с руководителем советской резидентуры генералом Зарубиным, о согласовании с ним и Клариним всех действий. Опускаю и запоздалые признания, что «сплошным вымыслом» являются его показания о Гольдберге как шпионе и разведчике; его заявление о том, что он пытался избежать оговора честного, прогрессивного деятеля Америки, но, «боясь реализации угроз Абакумова и Лихачева, стал подписывать протоколы». Закрытому заседанию суда Фефер сообщил: *«Абакумов требовал, чтобы я рассказывал ему о Л.М. Кагановиче и его отношении к вопросу о Крыме. Спрашивал о Мехлисе, правда ли,*

что американцы звали его в Америку? Лихачев спрашивал о нашей беседе с В.М. Молотовым по вопросу создания еврейской республики в Крыму и о его отношении к этому вопросу, сказав, что подробно меня будет допрашивать об этом Абакумов. Абакумов требовал, чтобы я подтвердил на допросе с участием представителей ЦК ВКП(б), что я видел в Москве в синагоге Жемчужину. Я был настолько запутан, что на состоявшейся в ЦК очной ставке с Жемчужиной подтвердил, что видел ее в синагоге, хотя этого не было в действительности. Вымыслом следователей является и тот факт, что якобы Жемчужина обвиняла в разговоре со мной И.В. Сталина в плохом отношении к евреям. Я от Жемчужиной, с которой, кстати, никогда не разговаривал вообще, таких разговоров не слышал»<sup>1</sup>.

Жемчужина — предмет особых страхов Фефера, и не только его. Дирижируя наглыми, инсценированными очными ставками с ней в помещении ЦК и на Лубянке, Абакумов не упускает из виду, что она — жена В.М. Молотова (характер формального развода, поспешно осуществляемого, ясен всем) и потому необходима осторожность.

В письменном заявлении Фефера судьям от 9 июля 1952 года, накануне второго закрытого заседания и последнего слова подсудимых, он вновь возвращается к Жемчужиной: «...во время «репетиции», накануне очной ставки с Жемчужиной в ЦК ВКП(б), когда Абакумов задавал мне вопросы, которые примерно могли быть мне поставлены во время очной ставки, редактируя мои ответы, настаивал на том, что Жемчужина будто бы сказала, что «Михозлс убит Советской властью». Я не помню, вошла ли эта страшная фраза в протокол очной ставки и в так называемые мои показания. Если да, то прошу считать эту фразу навязанной мне, т.к. я ни от Жемчужиной (которую я впервые увидел в лицо на очной ставке), ни от других лиц, беседовавших с ней, ничего подобного не слышал...»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Судебное дело (Особые материалы), т. 8, лл. 1—4.

<sup>2</sup> Там же.



*«О Лозовском мне никогда ничего не было известно, — признался Фефер под конец заседаний суда, — и потому я о нем прежде органам МГБ ничего не мог сообщить».*

Лозовский — подарок ЦК ВКП(б) Лубянке, человек, ненавидимый Шкирятовым и со злорадством принесенный в жертву Сталиным: должен же кто-нибудь «солидный», из высокой номенклатуры, из ленинской когорты «изменников», стоять во главе серьезного заговора, освещая его своими сединами, ошибками далекого прошлого и еврейской кровью, так подходящей для данного случая. Абакумов принял подарок Инстанции, а честь преподнесения следствию была предоставлена Феферу.

Не возвращаясь больше к Михозлсу, Фефер неожиданно заявил на суде 10 июля 1952 года: *«Я категорически отрицаю какую-либо преступную связь с Розенбергом по вопросу заселения Крыма евреями и создания там республики».* И это откровение Фефера не могло никого удивить после того, как Лозовский неопровержимо доказал несостоятельность версии «крымского заговора». *«Следователь Лихачев на предварительном следствии говорил мне, — жаловался Фефер, — ...если мы вас арестовали, то найдем и преступление... Мы из вас выколотим все, что нам нужно. Так это и оказалось на самом деле. Я не преступник, но, будучи сильно запуганным, дал на себя и других вымышленные показания».* Фефер, однако, и намеком не затрагивает полковника Рюмина, одного из главных преступников оголтелой, на уничтожение, войны Инстанции и Лубянки против евреев, а как он резок в оценках Абакумова и Лихачева, зная об их аресте!

Трагедия доигрывается, движется к развязке, Фефер не чувствует никакого «потепления» по отношению к себе. И 10 июля он вновь один перед судом, снова закрытое заседание по его просьбе.

Стараясь смягчить свои разоблачения «национализма» и «националистов», он заявил, что продолжал на суде лгать, будучи под впечатлением разговора с Кузьминым, так как *«не хотел оказаться в положе-*

нии Шимелиовича»<sup>1</sup>. «Положение Шимелиовича» расшифровывается просто: это значит быть битым смертельно, до полной потери человеческого облика. Разговор с Кузьминым, на который ссылается Фефер, требует пояснения: подлинные слова Фефера были приведены Комиссией по проверке дела ЕАК в допросном протоколе Н.М. Коняхина (октябрь 1955 года). *«Я на суде старался держаться своих показаний, данных на предварительном следствии, — признавался Фефер. — Случилось это потому, что за 3 дня до суда меня вызвали в следственную часть МГБ СССР на очную ставку со Збарским, а потом сначала Кузьмин в присутствии Жирухина, а затем Коняхин предупредили меня, что на суде я должен давать такие же показания, как и на следствии»*<sup>2</sup>.

10 июля Фефер попытался заступиться и за комитет, заявив, что *«ЕАК не был националистическим центром... Вопросом благоустройства евреев занимался лично Михозлс, и к деятельности президиума ЕАК это не имеет никакого отношения»*. Таким образом, неконституционными актами — «благоустройством» евреев и защитой их гражданских прав и имущественных интересов — занимался, мол, один Михозлс, в силу своего личного авторитета бросавший вызов властям, — с мертвого взятки гладки! Комитет этим не занимался, напротив, комитет отсылал списки плохих евреев на Лубянку и в ЦК.

Доносительский зуд не преодолен и в нескольких, писанных от руки карандашом листах, посланных вдогонку судьям. В новом заявлении — упоминание об инженере Рогачевском, замыслившем создание добровольческой еврейской дивизии и направлении ее в Израиль; напоминание, что и это заявление Рогачевского он передал в МГБ, в подтверждение своей пожизненной борьбы с «националистами», чьи лживые жалобы на советские органы он *«или посылал местным властям, или передавал в МГБ»*.

---

<sup>1</sup> Там же, л. 69.

<sup>2</sup> Материалы проверки по делу Лозовского С.А., Фефера И.С., Маркиша П.Д. и др., т. 1, л. 229.

Письменное заявление Фефера и показания на двух закрытых заседаниях суда поставили главного судью Чепцова в трудное положение. Он судил людей, которых мог бы, не покрывив душой, обвинить в слепоте, в измене марксизму-ленинизму в национальном вопросе, в непонимании того, что подлинное счастье их народа — возможно полная и быстрая ассимиляция, в неспособности стряхнуть с себя «ветхого Адама», понять, что интерес к Библии — болезнь, ущербность, уступка чуждой идеологии, что они в слепоте своей живут не на той улице, где пристало жить советскому писателю. Криминальной вины за ними не было, все тяжкие обвинения — шпионаж, измена, разглашение государственных секретов, план злодейского отторжения Крыма — все обернулось химерами. Архив ЕАК и газеты «Эйникайт» годы пролежал неразобранным, все, что было на удачу выдернуто из него и в русских переводах, в копиях без дат и подписи передано экспертам, не содержало ни клеветы на СССР, ни попыток разглашения каких-либо тайн.

Вставали ли перед Чепцовым кровавым укором видения тех, кого он два года назад приговорил к казни нерассуждающим судом, не дав себе труда расследовать, были ли статьи Самуила Персова о Московском автозаводе имени Сталина актом шпионажа и измены, много ли выиграли империалисты США, узнав из его статьи, что начальником инструментального цеха автозавода является еврей Сегалович и какова технология изготовления сукна на фабрике «Освобожденный труд». Не дав себе труда разобраться, чем же, собственно, могли повредить стране очерки Мириам Айзенштадт о евреях — Героях Советского Союза? Теперь, в долгом слушании дела ЕАК и газеты «Эйникайт», обнаружилось, что обвинения казненных журналистов — блеф, провокация, за которую надо бы судить клеветников, но поздно.

Мог ли Чепцов не увидеть и не понять, что нынешний лубянский мор направлен против людей одной крови? Что же тут диковинного: партия и Верховный суд доверили ему судить людей, по доброй воле выделивших себя в некую национальную организацию, центр еврейского буржуазного национализма.

Они же сами обособились, мог успокаивать себя генерал-лейтенант Чепцов, если его совесть искала успокоения, они сошлись для дела, на которое не позовешь людей другой национальности.

Были, были основания для самоуспокоения судьи: ведь в те же годы, месяцы и дни карательный аппарат работал без устали, перемалывая тысячи и десятки тысяч жизней. Абсолютные цифры тогда, в пору антиссионистской истерии, подтвердили бы, что невинно казненных людей других национальностей по числу куда больше, чем обреченных гибели евреев. Только внимательный и непредвзятый взгляд определил бы две особенности дела ЕАК и ряда выделенных из него слушаний Особого совещания: то, что репрессии захватили в е с ь фронт еврейской культуры, всех ее мало-мальски известных деятелей, и то, что в основе преследования не конкретные преступления законоотступников, а требование безоговорочной, по милицейскому свистку, ассимиляции.

За два месяца судебного разбирательства Чепцов пригляделся к подсудимым и, как показало дальнейшее, проникся к ним уважением. Голос Чепцова, если внимательно вчитаться в стенограммы судебных заседаний, все более терял резкость или обвинительные интонации. Рутинная судоговорения двигалась к концу, несостоятельность всех обвинений, кроме расплывчатого обвинения в «националистических настроениях» и «национальных пристрастиях», становилась все более очевидной. Заявления Фефера, собственноручное и те, что застенографированы на двух закрытых заседаниях, поставили последнюю точку.

*«...На мои требования к Рюмину и его помощнику Гришаеву представить нам [судьям. — А.Б.] доказательства Рюмин и Гришаев от этого уклонились, — писал Чепцов министру обороны СССР маршалу Г.К. Жукову пять лет спустя. — Ясно, что выносить приговор по этому делу при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя».*

Генерал-лейтенант юстиции Чепцов прервал процесс, добиваясь возвращения дела на исследование.

Сегодня мы понимаем, что исследование — по обстоятельствам времени — могло подарить всем обви-

няемым жизнь и свободу. Ведь через семь месяцев умер диктатор, главный заказчик сатанинской «музыки», и они были бы спасены так же, как и врачи — «убийцы в белых халатах», чье дело усилиями Рюмина уже формировалось, просвечивало во многих допросных протоколах дела ЕАК.

Случилось иначе.

## XXIV

12 июля 1951 года, ровно за год до того, как генерал Чепцов попытался, не вынося приговора, возвратить дело на доследование, был арестован Виктор Семенович Абакумов. Представительный, гвардейских статей вельможа, так умело скрывавший за лихим грозным фасадом бескультурье и даже невежество, был отправлен в тюрьму по доносу коротышки Рюмина, которого Сталин, прогоняя через короткое время из МГБ, презрительно назовет «шибздиком». Человек еще более темный, чем его властный шеф, Рюмин был, однако, наделен злодейским воображением, неутолимым честолюбием и особой энергией разрушения.

Справедливо не раз уже высказанное предположение, что за Рюминым должен был стоять кто-то влиятельный и сильный, заинтересованный в устранении Абакумова, кто-то игравший свою игру рядом со своевольным диктатором. Известно, что, раздраженный промахами МГБ, недовольный и Берией, Сталин сказал: «Это Берия нам подсунул Абакумова...» Быть может, Берия действительно одобрительно отозвался о молодом бравом начальнике СМЕРША Абакумове, всю войну бестрепетной рукой, по первому подозрению расстреливавшем правых и виноватых, руководствуясь известным правилом: «война все спишет». Начальник СМЕРША — Главного управления контрразведки РККА, не был конкурентом Берии: фронт — огромная, но все же другая галактика. Преуспевшего в войну Абакумова Берия вполне мог поддержать как кандидата в министры госбезопасности, рассматривая его в перспективе как своего человека.

Сложилось по-другому: Абакумов уже в силу должности приобрел особый вес рядом со Сталиным,

которому повсюду чудились террористы и заговорщики. Абакумов расположил к себе Жданова, их отношения вызывали беспокойство не только Берии, но и Маленкова. Не исключено, что Берия знал о хранящихся в сейфе Абакумова жалобах потрясенных отцов или мужей женщин, ставших жертвами сексуального разбоя Берии. Зачем их держит у себя Абакумов? Почему не принесет эти письма Берии со словами дружбы и верности: «Возьми, Лаврентий Павлович! Только не трогай этих людей; сожги и забудь...» Абакумов любит эпизодические роли благодетеля, любит помилосердствовать на грош!

Не имея документального подтверждения, не скажешь с уверенностью, что именно Берия подтолкнул Рюмина на дерзкий выпад против своего министра. Возможно, эту роль сыграл Шкирятов, человек, олицетворявший для МГБ первую и важнейшую для начала любого карательного дела ступень Инстанции. В деле ЕАК его роль весьма заметна: он проводил и свое, партийное дознание над жертвами, доставленными в ЦК уже после палаческой обработки, учинял очные ставки Полине Жемчужиной в своем служебном кабинете. Абакумов не отваживался третировать его, но все же высокий ранг министра госбезопасности позволял прямой выход на Жданова, пока тот был жив, на Маленкова и на Поскребышева. Бравый, с привлекательной внешностью Абакумов раздражал упыря Шкирятова. Он вполне мог вызывать в нем те чувства, которыми исстрадался «шибздик» Рюмин, прозябавший в МГБ на вторых и третьих ролях, в чине подполковника, тогда как иные, покровительствуемые Абакумовым, в том числе и ненавистные Рюмину Шварцман с Броверманом, раньше срока были представлены к чину полковника.

Мстительный Рюмин вел счет ошибкам и слабостям Абакумова, в кулуарах министерства разнюхивал о награбленных трофейных и прочих ценностях, собранных на квартире и даче министра. Но многое мог подсказать ему Шкирятов. Зная обо всех крупных следственных делах — о «ленинградском деле» 1949—1950 годов, о «деле ЕАК», — Рюмин не мог проследить, какие же из материалов Абакумов отсылал в ЦК ВКП(б),

а какие оставлял в сейфе, подолгу задерживая и даже не оформляя до конца. Шкирятов помнил об очных ставках П.С. Жемчужиной, но не все протоколы этих очных ставок пришли в Инстанцию: в этом нетрудно было углядеть колебания, неуверенность Абакумова. Обойденный Рюмин, ненавидевший не только Абакумова, но и «ученых» полковников, потешавшихся над записями и слогом коллеги, озлобленный, исполнительный, готовый на крайности, — Рюмин вызывал брезгливое расположение Шкирятова.

Дело ЕАК и «ленинградское дело» создали выигрышную позицию для атаки на Абакумова, для верно-подданнического письма Сталину, на которое, рискуя головой, и решился Рюмин. Арестованный вскоре после смерти Сталина, Рюмин дал следствию уклончивый ответ на вопрос, что его заставило напасть на Абакумова: *«На первый взгляд мой поступок может показаться нелогичным, но я все тщательно обдумал и взвесил. Дело в том, что к лету 1951 года я очутился в довольно неприятном, шатком положении. Помимо объявленного мне по партийной линии взыскания за допущенную мною халатность, в конце мая Управление кадров МГБ заинтересовалось неправильными сведениями, которые я давал о своих близких родственниках. От меня потребовали объяснения — почему я скрываю компрометирующие данные о них? 31 мая я написал рапорт, однако и в нем скрыл, что мой отец торговал скотом, что мой брат и сестра осуждены за уголовные преступления, а мой тесть Паркачев в годы Гражданской войны служил интендантским офицером в армии Колчака.*

*Обдумывая сложившееся положение, я пришел к выводу, что мне... удобно выступить в роли разоблачителя Абакумова. Так я и поступил, обвинив Абакумова не в известных мне фактах фальсификации следствия, а в смазывании дел, и прежде всего в злонамеренном сокрытии показаний по террору»<sup>1</sup>.*

Эти слова — свидетельство изворотливости и лисьей хитрости Рюмина. Ему, запертому в камере после смерти Сталина, неизвестно, что творится на

---

<sup>1</sup> Цит. по: К. С т о л я р о в. Голгофа, с. 26.

воле: всемогущ ли Берия? Что с Маленковым? На месте ли Шкирятов? За что будут казнить завтра чекистов — за попустительство ли ненавистных ему евреев, за «смазывание» их дела или же за фальсификацию следствия над ними? Он даже не поручится, не открылись ли двери узилища перед бывшим министром, который все еще жив. Изгнанный из МГБ, определенный в «бухгалтерские» чины третьеразрядного наркомата, Рюмин, используя все свои связи, узнавал, шлепнули ли уже Абакумова или он все существует некоей непостижимой угрозой ему, Рюмину.

Он все взвесил и решил, что выступить в роли разоблачителя Абакумова ему «удобно». Если он и впрямь клеветник-одиночка, то надо признать, что его посетило «божественное вдохновение», осенило его, мблнца 1913 года рождения, с незаконченным высшим образованием. 99 шансов из 100 были за то, что его донос попадет не к Поскребышеву и Сталину, а на стол Абакумова.

Послушаем бодрый голос Рюмина, как он звучал в августе 1951 года после ареста и начала следствия над Абакумовым, которым занялся сам Рюмин с яростью и озлоблением, сравнимым разве что с насилием над Шимеловичем.

*«...По некоторым серьезным делам расследование проводилось поверхностно, преступная деятельность врагов Советского государства полностью не вскрывалась и было много случаев, когда особо опасные государственные преступники не разоблачались до конца, забрасывались и не допрашивались месяцами, а то и годами... Такое положение имело место по делам врагов Советской власти, еврейских националистов — Лозовского, Штерн, Шимелиовича и др.<sup>1</sup>, следствие по делу которых больше года уже вообще не ведется». Затем Рюмин, жестокий палач, раздавливавший каблуком сапога пальцы рук под-*

---

<sup>1</sup> Характерно, что Рюмин не называет главного «националиста» — Фефера, а упоминает двух ненавидимых Шкирятовым: Лозовского и Шимелиовича, которых тот лично допрашивал в ЦК.



следственных, забегая вперед и сбрасывая все вины на Абакумова, заявил: «К числу грубейших нарушений советских законов надо отнести также самовольные, никем не санкционированные избиения арестованных»<sup>1</sup>.

От позы строгого судьи Абакумова и его клики — Леонова, Комарова, Лихачева, Шварцмана, Бровермана — Рюмин не откажется и на допросах 1954 года, куда его приводят уже из тюремной камеры. Но голос его и тактика заметно меняются: Молотов тревожит его память, он все еще номинально второй человек в державе, а Рюмину хочется выжить и жить — ему жить на этой земле, а не презренным евреям с Талмудом под мышкой, ему, зятю интенданта Паркачева, сражавшегося за Русь под знаменами верховного правителя Колчака.

*«Должен признать, что в 1952 году, когда я являлся уже заместителем министра Госбезопасности, я запретил передопрашивать арестованных и записывать их отказ, потребовав, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее. Признаю также, что, когда суд пытался возратить это дело на доследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в деле материалам»<sup>2</sup>.*

Это признание отнюдь не покаянное — ничуть не бывало! В ослеплении ненавистью, готовый поверить любым обвинениям в адрес целой нации, он настаивал на сатанинском своем безумии, несмотря на смерть Сталина, от которого прежде ждал прощения и спасения в награду за эту безоглядную ненависть. Он признается в поступках, безусловно известных допрашивающему его генерал-лейтенанту юстиции Вавилову, заместителю Генерального прокурора СССР, — скрывать эти факты было безнадежно.

В конце 1954 года (вспомним, что Абакумов еще жив, он будет расстрелян в декабре) Рюмину напомнили о многократных протестах доктора Шимелиовича

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, лл. 1—2.

<sup>2</sup> Там же, л. 8.

по поводу того, что так называемый «обобщающий протокол» рокового для него допроса от 11 марта 1949 года был сфальсифицирован Рюминым. В этом протоколе, напомнили ему, содержится явная провокация в отношении Жемчужиной П.С. и «брошена тень на одного из членов Советского правительства». Из самого вопроса Рюмину можно было понять, что Жемчужина уже не в «заговорщиках», что обвинение ее, настойчиво фабриковавшееся Абакумовым при участии самого Рюмина, расценивается теперь как провокация. Чья-то интрига по дискредитации и устранению Молотова не удалась, но Рюмину не забыть, как упрямо и настойчиво искал Абакумов компромат на Молотова. Следователям вменялось в обязанность прощупывание на допросах и других политических фигур, от рабелепствующего прихвостня Сталина Мехлиса до члена Политбюро Кагановича. Все это были евреи, и требовалось только время и терпение, чтобы добыть улики и на «сиятельных», доказать, что коллективная вина евреев не миф, но реальность, а где коллективная вина, там неотвратима и «коллективная ответственность». На этот счет у Рюмина сомнений не было, но Молотов — русак, кажется, из дворян, предавшихся революционной идее. Но и на нем была вина — женитьба на еврейке. Рюмин был из тех охотнорядских «идеологов», кто верил, что у них, у «этих», своя злодейская программа: внедрение еврейских жен в семьи выдающихся деятелей России.

*«Шимелиовича дважды вызывал к себе в кабинет бывший министр Госбезопасности Абакумов, — сказал Рюмин. — При последнем вызове Абакумов в моем присутствии заявил Шимелиовичу, что если он прекратит сопротивление и расскажет о совершенных преступлениях, то ему будет сохранена жизнь и он — Абакумов — устроит его работать в лагерной больнице... Абакумов спросил у Шимелиовича о характере связи Жемчужиной с руководителями ЕАК и о роли в так называемом «крымском вопросе» одного из руководителей Советского правительства... При рассмотрении дела ЕАК я усмотрел определенное стремление бывшего руководства МГБ СССР в лице Абакумова к компрометации од-*

ного из руководителей партии и правительства. Особенно это было видно из характера одного из допросов Жемчужиной. «Непосредственно делом Жемчужиной занимались заместители начальника следственной части: Лихачев, Комаров, Соколов и следователь Кузьмин... По этому вопросу (о Жемчужиной) я рассказывал в 1951 году в ЦК КПСС и к основному своему заявлению от 2 июля 1951 года написал в адрес Главы Советского правительства специальное заявление»<sup>1</sup>.

Рюмин не прочь изобразить себя защитником достоинства и чести Молотова, отмежеваться от тех, кто разрабатывал преступную интригу против Жемчужиной. На деле же он был одним из самых безоглядных исполнителей воли Абакумова, снедаемый завистью к удачливым полковникам, тем, кто стоял ближе к министру.

Инстанция с головой выдала Жемчужину Лубянке, причем в удобную для допросов пору, когда под рукой у Абакумова в камерах Внутренней тюрьмы, Бутырок и Лефортова — цвет еврейской интеллигенции и приказано всех бить смертным боем для достижения «истины». Долго накапливалась ненависть Сталина к Жемчужиной, женщине, сохранявшей живость и привлекательность, одной из последних, если не самой последней, кто общался с Надеждой Аллилуевой перед ее самоубийством, женщине, ухитрившейся не отцвесть рядом со своими унылым, скучным, «вицмундирным» мужем, — ненависть к ее то и дело мелькавшему в газетах имени.

Сталин отдал ее на заклятие, а Лубянка не справилась со своими карательными обязанностями, ЦК пришлось подсказывать меру наказания Жемчужиной и удовлетвориться ссылкой.

За спиной Абакумова легко было рассуждать о Жемчужиной, учинять гнусные провокации, о которых я уже упоминал. Но сам Абакумов сохранял осторожность, прятал некоторые протоколы ее очных ставок в сейф, не давая им хода. Только

---

<sup>1</sup> Материалы проверки по делу Лозовского С.А.... и др., т. 1, л. 13.

два протокола ее очных ставок — с Фефером и сломенным Зускиным — были отосланы в ЦК ВКП(б).

В сейфе Абакумова накапливался взрывоопасный материал, его могли бояться не только арестованные, но и сам министр. Хорошо зная, что Сталин без колебаний, с садистским удовлетворением освобождает своих соратников от еврейских (и нееврейских тоже!) жен, Абакумов, вторично женившийся, нежно любивший жену и маленькую дочь, вполне мог оценить складывающуюся ситуацию. Молотов не декоративная фигура, не «вокзальная пальма», подобно Калинин. Он воистину правая рука диктатора, а не Буденный, у которого можно отнять одну жену и «прикомандировать» к нему другую. Молотов прочно держится на своем месте, и, пока это так, нельзя действовать опрометчиво и против Жемчужиной. На очной ставке Лихачева и Комарова 5 сентября 1953 года было установлено, что многие «...протоколы допросов Жемчужиной не были оформлены, не подписаны ни Жемчужиной, ни следователями. Очная ставка Лозовского с Жемчужиной также осталась неоформленной»<sup>1</sup>.

Опасавшиеся Абакумова его подручные, не раз испытывавшие на себе его издевки, упреки в невежестве и бездарности, между собой, однако, не чуждались насмешек в его адрес, прохаживались насчет его хвастовства при весьма сдержанных и даже робких действиях. Мастер по изготовлению «обобщенных протоколов», полковник Броверман иронизировал по поводу «оптимизма» Абакумова, преувеличения им успехов всех служб МГБ, не исключая и разведки. Арестованный Броверман на допросе в марте 1952 года вспоминал о хлестаковских замашках министра: «Абакумов нередко заявлял, что все вражеские разведки сейчас, мол, парализованы и перешли к обороне».

Доверие Сталина, «карт-бланш», выданный Абакумову, министр за два с лишним года не оправдал ничем внушительным, весомым, что можно было бы предъявить на открытом процессе. А закрытый процесс — это всего лишь убийство в ночной глухой подворотне, суд ну-

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 56.

жен громкий, приносящий серьезный пропагандистский успех. Почти все, что можно было извлечь из параллельной внесудебной акции открытого преследования «безродных космополитов», было извлечено. Пропаганда охрипла, надсаживая горло, и временами достигала обратного психологического эффекта. Кампания борьбы с «безродными космополитами» способствовала разжиганию темных инстинктов толпы, но действие ее не было столь значительным, чтобы ее режущие и кровянящие «лемеха» достигали народных глубин. «Коварные замыслы» театральных и литературных критиков или «гнилых интеллигентов», преклоняющихся перед буржуазным Западом, не взволновали широкие народные массы — впору было бы поставить точку и пересажать этих самых критиков.

Возбудить народ, собрать возбужденные толпы могли другие страсти: громкие, изо дня в день разоблачения шпионажа и предательства, подготовка к террористическим актам, хотя бы и руками врачей — «убийц в белых халатах». Именно это и было обещано: Покребышев и Шкирятов не могли не докладывать Сталину о вдохновляющих замыслах Абакумова. Очень ко времени прилась контрреволюционная подпольная организация с «троцкистско-бундовскими» корешками, к тому же однородная, ч и с т а я по этническому составу, еврейская буржуазно-националистическая. По доброй традиции госбезопасности, нашелся для нее и солидный вожак, повысивший ее криминально-политический рейтинг, — Лозовский, член ЦК, недавний заместитель главы Наркоминдела. Таким образом, Молотов должен был испытать и этот второй унижающий удар: разоблачение оголтелого врага народа, преспокойно работавшего бок о бок с ним.

Ослепленный предвзятостью, Сталин тем не менее обладал цепким умом, жизненным опытом, любопытным, пронизательным взглядом на все, что связано с интригой, двоедушием, коварством, действием скрытых политических пружин. Когда читаешь один за другим десятки допросных протоколов, становится особенно очевидно, что по вязкой земле бредут, едва волоча ноги, случайные люди, подгоняемые насильем, жующие разбитыми челюстями однообразную

ложь, а едва вырвавшись из рук палача и набрав в легкие воздуха, вопящие о своей невинности.

Обвинение в шпионаже с течением времени все теснее привязывалось к пребыванию в СССР Бенд-жамина Гольдберга и Поля Новика. Но гнев Сталина могла вызвать и та свобода, с которой «шпионы» разъезжали по стране, посещали Киев, Минск, столицы Прибалтийских республик и бывали приняты высокими персонами, от Суслова и Калинина в Москве и до Мануильского в Киеве. Возникни такой скандал — и партаппарат, защищаясь, предъявит служебную характеристику госбезопасности Новик и Гольдбергу, служившую своего рода разрешением на въезд в нашу страну.

О таком повороте страшно было и подумать. В результате этот раздел дела ЕАК, разработанный наиболее подробно в протоколах зимы и весны 1949 года, оказался затем как бы приглушенным и «смазанным» в бумагах, посылаемых в Инстанцию. Пройдет три года, и комиссия по проверке дела ЕАК без труда получит в министерстве старые, времен войны и послевоенных лет документы, обеляющие репутации Гольдберга и Новика.

Быть может, Абакумов знал и нечто другое, злое, что пока невозможно подтвердить неоспоримым документом: многое наводит на мысль, что само «предложение» Крыма евреям, подталкивание их к этому проекту, превращение полуострова в черноморскую «подсадную утку», в манок, в адскую наживку на крючке карательных органов исходило от самого Сталина.

Прислушаемся к обстоятельному рассказу Никиты Хрущева, возьмем из него только бесспорное: факты<sup>1</sup>.

*«Сталин, безусловно, сам внутренне был подвержен этому позорному недостатку, который носит название антисемитизма. А жестокая расправа с заслуженными людьми, которые подняли вопрос о создании еврейского государства на крымских землях?»*

---

<sup>1</sup> «Огонек», № 8, с. 22.

*Это неправильное было предложение, но так жестоко расправиться с ними, как расправился Сталин! Он мог просто отказать им, разъясняя людям, и этого было бы достаточно. Нет, он физически уничтожил тех, кто активно поддерживал этот документ... Сталин расценил, что это акция американских сионистов, что этот комитет и его глава — агенты американского сионизма и что они хотят создать еврейское государство в Крыму, чтобы отторгнуть Крым от Советского Союза и, таким образом, утвердить агентуру американского империализма на Европейском континенте, в Крыму и оттуда угрожать Советскому Союзу. Как говорится, дан был простор воображению в этом направлении.*

*Я помню, мне по этому вопросу звонил Молотов, со мной советовался Молотов, видимо, в это дело он был втянут главным образом через Жемчужину — его жену...*

*Сталин буквально взбесился. Через какое-то время начались аресты... Был дискредитирован Молотов... Начались гонения на этот комитет, а это уже послужило началом подогревания сильного антисемитизма... Сюда же прилеталась выдумка, что евреи хотели создать свое государство и выделиться из Советского Союза. В результате борьба против этого комитета разрасталась шире, и ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве.*

*Начались расправы».*

И еще несколько важнейших для понимания сути событий строк:

*«Собственно, этот вопрос [«крымский вопрос». — А.Б.], по существу, никогда не обсуждался... и решения никакого не было, а вот аресты были».*

Мы помним, как ЦК запрашивал Киев и Минск по такому несложному вопросу, как закрытие альманаха на еврейском языке или секции еврейских писателей при СП Украины и Белоруссии. Документы Политбюро и Секретариата ЦК, открывшиеся нам в последние годы, неопровержимо свидетельствуют, что даже и мелкие, частные вопросы, касающиеся

огромной страны, обсуждались и решались Политбюро. Централизация власти и всех властных структур достигла редкой, на грани абсурда концентрации; партийные функционеры, начиная с членов и кандидатов в члены ЦК, должны были быть повязаны коллективной ответственностью, круговой порукой. Не обсуждались проекты, *носившие характер тайной стратегии*, им надлежало до поры вызреть под спудом.

Крым?! Едва ли евреи откажутся от Крыма, более лакомого куска им не найти. Они скромничают, заговаривают о еврейских колониях в Северном Крыму, тешатся «планом Ларина», покойного бухаринского тестя, а мы посулим им весь Крым, а после загоним его кляпом в их глотки, да так, что они задохнутся...

История Советского государства не знает фигуры более педантичной, чем Вячеслав Михайлович Молотов. Именно это позволило ему продержаться десятилетиями рядом со Сталиным. Мы говорим о той поре, когда Сталин уже начинает тяготиться верным соратником и не без злорадства публично ущемляет его достоинство. А Молотов фанатически хранит верность вождю — подобно библейскому Аврааму, он готов принести в жертву родную кровь, пусть не сына, но жену — соратницу, любимого человека, и приносит эту жертву. И вдруг этот самый Молотов, осмотрительный, осторожный канцелярист, зная, что любой его телефонный разговор прослушивается, без согласия со Сталиным, без ведома Сталина звонит в Киев, члену Политбюро Хрущеву, советуется с ним по поводу будущего Крыма! Да ему легче было бы голышом пробежать по кремлевскому подворью, чем решиться на такое: в обход Сталина выяснять у Никиты Хрущева его позицию по столь деликатному вопросу. Хрущев разговорчив, Хрущев хитер, и, чтобы самому не попасть впросак, с него станется позвонить Сталину или Берии или Маленкову, прощупать, осведомиться. Молотову, при его в и н о в а т о й жене, виноватой задолго до ареста, трогать неосмотрительно «еврейский вопрос» — чистейшее безумие. Откройся такая самодеятельность Молотова



Сталину, и в заговорщики мог бы попасть уже сам Вячеслав Михайлович.

Между тем Молотов Хрущеву звонил, это несомненно. Как несомненно и то, что делалось это с ведома Сталина: члены Политбюро приучались таким образом к мысли, что в лице ЕАК и вообще евреев страны существует и действует недобрая сила, стремящаяся к захвату Крыма. Только никто еще не подозревает, как будет разыграна эта карта Сталиным.

В том же направлении действует и аппарат госбезопасности. Двум агентам: Шахно Эпштейну, ответственному секретарю ЕАК, и редактору «Эйникайт» Феферу — поручается составить письмо Сталину, но без особого разглашения, ни в коем случае не ставя вопрос на президиуме ЕАК, письмо с просьбой об устройстве в Крыму еврейской государственности. Михозлс подпишет письмо, узнав, что этого пожелали «наверху», что такова добрая воля правительства. Крым еще под немцами, народному артисту и в голову не приходит, что спустя полгода оттуда станут выселять крымских татар, речь идет скорее о крымской «коммунальной квартире»... Знает ли Абакумов о будущей судьбе татар, когда свершится освобождение Крыма от оккупантов? Быть может, и знает, что-то планирует, но едва ли делится своими планами с двумя послушными агентами-осведомителями. «Незнание» делает особенно привлекательной и впечатляющей энергию, с которой они требуют от Михозлса подписи под посланием на имя великого Сталина. Примечательно, что письмо, адресованное Сталину, реально существующее письмо, вместе с тем как бы и не состоялось. Впечатление такое, будто о нем и не докладывали вождю — оно не вызвало никакой реакции, ответа, реплики, окрика, гневного запрета, что хоть сколько-нибудь совпадало с тем, о чем мы прочитали в мемуарах Хрущева: *«Сталин буквально взбесился»*. Через Абакумова было предложено переписать письмо и адресовать его Молотову. Кто мог распорядиться об этом? Только не сам Молотов, которого «еврейские» страсти вокруг жены

скоро заставят, пусть для виду, для проформы, развестись с ней.

Есть основания полагать, что эта переадресовка если не сталинская затея («поглядим, как поведет себя Вячеслав...»), то Маленкова, Берии или Жданова (когда Жданов еще был жив), кого-нибудь из тех, кто завидовал так давно и прочно занятому Молотовым месту при Сталине.

Существенно другое: не Абакумов подарил Сталину «крымский проект сионистов» — все было наоборот: министр госбезопасности с грехом пополам разрабатывал предложенную Сталиным криминальную интригу.

И в этом случае Абакумову нечем было похвастаться.

Оставался террор.

Абакумов, подталкиваемый необходимостью, обнадёженный полковниками Лихачевым и Комаровым, пообещал раскрытие террористического заговора, возлагая надежды на выбитые жесточайшим насилием показания.

На допросе 27 мая 1953 года Комаров показал, что *«...по указанию Абакумова к Гольдштейну были применены меры физического воздействия и последственный признал, что имел разговор с кем-то из членов ЕАК, кажется с Гринбергом, который просил его поинтересоваться данными о семье вождя»*<sup>1</sup>.

Хотя боязнь террора приобрела у Сталина характер паранойи, едва ли он связывал с именами еврейских писателей «классические» образы террора и террористов: взрывы и дерзкие покушения. Абакумов, после повисших в воздухе, не получивших развития показаний двух искалеченных пытками ученых, виноватых разве что в знакомстве с Анной Сергеевной Аллилуевой, поостыл, тогда как Рюмин, движимый патологической ненавистью к иудейскому «семени», верил в неистребимое злодейство евресв, верил в террор особого рода — убийство

---

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 30.

врачами доверившихся им руководителей партии и правительства.

Возможно, отчаянная фантазия Рюмина превосходила воображение главы госбезопасности Абакумова. Возможно, министру мешал его ответственный подход к расследованию серьезных преступлений. Приученный в годы войны воевать с реальными врагами — что не мешало СМЕРШУ истреблять и тысячи ни в чем не повинных граждан! — он, скажем, не допускал мысли о том, что секретарь ЦК ВКП(б) Кузнецов мог замыслить террористический акт или быть шпионом, за что Абакумов и поплатился по доносу Рюмина. Сиятельный посетитель премьер и концертов, удачливый до поры вельможа, он так и не увидел среди схваченных «еврейских националистов» злодеев, вынашивавших мечту о терроре. А отодвинутый на обочину следствия, исходивший злобой Рюмин рыскал, разнюхивал, неустанно искал подтверждения о террористах во врачебных халатах. После ареста Абакумова Рюмин, возобновив следствие по делу ЕАК, особое внимание уделил поискам несуществующих преступлений евреев-врачей.

В доносе на Абакумова, стоившем министру должности (4 июля 1951 года), свободы (12 июля) и жизни (декабрь 1954 года), Рюмин обвинял его в попустительстве преступникам, в умышленном затягивании следствия, особенно упирая на то, что Абакумов не добивался разоблачения террористических замыслов врагов, давая им уйти от справедливой кары. В этой связи он называл Якова Гилеровича Этингера, арестованного в ноябре 1950 года и будто бы уже начавшего показывать о терроре врачей и о своем участии в убийстве Щербакова, но умышленно убранного от допросов Абакумовым. Последний будто бы запретил Рюмину допрашивать Этингера о его участии в террористических действиях против Щербакова и других и намеренно поместил Этингера в тюремные условия, которые должны были убить арестованного, страдавшего тяжелой формой стенокардии. Впоследствии и Лихачев, арестованный одновременно с Абакумовым, показал на допросе, что

Этингер признавался в терроре, но Абакумов не дал это оформить протоколом.

Оправдания Абакумова успеха не имели, в глазах Сталина он превратился в презренного, опасного пособника террористов. В таком же положении оказался и полковник Комаров, втайне хорошо понимавший, что деятельность ЕАК ничего общего с терроризмом не имела. *«Обвиняли меня также и в том, — показал он на допросе 13 июля 1953 года, спустя год после того, как приговор по делу ЕАК был приведен в исполнение, — что я не допрашивал участников дела ЕАК о терроре. Р ю м и н х о р о ш о з н а л, ч т о н и к а к и х м а т е р и а л о в о т е р р о р е в д е л е Е А К н е б ы л о. П р о с т о в ы н у ж д е н н ы е п р и з н а н и я п о с ы л а л и с ь в И н с т а н ц и ю и и с п р а ш и в а л а с ь с а н к ц и я н а а р е с т н о в ы х л и ц».*

С октября 1951 года и до начала процесса Рюмин и другие следователи по его поручению всячески добивались показаний членов ЕАК «по террору». Отныне это главная забота Рюмина: он уверился в том, что только раскрытый террористический заговор может упрочить положение чекиста в глазах Сталина.

Особый интерес Рюмина вызывает брат Михозлса — Мирон Семенович Вовси.

10 марта 1952 года шел допрос подсаженного в камеру Шимелиовича рабочего ТЭЦ из Калинина (Твери) Соломона Бернштейна. После беглого допроса, касавшегося Америки и Голды Меир, якобы интересовавшейся «количеством заключенных в СССР», все сосредоточивается на Вовси, на посещении его московской дачи Шимелиовичем, на поездке Вовси в Киев для лечения Хрущева. По словам Шимелиовича в лживом изложении тюремного стукача, *«...Вовси якобы выразил сожаление по поводу благополучного окончания болезни, выразил при этом пожелание смерти Хрущеву»*<sup>1</sup>. *«А как реагировал Шимелиович на это террористическое заявление доктора Вовси?»* — спросил следователь. *«У меня создалось впечатление, — ответил «ра-*

---

<sup>1</sup> Следственное дело, т. XXXI, л. 147.

бочий Калининской ТЭЦ» Соломон Бернштейн, — что Шимелиович полностью разделял высказывания Вовси, хотя открыто мне об этом не говорил».

В тот же день Бернштейна свели на очной ставке с Шимелиовичем.

*«Показания Бернштейна я категорически отрицаю... На гаче Вовси был лишь один раз за всю свою жизнь, в 30-х годах. Я не говорил Бернштейну, что Михозлс убит сотрудниками МГБ, говорил только об автокатастрофе и о слухах, что Михозлса убили бандеровцы. Категорически отрицаю, что Вовси сожалел о том, что он вылечил Хрущева, все это бесчестные показания Бернштейна»<sup>1</sup>.*

Рюмин не теряет решимости добиться от Шимелиовича правды о Мироне Вовси, близком родственнике Михозлса, Вовси, который, по его разумению, не может не быть террористом и убийцей. Спустя три дня новый допрос.

**«РЮМИН:** — *На очной ставке с арестованным Бернштейном С.М. 10 марта сего года вы показали, что Вовси выезжал в Киев для оказания медицинской помощи одному из руководителей партии и Советского правительства. Уточните, когда это было?*

**ШИМЕЛИОВИЧ:** — *Насколько помню, Вовси выезжал в Киев в 1947 году, весной.*

**РЮМИН:** — *Что вам рассказал Вовси о своей поездке в Киев?*

**ШИМЕЛИОВИЧ:** — *Вовси в общих чертах рассказал мне о характере заболевания руководителя партии и правительства, которого он лечил, говоря также, что ему в Киеве был оказан хороший прием.*

**РЮМИН:** — *А почему вы умалчиваете о террористических высказываниях Вовси?*

**ШИМЕЛИОВИЧ:** — *Никаких враждебных, тем более террористических высказываний в отношении кого-либо от Вовси я вообще никогда не слышал. Не было с его стороны таких террористических высказываний и по адресу больного, для лечения которого*

---

<sup>1</sup> Там же, л. 405.

он выезжал весной 1947 года в Киев. Наоборот, в беседе со мной Вовси высказывал особое удовлетворение по поводу благополучного исхода болезни этого больного.

**РЮМИН:** — Неправда. Свидетелю Бернштейну С.М., с которым 10 марта с.г. вам была дана очная ставка, вы говорили о террористических замыслах профессора Вовси.

**ШИМЕЛИОВИЧ:** — Я уже заявил на очной ставке с Бернштейном и сейчас утверждаю, что ни Бернштейну, ни кому-либо вообще я никогда не говорил об имеющихся будто бы террористических намерениях у Вовси и что показания Бернштейна об этом являются нечем иным, как вымыслом самого Бернштейна».

Твердость Шимелиовича не охладила Рюмина. Готовясь к передаче суду многотомного следственного дела, обвинительного заключения, выводов нескольких экспертиз, он настойчиво разрабатывает тему свреев-врачей, изобретших особо опасный, «бесшумный» вид террора: медленное умерщвление первых лиц страны. Вовси, в защиту которого так мужественно и неподкупно выступил Шимелиович, скоро будет арестован, подвергнут пыткам, превращен злодейской волей Рюмина в главаря «банды врачей». В допросных протоколах осени 1951 и начала 1952 года рядом с именем Вовси замелькали и другие имена: А.А. Шифрина, Е.Ф. Лифшиц — вдовы профессора Лясса, хирурга Очкина А.Д., рентгенолога Иесерсона, академика Виноградова и других.

Бывший старший следователь Прокуратуры СССР по особо важным делам Лев Романович Шейнин, арестованный 19 октября 1951 года по показаниям ряда подследственных по делу ЕАК, смекнув, какими страстями обуреваем новый заместитель министра госбезопасности, предупреждая побои и пытки, сознался в принадлежности к группе писателей-националистов и внес свою лепту в зловещий замысел нового, будущего дела об «убийцах в белых халатах». Он напомнил о недавно родившемся больном сыне преуспевающего драматур-

га и подбросил мысль (будто бы уже циркулирующую в обществе), «что это следствие вредительства со стороны врача-акушера, еврейки, принимавшей ребенка и желавшей отомстить граматургу С. за его борьбу с космополитами. Отец ребенка заявил, что этот факт установлен якобы МГБ и что эта еврейка все признала».

Так Лев Романович Шейнин, недавно предлагавший театрам Москвы драму в защиту Бейлиса, готов был стать «соавтором» Рюмина по созданию нового боевика о еврейке, виноватой в покушении на православного ребенка...

Чутье подсказало Рюмину, что Абакумова он одолел обвинением в нежелании оградить дорогое правительство от посягательств террористов, в потере бдительности — пороке, который Сталин с садистским постоянством обнаруживал в своем окружении, устраняя преданнейших прислужников и выдавая их палачам.

Если именно Рюмину принадлежит замысел «дела врачей», а похоже, что это так, то отдадим должное его изобретательности. Именно обвинение против врачей, которое вспыхнет с силой лесного пожара, может вдохнуть новую энергию в священный поход против евреев. Я не преувеличиваю сотрясающую Рюмина страсть к антисемитизму, страсть на грани психического заболевания, превращавшую этого презренного «шибздика» в отчаянного воителя. Разве иначе решится человек, уже изгнанный из органов безопасности, уже брошенный в тюремную камеру, побывавший, пусть недолго, в высоких чинах, — разве решится он в письмах к Маленкову из тюрьмы честить его за беспечность в отношении евреев, которые, на его взгляд, опаснее водородных бомб и вот-вот захватят, подчинят себе все человечество, истребляя всех своих противников, и прежде всего тех, кто разгадал их умысел и, рискуя жизнью, встал на их пути?

Никто не знает цифр реально начавшегося геноцида послевоенных лет, набравшего силу до самой смерти Сталина. При всей убежденности Сталина в том, что ему посильна любая акция внутри страны, модель депортации евреев в тундровые или таежные пространства страны не могла просто повторить высылку любого из малых народов, судьбами которых он безжалостно распорядился.

Близоруки, если не слепы, были почти все мы, даже те из нас, по ком больно ударили репрессии. Историческое зрение изменило большинству из нас, всякий раз готовых видеть в собственных злоключениях частный случай, исключение из общего правила, не сознавая вполне, что сотни тысяч таких случаев давно уже выражают новые закономерности жизни,

Жил среди нас человек, воспринимавший горькие перемены не только мощным интеллектом прирожденного философа, нежностью обманутого сердца и прозорливой, обнажающей предмет наблюдательностью великого художника. Человек, для которого три послевоенных года оказались временем крушения надежд и нараставшей с каждым днем трагедии. Он обладал редкой способностью наблюдать и чувствовать всю совокупность жизни своего народа и столь же редкой в интеллигенте упрямой энергией хлебороба, которого ни Бог, ни нужды своего дома, ни инстинкт никогда не освобождали от обязанности бросать зерна в распаханную землю и собирать урожай. Почти забросив театр — на что не к месту, в кабинете следователя жаловался ближайший из его друзей, Зускин, — не готовя новых ролей, темнея лицом, прекрасным и грубым, почти пугающим, как химеры собора Парижской Богоматери, сильный, плечистый, он будто прогибался под тяжестью навалившихся бед:

К середине 30-х годов, особенно же в губительные для страны 1937—1938 годы он как удар ощутил недобрую перемену властей, точнее, всесильной партии к еврейскому населению, и более всего к еврейской интеллигенции, единственной в Советском Союзе хра-



нительнице собственной национальной культуры, воплощенной в книгах, в спектаклях и в музыке. Безумие брало верх: запрет ОЗЕТа, объявление его враждебной, антисоветской организацией, преследование любой благотворительности из-за рубежа, особенно же — властное закрытие еврейских школ, влачивших жалкое существование и требовавших поддержки; превращение нараставшей ассимиляции еврейского населения из процесса естественного, отчасти непреложного в обязательный, декретированный, программный — все было слишком очевидно.

Но жизнь страны и мира тогда не позволяла сосредоточиться на национальном. Потери 1937—1938 годов были, так сказать, интернациональны. Убийства в застенках и лагерях оросили кровью все народы Советского Союза. А немного раньше сталинский каток прошелся по деревне, уничтожая миллионы кормильцев — русских, украинцев, белорусов и других. Как ни терзают потери близких, как ни отчаянно горька и неутешна родная кровь, человек чести, истинный гражданин, а Михоэлс был таким, способен исстрадаться болями и горем человечества.

В Европе бесчинствовал фашизм, обещавший «окончательное решение еврейского вопроса» и энергично, как на бойне, действовавший в этом направлении. Михоэлс и весь еврейский народ страны были лишь малой частицей той силы, которая единственно и смогла остановить и разгромить Гитлера. В годы войны Михоэлс внес посильный вклад в общие усилия народа: его хватало на все — на умную пропагандистскую работу, на руководство ГОСЕТом, на постановки спектаклей в узбекских театрах, на то, чтобы возглавить Еврейский антифашистский комитет, на поистине триумфальную поездку по Америке, Канаде, Мексике и Англии в 1943 году.

Это был крутой маршрут вверх, к новой, уже не только артистической популярности, а главное — к новой ответственности перед еврейским народом. Возглавив ЕАК, Михоэлс с головой ушел в почти непосильный круговорот дел и событий. Политики могли как угодно переподчинять ЕАК, передавать его из Совинформбюро в Иностранный отдел ЦК, намеренно

продлевая его агонию. Сталин, найдя, что улики против ЕАК достаточно, мог приказать распустить комитет, но ничего нельзя было поделать с десятками писем, приходивших в Москву на имя Михозлса ежедневно.

Все явственнее открывалась ему горькая истина: страной, которая разгромила гитлеровский фашизм и его армии, руководят политики, едва ли не разделяющие взгляды Гитлера на еврейский народ. Истина являлась не в ученых одеждах, она открывалась в простых, часто полных отчаяния жалобах бездомных и голодных людей, беженцев на пороге своего доверенного дома, оставленного при нашествии немцев. Как ни трудна была эвакуация, бежавшие от гибели люди бывали согреты участием и пониманием жителей Средней Азии, Алтая, Сибири и других регионов. Теперь же, вернувшись домой, они сплошь и рядом попадали в беду, порой слышали и такое, чего перед массовым расстрелами не слышали их земляки, не успевшие бежать от Гитлера.

Охваченный отчаянием, изнемогая от усталости, Михозлс брел как по минному полю, не доверяя услужливому Хейфецу, не отдавая ему писем жалобщиков, уже заподозрив недоброе, опасаясь принести несчастье в дом доверившихся ему людей.

Мы часто склонны к мистическому толкованию предчувствий — в нем больше эффектности, больше некой трансцендентальности. Мрачное настроение и оброненные Михозлсом слова о близких его «сроках» стали истолковывать как предчувствие минской трагедии, более того, как прямое подозрение, якобы продиктованное открывшимися ему зловещими тайнами, которых он не открыл нам. В показаниях Зускина от 26 февраля 1949 года дважды вспоминаются минуты, когда Михозлс заговаривал о смерти, требовал от Вениамина Зускина серьезной готовности *«занять его место в театре»*, уверяя, что *«вот здесь, на этом кресле, ты скоро, очень скоро будешь сидеть»*. Обычно мы ищем прямых улик — подтверждений такого рода тайн.

А «улика» была одна: Михозлсом, при всей силе его характера, овладевало отчаяние. Никто, решительно никто, кроме жены, встревоженной, любящей, не понимал, какая тяжесть придавливает его плечи, никто

не хотел задуматься над этим. Он оставался один на один с горем сотен людей, ждущих поддержки и ответа от него, бросался в учреждения, министерства, правозащитные органы, используя личный авторитет, артистическую славу, все хуже срабатывавшую инерцию. Все культурные начинания, простое возвращение, возрождение, восстановление того, что существовало до войны, или вовсе отвергалось с порога, или проходило, крайне редко, как исключение, с величайшим трудом, пробивались сквозь враждебность.

Зная это во всей совокупности примет, всех интонаций тех лет, то непривычной для него растерянности, то внезапной мрачности, — уверен: он физически ощущал приближение огромной беды. Начальство нетерпеливо, почти открыто требует, даже в разговорах о театре, быстрой ассимиляции, ассимиляции как социалистического, предсказанного Сталиным еще в 1913 году разрешения еврейского вопроса.

Каковы же будут действия властей, тактика Инстанции?

Едва ли мудрый Михозлс мог предвидеть размах, энергию и опустошительность этих действий. Он знал: русская интеллигенция в огромном своем большинстве не со Сталиным в его юдофобском помрачении. А сам вождь, по марксистскому обыкновению, озабочен повторением лицемерных, ложных, благопристойных партийных толкований собственных злодеяний. Геноцид, готовившийся в послевоенные годы, с убийством Михозлса получил яростное ускорение: последовали массовые репрессии, ликвидация в с е х очагов еврейской культуры, литературы, прессы. «Оформлялись» новые фальшивые очаги буржуазного национализма и сионизма, делались первые прикидки к будущему «процессу века» — суду над «врачами-убийцами». Только вздыбив страну, возмущив ее во всю глубину бредовыми, пугающими версиями об «убийцах в белых халатах», истребляющих и членов Политбюро, и невинных младенцев, можно было решиться бросить солдат и чекистов якобы на защиту еврейского населения и «спасти» это население, услав его куда подальше...

Предстояла непростая дорога: Сталин ее не осилил — не хватило жизни.

Нельзя понять дела ЕАК вне этого контекста, вне исторического процесса.

Отдадим должное главному судье Чепцову: в накаленной атмосфере расового преследования он не потерял здравого смысла и мужества. Судебные заседания 1950 года и осуждение многих из тех, кто поначалу был в общих списках с Лозовским и Фефером, а после выделен в отдельные слушания, суровые приговоры, вынесенные после кратких заседаний трибунала, характеризовали и его, Чепцова, как судью послушного и скорого на расправу. Как же случилось, что спустя 20 месяцев тот же генерал-лейтенант Чепцов позволил себе задуматься и усомниться? Ведь весной 1952 года, когда министр МГБ С.Д. Игнатьев, в присутствии своего заместителя Рюмина, вызвал Чепцова в кабинет и поручил ему ведение дела ЕАК, судья был предупрежден, что Политбюро настаивает на расстрельном приговоре всех обвиняемых, за исключением Лины Штерн — по воле Сталина ее надлежало приговорить к 3—3,5 годам тюрьмы — время, которое она фактически провела в заключении, — и к высылке в отдаленные местности СССР.

Можно было бы предположить, что такое предупреждение было сделано авантюристом Рюминым на свой страх, если бы не будущее развитие событий и вмешательство Маленкова, действовавшего от лица Сталина.

*«Следует здесь указать, — писал Чепцов, докладывая в августе 1957 года о деле ЕАК члену Президиума ЦК КПСС министру обороны Г.К. Жукову, — что, как теперь известно, начиная с 1935 года [т.е. уже после убийства Кирова. — А.Б.] был установлен такой порядок, когда уголовные дела по наиболее важным политическим преступлениям руководители НКВД, а затем МГБ докладывали т. Сталину или на Политбюро ЦК, где решались вопросы вины и наказания арестованных. При этом судебных работников, которым предстояло такие дела рассматривать, предварительно, до решения директивных органов, с материалами дел не знакомили и на обсуждение этих вопросов в ЦК не вызывали».*

Судьи получали одновременно и груды следственных томов, с которыми только еще предстояло ознакомиться, и непреложный для суда приговор. Суд превращался в формальность, незачем было входить в подробности, вести тщательное судебное следствие, доискиваться истины — она могла оказаться опасной для судей.

*«При таком порядке, — писал Чепцов, — военная коллегия приговоры часто выносила не в соответствии с материалами, добытыми в суде. Свои сомнения по делам судьи в ЦК не докладывали либо из боязни, либо исходя из доверия к непогрешимости решений т. Сталина, хотя по ряду дел судьи могли видеть, что дела в директивных органах докладывались необъективно».*

К началу 30-х годов стремительно складывалось такого рода «судопроизводство». Если после убийства Кирова, к 1935 году, новый судейский порядок действовал уже автоматически, то началось все гораздо раньше. Вспомним письма Сталина Молотову с юга страны еще в августе-сентябре 1930 года, наполненные циничными требованиями расправ, незамедлительных, заранее назначаемых расстрелов: *«Обязательно расстрелять д е с я т к а г в а т р и из этих аппаратов, в том числе десяток каскиров всякого рода», «Кондратьева, Громана и парусную мерзавцев нужно обязательно расстрелять», «Надо бы все показания вредителей по мясу, рыбе, консервам и овощам опубликовать немедленно... с сообщением, что ЦИК или СНК передал это дело на рассмотрение коллегии ОГПУ (она у нас представляет что-то вроде трибунала), а через неделю дать извещение от ОГПУ, что в с е эти мерзавцы расстреляны. Их всех надо расстрелять...».*

«Расстрелять всех!» — таков категорический императив сталинского судопроизводства, превративший правовой аппарат страны в бездушный механизм, слепо выполнявший волю партии по всей цепи — от Верховного до районного суда. Когда Сталин в 30-х годах «щедро» давал судейским целую неделю на следствие, суд, приговор и сообщение народу о состоявшемся расстреле, речь шла не о едини-

цах, а о тысячах людей, по формуле Сталина «мерзавцев», которые мерещились ему повсюду.

И вдруг спустя два десятилетия опытный военюрист, сложившийся в уродливых, пыточных правовых рамках юриспруденции Вышинского, вышколенный генерал-лейтенант юстиции, пренебрег требованием быстрого суда и длил судебные заседания с 8 мая по середину июля. В перерывах судебного следствия главный судья часто заходил в кабинет министра Игнатьева и ставил его в известность о ходе суда и о том, что на процессе «*вскрываются факты фальсификации со стороны Рюмина и его следователей и что Рюмин обманывает его, Игнатьева*».

*«Рюмина эти мои действия озлобили, — уточнил Чепцов, дорисовывая Г.К. Жукову ситуацию тех дней. — Я лишь после смерти Сталина, из объяснений т. Игнатьева, данных им ЦК КПСС по делу врачей, узнал, что Рюмин пользовался полным доверием т. Сталина, который в то же время т. Игнатьеву не доверял».*

*«В первые же дни процесса у состава суда сразу возникли сомнения в полноте и объективности расследования дела, — свидетельствовал Чепцов. — До начала судебного следствия ряд осужденных заявили ходатайства о приобщении документов, опровергающих их обвинения, в чем им при расследовании дела было отказано».*

Чепцову пришлось вступить в необъявленную войну с Рюминым: пришлось проводить отдельные допросы в одной из комнат военной коллегии, вне стен министерства госбезопасности. *«Это было необходимо сделать и потому, что Рюмин был заинтересован в исходе дела и мешал объективному его рассмотрению, — писал Чепцов. — По поведению отдельных подсудимых можно было предполагать, что следователи в перерывах влияют на них. Рюмин установил подслушивание судей в их совещательной комнате, на ряд недоуменных наших вопросов к нему по поводу следствия он и его помощники явно говорили нам неправду».*

Главный судья подробно характеризует подсудимого Фефера, который *«...на протяжении многих*

дней изобличал всех погугимых в антисоветской деятельности», но под влиянием перекрестного судебного допроса «стал давать путаные, не внушающие доверия показания», а затем, как мы уже знаем, на закрытом заседании открыл суду, что он негласный сотрудник МГБ СССР. В докладной записке на имя Г. Жукова Чепцов спустя пять лет после процесса ошибся, указав, что закрытый допрос Ицика Фефера состоялся спустя месяц после начала процесса. Передо мной все тома стенограммы процесса, все его протоколы, в ни разу не нарушенной временной последовательности: закрытое заседание состоялось 6 июля, затем, по настоянию Фефера, оно повторилось 10 июля, вдогонку новым письменным сообщениям Фефера — страницам, писанным карандашом.

Это уточнение важно: решительный отказ Фефера от обвинительных показаний трех с половиной лет (не говоря о том, что предшествовало его аресту!) последовал не в начале и не в середине процесса, а под самый его конец, когда ложь оказалась слишком очевидна.

Стенограммы судебных заседаний, которые так стремился заполучить Рюмин по ходу процесса, не сохранили речевых интонаций, пауз, жестов, подавленного молчания или взрывов недовольства, гнева, и все же, прочитывая один за другим 8 объемистых томов, начинаешь различать голоса, слышать подтекст судебных диалогов. С течением времени почти умолкают голоса двух других судей, генерал-лейтенантов юстиции Дмитриева и Зарянова, поначалу охотно задававших резкие, агрессивные вопросы. Ощущение такое, что у трех судей постепенно выработалось общее понимание дела, сознание шаткости обвинения, быть может, возникло и некое сочувствие к людям, не заслужившим столь страшной судьбы. Судьи ведь знают об уже вынесенном в ЦК приговоре! И как это неожиданно и труднообъяснимо в людях высоких армейских и судебных чинов, которым поручено, не мудрствуя лукаво, принять участие в ритуальном убийстве дюжины еврейских интеллигентов.

Только в одном судья Чепцов оставался непреклонным до конца разбирательства. Ассимиляция для евреев СССР — только они и занимали генерал-лейтенанта Чепцова, а не миллионы других евреев, кто «прозябает и стонет» под пятой капиталистов и в ожидании мировой революции может только мечтать о Биробиджане, о полном, вплоть до саморастворения, братстве и равенстве наций. Ассимиляция воспринималась им как нечто спасительное, социалистическое по своей природе, а значит, обязательное для евреев. Для **н а р о д н о с т и**, для этнической общности, которой не суждено стать нацией, — эти марксистские страницы генерал Чепцов вытвердил, как «Отче наш», — для тех, кого царизм удушал и унижал, замыкая их в «черте оседлости», возможность раствориться в другом, великом народе, в многомиллионных нациях казалась верхом социальной справедливости. И до самых последних дней судебного следствия голос Чепцова становился непреклонным, едва ему слышались сомнения в том, что партия и правительство до конца разрешили «еврейский вопрос».

Нет такого вопроса и незачем его выдумывать!

Не понимая вполне, как разнятся бытовой, разговорный язык и таинственный, глубинный, живущий в творящей душе художника поэтический язык, Чепцов, в сущности, требовал от подсудимых отказа от родного языка в пользу более доступного и понятного, на его взгляд, для еврейских народных масс русского языка. В отличие от следователя-«забойщика» Ивана Лебедева (с неполным школьным образованием), который избил прозаика Абрама Кагана, обнаружив, что тот, грамотей, поправляет орфографию протокола, унижая тем следователя — знает, подлец, хорошо знает русский язык, но повести и рассказы упрямо пишет на идиш, — Чепцов не думал, что нужно силой заставлять еврейских писателей переходить на другой язык. Важно, чтобы они перестали **п е ч а т а т ь с я** на идиш, не тормозили процесс ассимиляции.

Для языка и культуры, для национальной самобытности он был таким же немилосердным судьей, как и его нечаянный противник и, надо думать, нравст-



венный антипод Рюмин. Рискнув назвать подсудимого Соломона Лозовского «большевиком», Чепцов сердито и с искренним недоумением воскликнул: *«Что это за большевики, которые утверждают, что у нас еврейская проблема не решена!»*<sup>1</sup>

На взгляд Чепцова, все эти образованные личности, знающие другие языки, повидавшие мир, упрямо не расстающиеся со своим обреченным языком (об иврите нечего и говорить: с вузовской поры Чепцов усвоил, что иврит — м е р т в ы й язык, что он битая карта сионистов, оружие крайних еврейских националистов), запутались в трех соснах национальной проблемы, давно и окончательно разрешенной марксизмом. Политически — это отрывка неизжитого «бундовства», житейски — слабость людей, не способных перестроиться, зажить по-новому в семье народов. Но эту «отсталость», косность судьбе Чепцову трудно было переложить на судебные уголовные «ноты», на статьи УК, не говоря уже о статьях об особо опасных преступлениях.

Потребовалось гражданское мужество, почти безрассудство, неумерщвленный голос совести, чтобы прийти к решению, *«что выносить приговор по этому делу при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя»*.

На процессе не раз назывались и фамилии тех, кого Чепцов два года назад приговорил (вместе с членом суда генералом-майором юстиции Заряновым и генерал-майором юстиции Детистовым) к смертной казни или к непомерно большим лагерным срокам. Тогда, в кратком, как военно-полевой суд, слушании, все казалось проще: перед судьями — признательные протоколы о шпионаже, о выдаче через газетные публикации врагам страны государственных тайн, о пособничестве американским агентам Новичу и Гольдбергу. Документы значились за главным делом руководителей ЕАК и под сомнение не брались — тогда перед судьями стояли кающиеся преступники, молившие о прощении, но прощения не последовало.

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 4, л. 139.

Теперь фамилии казненных и тех, кто был осужден сверх меры жестоко, то и дело всплывали на процессе. И когда рухнули обвинения в шпионаже и разглашении государственных тайн, отпала порочащая Новика и Гольдберга версия, когда среди десятков тысяч публицистических страниц не обнаружилось ни одной предательской строки, трудно было Чепцову не вспомнить тех смертных приговоров. Защищаясь, подсудимые по главному делу ЕАК защитили и доброе имя тех, погубленных.

Чепцов должен был вспоминать об этом десятки раз. Призраки возвращались; страдающие глаза Эмилии Теумин, обращенные теперь к нему со страхом и надеждой, не могли не напомнить других глаз, темных, со следами сломленной гордости глаз Мириам Айзенштадт, талантливой журналистки, трудившейся яростно, как на фронте, и казненной своими...

Теперь перед ним диковинные, истерзанные душевно и физически люди, красивые в приближающейся старости, чей облик взывает не к жалости, а к уважению, к почтительности. Главный судья обнаружил, что пройдет еще неделя-две и ему придется приговорить к уничтожению людей, которые не заслуживают ни казни, ни тюрьмы, мастеров своего дела, судя по всему, людей значительных, ухитрившихся прожить свою жизнь нравственно и безгрешно, если судить их по статьям уголовного кодекса. Сознание того, что он вынужден будет лишить их жизни, убить по откровенно сфальсифицированным обвинениям выскочки и прохвоста, манипулирующего на глазах Чепцова малосведущим, опасливым министром, заставило главного судью действовать энергично.

*«Прервав процесс в начале июля 1952 года, — продолжал он свои объяснения Г.К. Жукову, — я обратился к Генеральному прокурору т. Сафонову с просьбой совместно со мной пойти в ЦК КПСС и доложить о необходимости возвращения дела на доследование. Однако он от этого отказался, заявив мне: «У тебя есть указание Политбюро ЦК, выполняй его!» Не подержал меня и бывший председатель Верховного суда Волин. Тогда я обратился по телефону к бывшему*

председателю КПК при ЦК КПСС Шкирятову, который сам вел следствие по делу Лозовского и других, но он, узнав от меня, что я хочу ставить вопрос о возвращении дела на доследование, заявил мне, что у б е ж е н в в и н о в н о с т и п о д с у д и м ы х, и отказался меня принять. Я тогда, как и многие, верил ему как совести нашей партии и не мог предполагать, что он был двурушником.

После этого я информировал тов. ШВЕРНИКА Н.М., бывшего тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР, и получил от него совет обратиться с этим вопросом к секретарю ЦК Маленкову. Я позвонил ему по телефону, просил принять и выслушать меня. Через несколько дней я был вызван к Маленкову, который вызвал также Рюмина и т. Игнатьева».

Едва ли кто-либо смог сделать больше для подсыдимых и пройти по такому опасному кругу: Сафонов, Волин, Шкирятов, Шверник и, наконец, Маленков — единственный теперь для Чепцова у порога сталинского кабинета. Не к Молотову же, у которого жену замарали связью с еврейскими националистами, обращаться с такой заботой.

Поражает не только решимость Чепцова: любой из его звонков мог стоить ему, самое малое, погон и службы, — но и простодушие генерала, его неосведомленность, незнание персон верховного эшелона, чья черная репутация к тому времени была известна всей мыслящей части советского общества, известна как ненавистникам, скажем, Шкирятова, так и тем, кто уповал на него в черносотенных делах.

К часу, когда Маленков принял Чепцова, Игнатьева и Рюмина, все было окончательно решено: недолгий срок, на который эта встреча отодвигалась, понадобился Маленкову, чтобы еще раз испросить указаний Сталина. Дело ЕАК растянулось на годы; пока «разматывалось» ленинградское и другие крупные дела, Сталин отвлекся, попустил Абакумову, а после прогнал, посадил в тюрьму, теперь можно было в полную силу наказать и «сионистов», чтобы не возомнили, не вздумали поставить на колени партию и советское правительство.

*«Я полагал, что Маленков поддержит меня и согласится с моими доводами, — писал Чепцов. — Однако, выслушав мое сообщение, он дал слово Рюмину, который стал меня обвинять в либерализме к врагам народа, в том, что я намеренно тяну рассмотрение дела свыше двух месяцев и тем самым ориентирую подсудимых на отказ от показаний, данных ими на следствии, обвинял в клевете на органы МГБ СССР и отрицал применение физических мер воздействия. Я вновь заявил, что Рюмин творит беззакония, однако Маленков заявил буквально следующее: «Вы хотите нас на колени поставить перед этими преступниками, ведь приговор по этому делу апробирован народом, этим делом Политбюро занималось три раза, выполняйте решение ПБ»».*

«Приговор по этому делу апробирован народом» — вот типичный для тех времен демагогический аргумент, рожденный тупой и преступной по своей природе убежденностью, что согласием народа заранее освящено любое решение ЦК и его Политбюро. Независимо, что подготовка к кровавой расправе велась в строжайшей тайне, и тайну эту надлежало хранить не только службистам, но и писателям, всем, кто дорожил карьерой и головой. Воля Сталина — воля народа, значит, приговор, продиктованный им, — приговор народа, горе тому, кто усомнится в этом...

В словах Маленкова поражает и несомненно сталинская цитата, типичный для полемических выпадов Сталина аргумент: «Хотите на колени нас поставить!» В нем надменность, «цезаризм», презрение к слабым, проигравшим в борьбе, высокомерная гримаса произвола. Он объявил крестовый поход против «лиц еврейской национальности» и доведет дело до конца, вопреки любым профессиональным ошибкам и нерадивым исполнителям. Нет, не от себя, не от своего имени мог сказать Маленков: «Вы хотите нас на колени поставить...»

*«Я тогда, предполагая, что он до приема меня докладывал этот вопрос т. Сталину, чему у меня некоторые подтверждения есть, заявил Маленкову, что я передам его указание судьям, что мы исполнили свой долг, доложив ЦК свои сомнения. Но как чле-*

*ны партии выполним указания Политбюро с убеждением, что у Политбюро есть по этому делу особые соображения.*

*После беседы с Маленковым в здании ЦК меня догнал Рюмин. Обругав площадной бранью, он угрожал мне расправой. Как установлено следствием по делу Рюмина, он в августе-сентябре 1952 года начал готовить материал на меня».*

Чепцов действует от лица всех трех членов суда. Мы исполнили свой долг — сказано ясно и со значением, а не потому только, что он старший по званию и главный судья. Возникни у членов суда принципиальные разногласия, поход Чепцова по кругу важных державных лиц был бы попросту невозможен.

Многого уже не восстановить, о многом можно догадываться, но несомненно, что все три члена суда, зная, какой приговор продиктован им ЦК, прониклись поразительным для того времени чувством справедливости, неприязнью к авантюристу Рюмину и всей атмосфере, созданной им вокруг процесса.

Поступок судей должен быть отмечен в трагической хронике тех лет, отмечен и не забыт, как и упорные попытки Чепцова в этих исключительно опасных обстоятельствах спасти жизнь людей, не заслуживших казни. Как важно, что почти всегда, в обстановке, кажется исключаяющей благородство и отвагу честности, в застенках, в нравственной клоаке, в оглохшем и ослепшем мире, находились люди, способные на Поступок, возвращающий нам веру в человечность и человечество.

Я еще раз подумал об этом, натолкнувшись на три листика допроса Олимпиады Петровны Скворцовой, состоявшегося в конце февраля 1952 года, когда Рюмин, в преддверии суда, торопливо сгребал груды несостоятельных протоколов, шантажировал экспертов, прятал заявления и протесты подсудимых. О.П. Скворцова с 1935 года, почти с самого появления Лины Штерн в нашей стране, и до дня ее ареста выполняла обязанности личного ее секретаря-стенографистки. При отсутствии у Штерн семьи Скворцова была самым близким и доверенным человеком

резкой, категоричной, а то и жесткой одинокой женщины. Арест, обыск дома и в служебном кабинете должны были напугать немолодую, 1901 года рождения женщину, но ничуть не бывало! С поразительной отвагой отвечала она на вопросы следователя, уверенно говорила о гражданской честности Лины Соломоновны — все ее ответы, точные, краткие, словно от сдерживаемого гнева, свидетельствовали о внутренней свободе ее личности. Я трижды перечитал эти странички, так радостно было столкнуться с островком чистоты и неподкупности во взбаламученных, темных, кишачих пресмыкающимися водах личачевско-рюминского следствия.

Как рисковала неведомая мне, отважная Олимпиада Скворцова! Как просто было следователям, подтасовав какие-то бумажки из взятых у Штерн при обыске, «повесить» на Скворцову любое обвинение и погубить ее в лагере или ссылке. Ненавидеть ее должен был Рюмин: достойную русскую женщину, зачем-то продавшуюся «сионистской ведьме», наглой старухе, уверявшей, что родина ее не Россия, а Женева.

Когда на пороге кабинета Абакумова в конце января 1949 года появилась эта седая, толстогубая, с крупным носом под маленьким лбом женщина, министр, как мы знаем, оглушил ее площадной бранью, назвав «старой блядью». Все в ней — чувство достоинства, спокойствие, заметный еврейский акцент, вызывающая прямота ответов, внешняя непривлекательность — бесило и юдофобов типа Комарова или Рюмина, и таких «социалистических бонвиванов», как Абакумов. Допросы Штерн, дерзновенность ее взглядов на науку как на нечто такое, что неподвластно политике, а тем более «классовому подходу», ее панегирики древнееврейскому языку, Библии, национальной самобытности евреев — все должно было предопределить жестокую кару. И вдруг — три с половиной года тюрьмы, три с половиной года, уже проведенных в тюрьмах, они уже позади, впереди ссылка, поселение, глушь, но все же жизнь, жизнь и пусть урезанная, но свобода.

Что же случилось? Как удалось Лине Штерн «поставить на колени» партию?

Пощадили как женщину? Непохоже: тогда почему бы не пощадить и Чайку Островскую-Ватенберг, и самую молодую из подсудимых, красавицу Эмилию Теумин, не сказавшую на суде и тысячной доли вольностей, из которых состояли все речи и реплики Лины Штерн?

Пощадили ученую? Но скольких ученых с мировым именем, скольких великих сыновей России уничтожили к этому времени Сталин и его клика.

Рискуя ошибиться, выскажу свое предположение: никакое другое не кажется мне более убедительным.

Милость Сталина к этой пришлой, упрямой, бесцеремонной в защите своих взглядов женщине я объясняю его усилившимися страхами перед смертью; склонностью верить в чудо; тайной надеждой, что судьба и само мироздание не посмеют отмерять ему жизненные сроки, как обыкновенному смертному. Что-то должно случиться, что-то случится непременно. Он нужен России и миру, он не может подохнуть, какдохнут все окружающие его бездарности, обжираться, тучнеющие, подыхающие, — он не они, он — другой, он должен, обязан жить, если не вечно, то по крайней мере м а ф у с а и л о в в е к. Библию Сталин знал, запомнил огромные сроки жизни многих ее героев — почему бы снова не случиться чуду?!

Об открытиях Лины Штерн ходили легенды, особенно в еврейской среде. Едва ли кто-либо из специалистов мог догадаться, что стоит за терминами «гуморальная регуляция физиологических процессов» или «гематозцефалический барьер», — вот и поговаривали, что академик Лина Штерн подошла к разгадке долголетия, торможения процессов старения и отступления старости. Время от времени такого рода слухи возникали в связи с работами Лепешинской или Штерн и весьма занимали Сталина.

А вдруг «жидовская ведьма», «старая блядь», на всю жизнь запомнившая вытверженные еще в Вене страницы Талмуда и Торы, — вдруг она набредет на разгадку, подарит стране социализма великое открытие, и, если его удержать в тайне (расправиться со

старухой никогда не поздно!), тогда сталинское Политбюро будет решать, кому подарить долголетие. Молотова можно не одаривать, этот бесстрастный большевик от природы без вмешательства чуда рассчитан на долгие годы жизни.

Не поручусь, что именно так размышлял Сталин, но двигали им, как всегда, не милосердие, а эгоизм и корысть.

Тем временем Чепцов все еще пытался спасти положение.

*«Выполнив указание Маленкова, — продолжал он свою исповедь, — и осудив Лозовского и других к тем мерам наказания, которые нам были указаны, я, вопреки настояниям Рюмина на немедленное приведение приговора в исполнение, предоставил всем осужденным право на подачу просьб о помиловании с тем, чтобы, помимо обсуждения в Президиуме Верховного Совета СССР этих просьб, в которых все подсудимые категорически отрицали свою вину, вопрос этот еще раз был бы предметом обсуждения в Политбюро, так как тогда существовал порядок: решение о помиловании осужденных к смертной казни утверждалось Политбюро. Кроме того, на имя т. Сталина после вынесения приговора мною было направлено заявление Лозовского, в котором он полностью отрицал свою виновность. Однако никаких указаний не поступило, и приговор был приведен в исполнение».*

Примечательная, постыдная подробность: верховные власти страны словно не заметили просьб осужденных о помиловании, пренебрегли этой святой обязанностью, не удостоили ответом — пусть и самым жестоким.

И правда: зачем? Ведь и Сталину, и Маленкову со Шкирятовым, и пока еще преуспевающему Рюмину ясно, что на осужденных нет никакой вины. Их не то чтобы не за что казнить, их не за что даже судить. Но преследовалась и осуждалась кровь, грех рождения в «черте оседлости» или просто в обыкновенных еврейских семьях. Проведя такое мучительное многолетнее следствие, не станешь же пересуживать де-



ло по такому пустяковому мотиву, как отсутствие состава и самого факта преступления.

Три недели, с 18 июля по 12 августа, длилось страшное ожидание, затем прозвучали выстрелы.

## XXVI

Письмо евреев — деятелей культуры и науки, которое готовилось в осуждение «врачей-убийц» в редакционных кабинетах «Правды», так и не появилось на страницах газеты. Текст письма не сохранился, и неизвестно точно, кто успел, а кто не успел подписать его или уклонился. Состав подписавшихся, если верить разным публикациям, вызывающе неправдоподобен, он якобы открывался Мехлисом, а то и Кагановичем — небожителем, спустившимся с партийного Олимпа, чтобы расписаться в ряду с поэтами средней руки и популярными спортсменами.

Трафаретным и рутинным был замысел письма: осудить преступников, «убийц в белых халатах», проклясть евреев-врачей, ставших на путь террора, устами единокровных, твердо заявив, что эти злодеи и отщепенцы чужды советскому еврейству, как никогда преданному партии и великому Сталину.

Зловещая резкость, с которой оборвалась эта затея в феврале 1953 года, внезапность запрета публикации, обескураженные и виноватые физиономии правдивистов — вчерашних энтузиастов «спасительной акции», говорили о том, что остужающий и сердитый окрик раздался с самого верха. Сталин не принял привычного подарка, изъявления любви и верности на крови очередных «врагов народа». Не для того задумывалось широкомасштабное наступление; не для того дольше трех лет велось особое наблюдение за ЕАК, прихлопнуть который следовало уже в 1945 году, по минованию военной надобности; не для того шаг за шагом суживали сферу жизнедеятельности еврейской культуры; не с тем вздыбили страну на борьбу против низкопоклонства перед «прогнившим» Западом, чтобы и на этот раз позволить коварному врагу, брошенному на ковер, спастись испытанным приемом: сдать правосудию кучку «предателей» и

громко прокричать о своей преданности советской власти. Дожать надо, дожать, притиснуть к ковру и вторую лопатку...

Братство народов обойдется без них. Целые народы по приказу вождя изгонялись в сибирское и среднеазиатское рассеяние, а в стране не убывало ни братства, ни громких од Сталину. А евреи, полагал он, эти «этнические группы», этот разноликий малый народец, быстро применяющийся к обстоятельствам, жизнью отученный от языка предков, — это не строительный материал истории, а некое вкрапление, нечто непрочное, межеумочное, но при малейшем над ним насилии, при отрицательном энергетическом заряде становящееся опасным для всякого простодушного, доверчивого общества.

Как досаждали ему кривые ухмылки, недоброе перешептывание за его спиной, когда он еще в должности наркомнаца стал распорядиться судьбами народов Кавказа и Средней Азии, а те «старики» из рядов ленинской гвардии не признавали в нем теоретика-марксиста. Где они теперь, эти умники, говоруны, любители отсиживаться в эмиграции, знатоки мировой дипломатии и европейский языков? Едва ли эти языки понадобились им в камерах Суздальского и Верхне-Уральского политизоляторов.

Какое-то время он попустил этим скрытым, притихшим бундовцам, националистам, радевшим о еврейских школах, газетах и книгах. Не то чтобы вовсе снял удавку с их шеи — он расправлялся с ними наравне с сынами и дочерьми других народов страны в целях регулярного уничтожения если не вполне вольной мысли — от этого, слава Богу, отучены! — то от всякой мысли или таланта, не поторопившихся отречься, откреститься от своей национальной самобытности. Иные грузины, те, кто имел привилегию доверительного с ним разговора, бывало, пеняли ему: зачем так беспощадно уничтожаются грузинские интеллигенты? А он вяло, с ленивой ухмылкой уверял их, что у страха глаза велики, нисколько не лучше обстоит дело в Ереване и Киеве, в Минске, в Уфе или Казани. Евреев он в этой связи не вспоминал: без своей столицы и

государственности они не нация, их потери проходят по чужим амбарным книгам, но между тем госбезопасность не дремлет, там уже давно трудится и группа по борьбе с сионизмом.

Государственности у евреев в Советском Союзе не прибавилось. Опасаться Биробиджана нет нужды: как некий полигон, лаборатория, он, судя по всему, подтверждал неодолимость ассимиляции даже в условиях допущенной властями национальной автономии. Место для автономной области назначили с умом, в Приамурье, на государственной границе, при малейшей нужде можно будет толкнуть эту автономию на тысячи километров севернее, убрать с потерями, но без шума, как в 30-е годы убрали с берегов Амура корейцев.

После войны возникла новая реальность — государство Израиль. Сталин поспешил признать его, и не только в пику Черчиллю, но также из предусмотрительности: в будущих конфликтах на Ближнем Востоке, ни у кого не вызывавших сомнения, лучше поначалу иметь репутацию страны, дружески расположенной к новому государству. Едва ли будущее этого государства виделось Сталину менее «курьезным», чем давние претензии Бунда на национально-культурную автономию. Злобная, с оттенком истерии реакция Сталина на исход арабо-израильской войны сразу же обнаружила его истинные симпатии и намерения.

Гитлер «прочистил» Европу, нанес сокрушительный урон двум категориям ее жителей: евреям и ненавистным Сталину социал-демократам. В абсолютных цифрах уничтожено куда больше славян, одних поляков погибло семь миллионов, не говоря уже о жертвах, понесенных русскими или украинцами. Эти жертвы небезразличны Сталину, но так уж повелось в XX веке на равнинных просторах России, что побеждает тот, кто хладнокровнее ведет кровавый счет своим потерям и не страшится их. Он, видит Бог, готовился идти к вершине своей судьбы в «связке» с Гитлером и против «гнилой» Европы, но вышло иначе и, защищая родину, свою землю, он защитил и советских евреев, и сотни ты-

сяч евреев-беженцев, бросившихся от нацистов на восток. Им бы славить его имя в веках, поставив его выше своих библейских кумиров, не подниматься с колен, не спуская с его портретов благодарных молитвенных глаз. А они, как всегда, объаты сомнениями и скепсисом, привередливы, неисправимы в преследовании каких-то своих национальных интересов, хотя история преподнесла им жестокий урок, толкая их ступешаться, раствориться в больших милосердных народах. Как и сорок лет назад, в 1913 году, для него любая численность евреев в мире не создавала нации, а была лишь о с к о л к а м и, несовместимыми этническими группами с отмершими в веках корнями древности. Существуют с о в е т с к и е евреи, американские евреи, евреи Латинской Америки, грузинские евреи и даже абиссинские, черные, евреи, и только. Всякая, даже умозрительная теоретическая попытка обнаружить признаки национальной общности есть враждебная, воинствующая вылазка, а главное — оскорбление достоинства советских евреев, их завидной и единственной в своем роде судьбы.

Теперь он принялся за жестокую коррекцию этой судьбы и не хотел позволить хитрецам отделаться легким испугом, откупиться кучкой «буржуазных националистов», выведя из-под удара всех остальных евреев страны. *«После статьи в «Правде» («Об одной антипатриотической группе театральных критиков» 28 января 1949 года), — пишет в своей мемуарной книге Эстер Маркиш, — по всей стране, во всех отраслях хозяйства и культуры начались антиеврейские чистки. «Безродных космополитов» (читай: жидов) выгоняли с работы без всякой надежды найти другое, мало-мальски приличное место, многих сажали в тюрьмы. Любопытная деталь: тех, кого обливали помоями и грязью в газетах, за редчайшим исключением, не сажали и, наоборот, о тех, кого сажали или собирались посадить, почти никогда не писали в газетах перед акцией»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Э. М а р к и ш. Столь долгое возвращение..., с. 167.

Мы, «политые помоями и грязью», в долгом ожидании н о ч н ы х г о с т е й (от этих страхов я отчасти избавился после того, как был выброшен из квартиры, потерял московскую прописку и скитался по Подмосковию, живя с семьей как «нелегал» в домах наших русских друзей), тогда не вполне представляли себе, что и то и другое, помои и аресты, — части единого плана.

Генерал Чепцов имел право сказать, что *«принял все зависящие от меня меры к законному разрешению этого дела, но меня в тот момент абсолютно никто не поддержал, и мы, судьи, как члены партии вынуждены были подчиниться категорическому указанию секретаря ЦК Маленкова».*

Там, на высоких этажах власти, странно было бы ожидать появления спасителей, людей гуманного или хотя бы здравого образа мыслей. Именно в ночь смерти Сталина, словно торопясь выполнить его духовное завещание, прошли многочисленные аресты, тогда взяли Йоганна Альтмана, Александра Исбаха и многих других. В марте 1953 года руководство Союза писателей вновь заторопилось освободиться от «балласта», от десятков литераторов еврейской национальности, хотя и пишущих с младых ногтей по-русски и видящих русские сны. Казалось, смерть Сталина — трагедия столь неутешная, что только небывалые жертвы, только уничтожение тысяч и тысяч его врагов могут, пусть в ничтожной, жалкой мере, умиловить его богов-покровителей.

В Москве, в Союзе писателей, собрали критиков и литературоведов столицы и объявили нам, что для начала изгнаний из союза подлежит 70—75 критиков, не печатающихся в последние годы. За редчайшим исключением, все это были литераторы-евреи, которым в минувшие четыре года (1949—1953) нечего было и мечтать о публикациях. Двенадцать человек из общего числа были персонально аттестованы докладчиком Виталием Озеровым — их имена чаще других шельмовались в печати с января 1949 года. Дело, начатое Александром Фадеевым на исходе 1948 года, преследование «критиков-антипатриотов», получило дальнейшее развитие. Исключение из Сою-

за писателей десятков критиков и литературоведов, загнанных в многолетний простой, в вынужденное молчание, оказалось бы только началом обширной чистки писательских рядов. Торопясь в писательский клуб на вселявшие тревогу собрания, мы всякий раз проходили мимо мемориальной доски высотой в два метра, на которой высечены фамилии писателей-москвичей, погибших в боях за родину. Более половины из них были евреи. Перец Маркиш, объясняя на суде психологический мотив создания стихотворения «Бойцу-еврею», сказал: «Я не хотел, чтобы говорили о еврейском солдате, что он служит в интендантстве в... Ташкенте»<sup>1</sup>.

Даже в 1949 году размах чистки писательских рядов от «безродных космополитов» был скромнее, чем в драматические дни марта 1953 года. 28 марта 1949 года, спустя два месяца после публикации в «Правде» статьи о группе «критиков-антипатриотов», руководство Союза писателей поставило перед ЦК и Сталиным вопрос об изгнании ошельмованных литераторов — и случилось так, что письмо союза подписал не Фадеев, а его заместитель К. Симонов. Видимо, дело представлялось неотложным, ждать светлых дней выздоровления Фадеева показалось небезопасным, письмо с курьером было отправлено на Старую площадь.

На письме две резолюции Маленкова, обе помеченные 28 марта: «Тов. Шепилову. Прошу разобраться и подготовить предложения. Г. Маленков»; «На Секретариат. Г. Маленков».

Письмо гласило:

«Товарищу Сталину И.В.

Товарищу Маленкову Г.М.

В связи с разоблачением одной антипартийной группы театральных критиков Секретариат Союза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов: Юзовского И.И., Гурвича А.С., Борщаговского А.М., Альтмана Й.Л., Малюгина Л.А., Бояджиева Г.Н., Субоцкого Л.М., Левина Ф.М., Бров-

---

<sup>1</sup> Судебное дело, т. 7-А, л. 63.

мана Г.А., как не соответствующих п. 2 Устава Союза советских писателей, в котором говорится:

*«Членами Союза советских писателей могут быть писатели (беллетристы, поэты, драматурги, критики), стоящие на платформе Советской власти и участвующие в социалистическом строительстве...»*

*Заместитель Генерального секретаря Союза писателей СССР*

*К. Симонов*

*Секретарь Правления Союза писателей СССР*

*А. Софронов».*

Видимо, существовали какие-то высокие связи между Лубянкой и спецотделом ССП, признательные протоколы первых двух месяцев следствия предвещали скорое завершение всего дела ЕАК, руководство писательского союза боялось опоздать, допустить, чтобы еще какая-нибудь часть литераторов была взята в тюрьму с не отнятыми у них писательскими билетами. Таким образом, нас предупредительно сбросили с «платформы Советской власти», заранее благословляя любые жандармские меры против нас. Альтернатива платформе советской власти в те времена была только одна: антисоветизм.

Но какие же страхи владели руководителями Союза писателей после смерти Сталина, на исходе марта 1953 года?

Почему дрогнул достойно державшийся в лютот 1949 году Алексей Сурков и освятил своим председательством позорное собрание критиков и литературоведов Москвы? Освятил, зная, какой запланирован в тот день антисемитский шабаш.

Страна жила слухами. Еще в полной силе Берия, в представлении народа и прежде всего интеллигенции — обер-палач, подталкивающий Сталина к жестокостям. Никто не мог сказать, принесет ли смерть «отца народов» облегчение «безродным космополитам» или для них придет час возмездия, отмщения за все, и за утрату вождя тоже. Уже давно никто у нас не умирал своей смертью, всякая смерть императорского ранга — превосходный повод для сотен и тысяч других насильственных смертей. Торопливость, с

какой Союз писателей приступил к изгнанию литераторов-евреев, не имевших никакого отношения к еврейской секции ССП, подтвердила внутреннее направление общественных процессов, как они складывались в последние годы, а особенно — в последние месяцы жизни Сталина.

Еще при его жизни, когда страна и не слышала имени Лидии Тимашук, в недрах дела ЕАК все явственнее заявляла о себе новая провокация, будущее «дело врачей». Среди «врачей-убийц» окажутся и медицинские светила других национальностей — все не без греха! — но в представлении народа зловещий образ врача — навсегда сольется с недоброй этнической «группой». Уронить ядовитое зерно недоверия к врачу-инородцу, лекарю без рода и племени, сбросить на него всякую смерть, недуги детей и стариков, всякое нечаянное отравление, неудачу или бессилие врачевателя — вот поистине великое средство восстановления против евреев десятков миллионов людей. Соединить ожесточение толпы, ее слепую ярость и буйство времен давнишних «холерных бунтов» с высочайшей организацией дела и верой народа лозунгам и призывам партии — вот в чем залог успеха.

В недрах дела ЕАК возникали и другие гибельные «новообразования», так сказать, дочерние провокации, грозившие будущими процессами над новыми группами «сионистских» злоумышленников. 19 октября 1951 года было начато дело № 5214 по обвинению Шейнина Льва Романовича, который в Постановлении на арест, утвержденном министром Госбезопасности СССР Игнатьевым и Генеральным прокурором СССР Сафоновым, изобличался в том, *«что, будучи антисоветски настроенным, проводил подрывную работу против ВКП(б) и Советского государства»*.

Никто не спросил с Льва Шейнина за его преступления 30-х и последующих годов, когда он, приближенный к особе Генерального прокурора СССР Вышинского, активно участвовал в фабрикации известных дел, в уничтожении неудобных Сталину политических деятелей. Шейнин совершенно



неожиданно возникает на тюремной Лубянке в роли... «еврейского буржуазного националиста». В ходе следствия по делу ЕАК у некоторых арестованных добываются обвинительных показаний о связи — если не организационной, то духовной — ЕАК с бывшим старшим следователем Прокуратуры СССР по особо важным делам Шейниным — драматургом, членом Союза писателей. Самых общих его неодобрительных характеристик, негативной оценки личности и пьес оказалось достаточно для его ареста именно как националиста. Обвиняется кровь, а раз так, почему не обвинить и Льва Шейнина — верного и ревностного слугу режима, заранее напуганного, сговорчивого, хорошо знающего, как добываются признания на Лубянке, а потому готового без всякого понуждения повиниться в национализме. Подследственные по делу ЕАК прошли тяжкий путь насилий и шантажа, прежде чем поняли, что в «национализме» признаться придется, и это не то чтобы «меньшее зло», а просто единственный выход, чтобы дожить до суда. Льву Шейнину не понадобились уроки Лихачева или Рюмина, для него эти уроки — но без побоев — уже давно позади, он не колеблясь, сразу же одарил следователей признанием в еврейском национализме, каковым, разумеется, никогда и никак не страдал.

Нет ничего нелепее и оскорбительнее для самой национальной идеи, с каким бы знаком ни брать ее, чем зачисление в адепты еврейского национализма деятельного приспешника Вышинского, циника и карьериста, беспощадного к вере своих предков, к самому существованию или несуществованию людей его крови. Поразительно не то, что самых расплывчатых намеков на близость — никогда не существовавшую! — Шейнина и Михозлса, на националистические мотивы его написанных в соавторстве с братьями Тур пьес оказалось достаточно для ареста Шейнина, — поразительна его сговорчивость на допросах и то, как он увлекает следователей за собой, за бойкими своими признаниями в национализме.

Оказавшись в тюрьме еще при жизни Сталина, опытнейший функционер прокуратуры, изоощренный

в тонкостях, опасностях и ловушках следственного процесса, Шейнин напряженно дожидается разгадки: какого рода «подрывную работу» против партии и советского государства инкриминируют и станут навязывать ему? С великим облегчением должен был он воспринять открывшееся ему обвинение в национализме. Кто-то окрестил его махровым националистом, кто-то, потеряв чувство юмора, назвал его даже религиозным фанатиком — что ж, он поможет следствию, избегая крайностей, всего, что может быть квалифицировано как уголовное преступление. Поможет, не гневя бездарных следователей, поспешая им навстречу, расскажет о националистических настроениях — собственных и своих коллег-драматургов, — не пощадив и соавторов. Слегка коснется неясных душевных томлений, невеселых размышлений о еврейской жизни, дурно пахнущих, но, впрочем, безобидных анекдотов. Расскажет о том, за что по крайности могут исключить из партии, прогнать с должности или даже сослать на малый срок, но не должны гноить в лагере, а тем более расстреливать.

Недавно еще всесильный Шейнин, предусмотрительный и искушенный, все же не сумел оценить переменившегося времени и решимости Сталина осуществить геноцид, невзирая на лица, не щадя никого, даже и начальственных, преданных ему персон. Это поняли Абакумов и его следователи, позволяя себе глумливые вопросы в адрес Кагановича или Мехлиса, откровенные издевательства над женой Молотова и женами-еврейками других сиятельных вельмож. Всезнающий же Шейнин, однако, не уразумел всей глубины перемен.

Литературная экспертиза по делу № 5214 была поручена тому же писательскому квартету, который в деле ЕАК уже покорно играл по нотам Рюмина и Гришаева, обрекая гибели обвиняемых (Щербину, Владыкина, Лукина и Евгенова). Похоже, что они становятся штатными экспертами госбезопасности, готовыми «обслужить» быстро и в любом удобном следствию направлении. Вместо того чтобы вынести краткий вердикт третьесортным пьесам Шейнина и

его соавторов, ремесленным, конъюнктурным поделкам, пьесам отнюдь не на еврейские темы, в которых если и возникал персонаж-еврей, то как приправа, «экзотика», возможность оживить действие анекдотцем или откровенной балаганностью, эксперты, прислуживая следствию, обнаружили и в этих пьесах несуществующий национализм, воспевание отживших, ретроградных обычаев и даже противопоставление евреев всем другим нациям.

*«—Вам предъявлено заключение экспертов от 29 февраля 1952 года, — сказал следователь Шейнину. — Из заключения видно, что в своих пьесах вы воспевали носителей отсталых идей еврейской националистической обособленности. Правильность этого вывода подтверждаете?»*

**ШЕЙНИН:** — *Подтверждаю... Образы еврея Рубинштейна в пьесе «Кому подчиняется время» и в меньшей степени еврея Гуревича в пьесе «Очная ставка» обрисованы националистически... В других моих пьесах героев, евреев по национальности, нет»<sup>1</sup>.*

Два отнюдь не националистических, а вполне дежурных, балаганных персонажа, лишенных внутреннего содержания и самобытности, два второстепенных персонажа в двух из множества сочиненных им пьес: их оказывается достаточно для изворотливого подследственного, чтобы в поисках спасения признаться в националистических грехах.

Коварной оказалась и оценка экспертами одной из последних по времени написания пьес Льва Шейнина — «Дело Бейлиса». Оценка эта обличает не столько автора пьесы, сколько самих экспертов, их политический обскурантизм и следственную ангажированность. *«В пьесе, — утверждали они, — очевидна попытка автора воскресить и актуализировать давно решенный в Советской стране так называемый еврейский вопрос, что противоречит интересам дружбы народов СССР».*

---

<sup>1</sup> Дело № 5214, т. 3, л. 55.

Как много лжи вобрала в себя одна эта фраза! Здесь и тупое умаление целей искусства вообще, привязка его к конъюнктуре времени; запрет на тему, которая, как и многие другие эпизоды мировой истории, принадлежит человечеству, а не полицейским приставам; циничная ложь по поводу «давно решенного» еврейского вопроса, тогда как этот вопрос набатом звучит в самом деле ЕАК и в поведении самих ученых-экспертов. Здесь и подталкивание следствия к обвинениям в антисоветизме, ибо противодействие дружбе народов — стандартный мотив антисоветизма.

Шейнин приемлет и это: виновато склонив голову, он старается только об одном — не забрести туда, где грозными басами гудят вечевые колокола, — в контрреволюцию.

Не забрести трудно, если не невозможно. Даже Шейнин от допроса к допросу погружается в опасную трясику. Начав с того, что его и его коллег по писательскому цеху с некоторого времени стали посещать националистические настроения, он называет фамилии малодушных, вспоминает о «националистических высказываниях» Маклярского («но он делал их в весьма осторожной форме...»), о жалобах Александра Штейна «на плохое отношение в Союзе писателей к писателям-евреям и о том, что в этом смысле «время тяжелое» и что писатели-евреи должны поддерживать друг друга». Постепенно в круг своих «единомышленников» Шейнин включает не только своих соавторов — Тубельского и Рыжея (братьев Тур), — но и К. Финна, И. Прута, Ц. Солодаря и даже А. Крона. А с течением времени, потакая следователям, и Эренбурга с Гроссманом, пытаясь даже их, своих идейных и нравственных антиподов, включить в некую «националистическую» группу по признаку крови. Постепенно задачи и цели этой группы очерчиваются все определеннее и опаснее, и вот уже мы читаем в подписанном Шейниным протоколе, что главным делом «нашей группы была борьба с Советской властью за обеспечение ведущей роли евреев-граматургов в советской граматургии».

Такого обвинения вполне хватило бы Рюмину для оформления нового дела о буржуазно-националистической организации московских драматургов — и, судя по настойчивости, с которой разрабатывалась «группа Шейнина», такой очередной процесс состоялся бы, не переменясь обстановка со смертью Сталина, с арестом Рюмина и реабилитацией «врачей-убийц». Такой процесс был бы, при любом исходе, фарсовым прибавлением к поистине трагической судебной эпопее дела Еврейского антифашистского комитета.

Писательская экспертиза оказалась самой косной силой в преследовании еврейских писателей и общественных деятелей, руководителей ЕАК. Все четверо экспертов упрямо держались своих лживых оценок и тогда, когда речь шла не о сохранении уже отнятых жизней, а о восстановлении доброго имени оклеветанных и уничтоженных жизней, об их реабилитации. В январе—феврале 1949 года полковник Гришаев превратил экспертов Союза писателей в послушный придаток следствия, поместил их, вопреки запрету процессуального закона, в кабинете следственной части Лубянки и манипулировал их оценками по своему усмотрению. Не духовная и литературоведческая характеристика и оценка предъявленных им 122 статей и очерков из архива ЕАК и «Эйникайт», не объективное рассмотрение специалистами-литераторами всех этих страниц стали задачей экспертизы, а преднамеренное и бесчестное приспособление этих материалов к уже сформулированному и утвержденному Инстанцией, не подлежащему обсуждению обвинению.

Нет таких грехов, которых эксперты не приписали бы известным поэтам и прозаикам, чье творчество составляло гордость еврейской литературы своего времени: пропаганда националистической обособленности, исповедание лживого тезиса об исключительности «еврейского народа» (как не заключить ученым экспертам в кавычки и эти два слова: «еврейский народ»! Что там еще за е в р е й с к и й н а р о д, когда можно говорить лишь о «лицах еврейской национальности», на худой конец, о «еврейском населении». Не

есть ли это словоупотребление — «еврейский народ» — родовым признаком национализма?), воспевание в националистическом духе библейских образов, пропаганда идеи внеклассового, братского единения евреев всего мира по признаку одной крови, подмена советского патриотизма космополитизмом и национализмом, возбуждение сионистских настроений среди отсталой части еврейского населения и так далее и тому подобное. Трудно сказать, чего больше в выводах этой экспертизы Союза писателей — испуга, покорности Лубянке или намеренной, временами злобной, творящей всякий стыд лжи.

Обвинительное рвение писателей-экспертов было так велико, что на самом процессе главный судья Чепцов вынужден был указать им на то, что они *«...в конце Заключения не должны были делать какого-либо общего вывода, так как это обязанность судебных органов»*. Слова, которые я приведу ниже, — цитата из ответа бывшего эксперта, Владыкина, комиссии по проверке дела ЕАК в 1955 году. Он упорствует, заявляя, что *«заключение нами дано было объективно и правильно»*, а раз так, то стоит ли обращать внимание на такую мелочь, как *«общий вывод»*. Между тем именно общий вывод, после сотни страниц, исполненных злобных выпадов, открывал дорогу к роковому, заранее определенному Политбюро приговору. Вот эта, в известном смысле классическая формула, подписанная экспертами: *«Под флагом борьбы с фашизмом руководители ЕАК превратили ЕАК в еврейскую националистическую организацию, националистический центр с самыми широкими функциями, в организацию, враждебную идее дружбы советских народов и коренным интересам трудящихся евреев в СССР»*.

Этот общий вывод достойно венчает весь документ экспертизы, далекой от литературоведческих оценок, проникнутой политиканством худшего толка, нетерпимостью и брезгливым высокомерием.

Исполненное скорби стихотворение Переца Маркиша «Михоэлсу» написано сразу после гибели выдающегося актера и полнится недобрыми предчувстви-



да на допросе комиссии по проверке дела ЕАК Ю.А. Лукин сказал: *«Да, заключение экспертизы от 23.II. 1952 года я подтверждаю... Оно было составлено без всякого нажима работников КГБ... Все показания мы давали в отсутствие подсудимых»*<sup>1</sup>.

Не знаю, таков ли общий порядок: вызов экспертов в судебное присутствие без подсудимых, или генерал Чепцов пощадил ученых мужей, не поставил их перед лицом оболганных ими, обреченных людей. Скажу только, что все другие эксперты, даже профессиональные цензоры, зависимые чиновники с облегчением приняли в 1955 году возможность снять со своей души тяжкий грех приспособленчества и малодушия, сказать правду, хоть и запоздалую. Только не литераторы-эксперты! Они продолжали изворачиваться и лгать: нас, мол, *«убеждали, что работа нашей комиссии (литературной) является неосновной»*, *«нас уверили, что, согласно закону, мы не имеем права отказываться от экспертизы»*, но главное оправдание их труда, их оценок, их приговора, делающее справедливой и сегодня, как они полагали, каждую страницу «Заключения», то, что *«мы пользовались в своей работе трудами классиков марксизма-ленинизма по национальному вопросу»*<sup>2</sup>.

Впервые участников заказанной следствием экспертизы опрашивали заново еще в 1953 году, после реабилитации «врачей-убийц». Они тогда стояли на своем, не видя и малых огрехов в своей бесчестной работе. Почти ничего не изменилось и в году 1955-м. *«Мы дали заключение идеологическое, а не уголовное, — утверждал Евгенов 18 октября 1955 года, когда невиновность казненных ни у кого уже не вызывала сомнения. — Не исключена возможность, что концовка экспертизы была исправлена: на нас давил подполковник Гришаев, а мы не знали, какое значение будет иметь наша экспертиза... На работу отдельных формулировок Заключения некото-*

<sup>1</sup> Материалы проверки..., т. 1, л. 293.

<sup>2</sup> Там же, т. 1, л. 275.



рое влияние оказал Гришаев, сообщив об аресте руководителей ЕАК по решению директивных органов, об их преступлениях и о других более серьезных экспертизах». Все эти оговорки и влияния не помешали Евгенову и в 1955 году назвать «буржуазно-националистической» антифашистскую газету «Эйникайт», ни одного абзаца из которой, по незнанию еврейского языка, он не мог прочесть<sup>1</sup>.

Бесстыдной ложью оказалось и заявление члена редколлегии «Правды», эксперта Владыкина: «В период работы комиссии нам не было известно, кто конкретно из работников ЕАК был арестован и обвинен по этому делу. Об этом нам стало известно ближе к завершению работы над Заключением»<sup>2</sup>. «Ближе к завершению» — это середина февраля 1952 года, к этому времени арестованные еврейские писатели провели уже более трех лет в московских тюрьмах, об их аресте еще в году 1949-м незамедлительно информировался Фадеев и секретариат ССП, и союз сразу же реагировал на аресты, как мы знаем, ликвидируя печатные органы и само Объединение еврейских писателей. К тому же никогда ничего не написавший писатель Семен Евгенов был в Союзе писателей заместителем председателя комиссии по национальным литературам народов СССР.

Так и вижу строгое лицо холодного аналитика, ревнителя точных пропорций гнева, боли и сострадания: что ты всё о Михозлсе, о Зускине, о Бергельсоне и Маркише — ведь в ту пору погибали в лагерях и расстрельных подвалах тысячи и тысячи других известных и неизвестных, русских и нерусских, палачи творили свой «кровавый интернационал».

Все это так, так... И, склоняя голову перед прахом Квитко или Бергельсона, я сознаю и помню, что, погибая, они разделили судьбу России, трагическую судьбу миллионов замученных и казненных,

---

<sup>1</sup> Там же, лл. 283—286.

<sup>2</sup> Там же, л. 298.

чья жизнь также свята, а смерть от руки убийц не имеет оправдания.

Я обратился к материалам дела ЕАК, чтобы анатомировать злодейство, за которым не просто очередная цепь убийств, а единый замысел, планомерная подготовка к уничтожению всех еврейских писателей, всех сколько-нибудь заметных деятелей национальной культуры.

В один из погожих дней осени 1947 года, когда Соломон Михозлс обрадовал меня, сказав, что решил поставить мою пьесу, и предложил свой план изменения первого акта, с тем чтобы героиня пьесы, Рахиль, именно она — любящая, верная жена, — оставалась у постели опасно больного мужа в городе, обреченном фашистской оккупации, — в тот день чем-то угнетенный Михозлс прочитал мне на идиш письмо учителя математики из местечка на юге Украины. Учитель с болью и не без юмора жаловался, что он, математик, стал избегать цифр, когда разговор заходит о войне, оккупации и уничтожении евреев России и Европы. Стоит только заговорить об этом или назвать цифры, как непременно отыщется кто-то, кто обвинит тебя в национальной ограниченности, в желании обособиться, посягнуть на дружбу народов. Бог мой, писал он, если бы я хватался, выкликал в синагоге или на базарной площади число еврейских святых или мудрецов — их, слава Богу, в каждом народе наперечет! — но я печалюсь, я хороню своих детей, меня душит горе, почему же мне нельзя рыдать вслух? Неужели, остановив на улице любой катафалк, еврейский, русский, польский, остановив по дороге к кладбищу, потому что в этот день хоронят и других покойников, ты не смеешь отпевать своего, пока не оплакали громко всех других?! Я читал о вашей новой постановке «Фрейлахс», но если можно гулять на еврейской свадьбе и не бояться, что кто-то придет в театр и закричит из зала: танцуйте сразу все свадебные танцы всего мира, то почему надо скрывать свое горе, тризну, поминки? Почему я должен опасаться называть своим ученикам число 6 миллионов? Что в нем греховного?

Прошло много лет, я пересказываю это письмо, конечно потеряв часть его живых красок. Написал его человек добрый, но не способный понять, почему же таджики или грузины, армяне или казахи могут гордиться своими Героями Советского Союза, даже перечислять их, и только евреи вовсе не имеют на это права или должны сопроводить любую цифру таким количеством оговорок, толкований, примечаний, что вместо двух-трех строк хроники впору писать диссертацию...

— Вы согласились с моим предложением по пьесе, — напомнил мне Соломон Михайлович. — Думаю, это хорошо. Но почему эта мысль сразу пришла мне в голову? Почему и вы, автор пьесы, так быстро согласились? Не задумывались над этим?

Признаюсь, не задумывался.

— Ибсен не думал специально, что его Нора норвежка, — сказал Михозлс, — а Чехов о том, что Раневская — русская. Для нас же с вами Рахиль — еврейка. Еврейка, дочь еврейского народа: не сказав еще ни одного слова, она уже несет в себе какой-то общий коллективный грех или общую добродетель. Мы невольно думаем о соблюдении каких-то пропорций, чтобы не уронить ее и, не дай Бог, не возвысить слишком... Но это же конец искусства, Борщагивский, это болезнь... Этот математик из-под Николаева прав: раздражают даже похороны и катафалки, если кому-то покажется, что они не по чину.

Настало тяжкое для Михозлса время, дни черных предчувствий. Вновь возник «крымский проект». Его энергично продвигали агенты Абакумова в ЕАК, убеждая Михозлса, что на этот раз инициатива действительно исходит сверху, подталкивая его вновь подписать обращение в правительство. Но в 1947 году такой акт был бы направлен прямо против депортированных из Крыма татар, и Михозлс это отвергал. Он томился, искал совета у Эренбурга, домогался новой встречи с Кагановичем, интуитивно сопротивляясь провокации.

Убийство в Минске струнуло с места лавину.

Есть от чего прийти в отчаяние.

Кто же мы были: пишущие, кого-то поучающие со страниц своих книг, не видящие чужих слез, не прони-

кавшиеся чужой бедой? Как случилось, что о большинстве арестов мы и не знали до недавнего времени? Как назвать общество, до такой степени разобщенное, лишенное не просто гласности, а даже жалких крупиц правдивой информации?

Мы жили инерцией 30-х годов, инерцией равнодушия, невмешательства в чужое неблагополучие, не говоря уже о «заминированных» судьбах. Срабатывал и инстинкт биологической самозащиты: дойди до моего сознания мысль, что преследование меня и моих товарищей не чудовищная ошибка, не следствие происков писателей-карьеристов, а одно из звеньев акции уничтожения, санкционированной государством, — додумайся я в 1949 году до такого, едва ли у меня нашлись бы силы для литературной работы.

Тугим кровавым узлом, связавшим всех еврейских общественных деятелей, оказался ЕАК. По этому делу прошли не только знаменитости, истинные лидеры еврейской культуры, по нему в городах и весях шли также загнанные одиночки и искусственно сколоченные следователями группы и группки людей, ничем не объединенные, кроме национальной общности.

Только смерть Сталина в марте 1953 года остановила эту трагедию.

1992—1993

**А. Борщаговский  
Обвиняется кровь**

Редактор *Э.В. Расшивалова.*  
Художник *Л. Андреев*  
Художественный редактор *В.А. Пузанков.*  
Технический редактор *Е.В. Антонова.*

ИБ № 19856

ЛР №060775 от 25.02.92. Подписано в печать  
28.12.93. Формат 84×108/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 21,00. Усл.кр.отг. 21,42. Уч.-изд.л. 21,14.  
Тираж 5000 экз. Заказ 13  
С 019. Изд. №49198.

А/О Издательская группа «Прогресс».  
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Московская типография № 7  
121019, Москва, пер. Аксакова, 13.



**АЛЕКСАНДР БОРЦАГОВСКИЙ**

# ОБВИНЯЕТСЯ КРОВЬ

Открытые в архиве Министерства безопасности, — после полувека глухой секретности, — судебно-следственные тома знаменитого дела Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК) позволили Александру Борцаговскому, автору «Записок баловня судьбы», известных исторических романов, сценариев популярных фильмов «Три тополя на Плющихе», «Дамский портной» и многих других произведений, создать строго документальное повествование «Обвиняется кровь», книгу, уникальную во многих отношениях.

Досужие вымыслы, кочующие по страницам печати, уступили в ней место реальности, подлинные факты и судьбы оказались более драматичными и захватывающими, чем все мифы. События книги, собранные воедино не произволом автора, а самой жизнью, рамками уголовного процесса, сообщают ей напряженность и увлекательность политического детектива.

Документы, легшие в основу книги, дают картину трудно представимой по масштабу акции; она обернулась не только уничтожением грозного министра госбезопасности Абакумова — одного из главных персонажей книги, и его лубянского «штаба», — опасность близкой угрозой нависла и над Кагановичем и Молотовым, «уронившим» себя многолетним браком с Жемчужиной.

Автор близко знал многих из героев книги, знал их творчество, образ мыслей и житейские привычки. И это придает рассказу своеобразный «эффект присутствия». Полные трагизма события и их участников читателю уже не забыть...